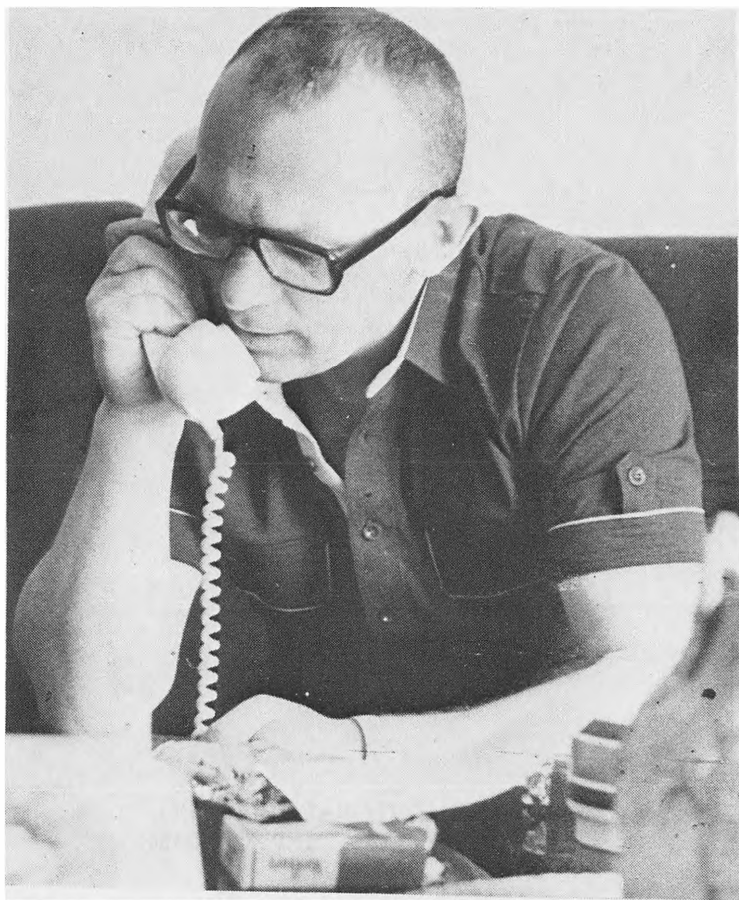


ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ

■ МОРДОВСКИЙ
МАРАФОН



КНИГОТОВАРИЩЕСТВО
«МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ»
1979



Эдуард Кузнецов

МОРДОВСКИЙ МАРАФОН

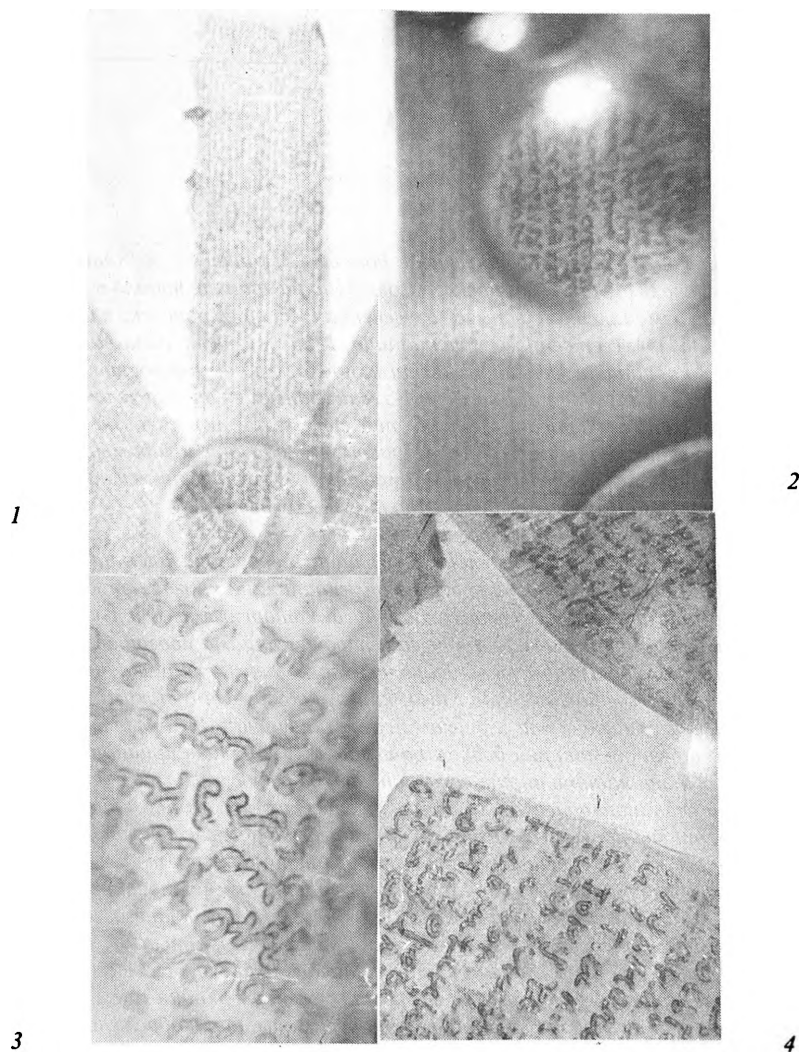
© Edward Kuznetsov. 1979

All rights reserved.

Права на русское издание принадлежат Общественному книжно-журнальному фонду «Москва-Иерусалим».

P.O.B. 7045. Ramat-Gan. Israel.

ISRAEL.



В таком виде (№ 1) вышла (выскользнула) из лагеря рукопись этой книги. №№ 2, 3, 4 — фрагмент рукописи в различных увеличениях.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Этой книге катастрофически не повезло. В конце концов она все-таки выскользнула из Советского Союза, но на границе попала в переделку и, измочаленная вдрызг, изувеченная вдоль и поперек, еле доползла до дружественного пристанища. Мои друзья не дали ей умереть — подлатали, срастили кости и, поохав над ее увечностью, все же решили выпустить ее на свет Божий: калека — тоже человек, и если на конкурсе красоты ему не под силу тягаться с завзятыми культуристами, то на конкурсе правды его обрубки и шрамы куда красноречивее свидетельствуют о трагической сущности жизни, нежели стройная соразмерность Аполлоновых членов.

Очень справедливое соображение.

Совершив головокружительный кульбит, я вдруг оказался на Свободе. Она с лихвой оправдала все мои ожидания, но книга, моя книга, высосавшая из меня столько соков, книга, которую я не столько писал, сколько прятал и перепрятывал, порой месяцами подготавливая момент, когда можно будет, озираясь, извлечь ее из тайника, чтобы дописать одно-единственное слово, книга, которую я с такими невзрывными ухищрениями и риском передал на волю!.. Я надеялся, что меня встретит мощный боец, а нашел калеку. Соблазн пришить ему руки-ноги, приладить парик, вставить фарфоровую челюсть очень велик, но ведь пластическая хирургия и всяческая косметика нацелены на то, чтобы нравиться, мне же надо в первую очередь свидетельствовать. Я мог бы попытаться восстановить по памяти те или иные утраченные страницы, что-то подправить или даже написать заново, но тогда неизбежно наложение сегодняшнего, тутошнего, и, следовательно, эта книга в значительной степени утратила бы право называться лагерной. Я всего лишь десять дней, как сбросил с себя полосатое тряпье, 16 лет и 10 дней! Целая жизнь — и один миг... И через сто лет я не забуду ничего, но в тот же миг, как я обрел свободу, я все же стал иным: лагерь и свобода — столь взаимоисключающие понятия, что одновременно сосуществовать они никак не могут, человеческое сознание не вмещает в себя и то, и другое в качестве равно реальных — только что-нибудь одно. Так невозможно быть сразу и

мертвым, и живым — или ты жив и видишь солнце, или под землей пожираем червями и чаешь трубного гласа или чуда, чтобы восстать из праха. Еще десять дней назад смрадное узилище было моей безысходной повседневностью, сегодня, не веря сам себе, с ужасом и состраданием взглядываюсь я в полумрак пропасти, из которой мне чудом удалось выкарабкаться: возможно ли это? Было ли это вправду? И только ночами я не сомневаюсь, ночь властно подтверждает: да, это так. Ночами я все еще там, на «крейсере», увязшем в мордовских топях, — через решетки его камер на меня неотрывно смотрят скорбно-суровые глаза моих друзей. ИМ Я ПОСВЯЩАЮ ЭТУ КНИГУ, ИМ И ПРАВДЕ.

7.5.1979г.

Э.Кузнецов



ЗАРЕШЕЧЕННОЕ ОКНО

...Вот еще напасть: едва-едва шевельнется в голове какая-то мыслишка, чуть-чуть проклюнется мелодия, запульсирует ритм — барабанят в окно. То один, то другой подкрадываются к моей зарешеченной форточке и говорят, говорят, говорят... Тот шепчет, доверительно брызжа слюной и опасно косясь по сторонам: «Не верь ему, он сволочь и подлец...!», а едва он завернет за угол, подкрадывается другой и мямлит какие-то запутанные истории о коварстве, интригах и предательствах первого, а там, глядишь, и третий уже топчется неподалеку, ожидая своей очереди приникнуть посинелыми губами к форточке исповедальни... или амбразуре дота? Я всех их выслушиваю, ритмично помахивая головой в знак полного согласия, сочувствия и доверия, стараясь, чтобы на лице не отразилось снедающее меня тоскливое нетерпение.

«Оставьте меня в покое! — беззвучно кричу я. — Ты, ты, ты и ты!.. Я всем вам верю, не веря ни одному. Мне даже лень угадывать ваши истинные намерения. Вам меня не обмануть, ибо обмануть можно или губошлепого простофилю, или обманщика, который, азартно посверкивая глазками, сам идет в западню, надеясь перехитрить хитреца. А я ни тот, ни другой. Я сам по себе, как бываешь сам по себе, невольно оказавшись в ком-

пании жуликов: я пью с вами вино, преломляю хлеб и сочувственно выслушиваю ваши сентиментальные истории, но, ради Бога, держитесь не так близко ко мне, чуть-чуть подальше, вот так... чтобы ветерку было где прогуляться между нами. И если мы хором затянем громкую песню, я тоже буду разевать рот — кому какое дело, что я пою не о том и не на том языке...».

Мой дед Василий Андреевич, мелкий купчишка, разорился после нэпа, в качестве классово чуждого элемента был выслан из Москвы и помер в ссылке где-то году в тридцать четвертом. Это, известное дело, изрядно сказалось и на жене его (моей бабушке Александре Митрофановне), и на семьях обоих его сыновей и дочери. Впрочем, камня за пазухой они на власть никогда не держали и меня воспитывали так же, привычно трепеща при одном упоминании о политике и безропотно горбясь под бременем полунищенского существования, как бы ниспосланного свыше и потому критике не подлежащего. Ну-ка вообрази, как мы жили втроем (мама, бабушка и я) на двенадцати квадратных метрах — до самой моей посадки в шестьдесят первом. Учтя при этом, что матушка — человек болезненной порядочности (и по совести, и по оцепеняющему страху перед законом) и даже в войну, которую мы пережили на крапивных щах, нитки не вынесла со своей ткацкой фабрики. Я и до сих пор не могу взять в толк, как это она сумела и сама выжить, и меня вытянуть. Над ней же все подсмеивались, обзывая ее «святой Зинаидой». Я помню обидный вкус этого слова: ирония, подначка, сочувственно-пренебрежительное снисхождение... Чтобы быть причтенным к лику святых или, как минимум, блаженных, надо лишь не красть. Впрочем, в иные времена не красть — поистине мука мученская.

Единственная затрещина была заработана мною при следующих обстоятельствах.

Было мне тогда лет десять или около того. Я уже и раньше не раз слышал и на улице, и в школе, что Сталин застрелил свою жену Аллилуеву и что она похоронена на Новодевичьем кладбище. Рассказывалось об этом без тени недоумения, без какого-либо намека на вопрос: за что? — просто доверительным шепотком доводился до сведения факт: Сталин застрелил

свою жену. И точка. Ни удивления, ни возмущения. Мысль о следствии и уж тем паче о суде, я уверен, никому и в голову не приходила. Сталин убил — значит, так и надо. Не могу припомнить, с чего это я вдруг вроде как бы споткнулся об эту тревожную мысль... «А почему вот, — спросил я матушку, — товарищ Сталин застрелил свою жену, а его не судили?»

Помню испуг в ее глазах... Она пребольно треснула меня по затылку, от неожиданности я заревел, а она, трясая меня за плечо, все допытывалась, как это я додумался до такой глупости, не говорил ли об этом еще кому-нибудь, а потом сама заплакала и упрасивала меня никогда не задавать такие вопросы. Я побоялся спросить, какие «такие», но что-то смутно уже забрезжило в моей головке...

Как учительский шлепок когда-то выявил и закрепил у Руссо мазохистские наклонности, так, возможно, и эта затрещина вместо того, чтобы выбить из меня опасный интерес к запретным темам, напротив, стимулировала его.

Так я пострадал от культа личности Сталина.

...Кто же не знал в те годы об умильном жесте великодушия, коим Ленин спас от расстреливания злодейку Каплан? «Пусть, — прошептал он непослушными устами, уже теряя сознание от коварной раны, — пусть она доживет до окончательной победы коммунизма, которая не за горами, и сама убедится, как она заблуждалась...». По слухам, Каплан, уже старенькая, седая, после войны работала библиотекарем в Бутырке и выучила сочинения Ленина наизусть.

Спонтанная христианизация вождя традиционным народным сознанием? Возможно. Похоже, что легенда эта родилась в низах, а верха всего лишь не опровергали ее и даже полуофициально санкционировали ее бытование.

Историю у нас вела моложавая дама — глыба бледного жира, чудовищных бугров которого не могли скрыть ни бордовая юбка до щиколоток, ни полувоенного покроя черный пиджак с острыми плечами. Она была сентиментальна, истерична и зла, глаза носила маленькие, нос туфелькой, плоские бесцветные волосы прятала под серым платком. Сзади она походила на приземистый дедовский комод с выдвинутым ящиком, чьи пу-

довые полусферы юные пионеры увешивали мстительными соплиями, метко посылая их щелчком пальца.

Звали ее Крепись. Едва ли не первым знанием, которым, переступив школьный порог, обогащался первоклашка, было уснащенное сочными подробностями изуственное предание о том, как «историчка» поехала на фронт повидаться с братом и была изнасилована взводом солдат: она плакала, а они, трудясь над нею, зывали к ее гражданскому мужеству, приговаривая: «Крепись, крепись!..» Отсюда и прозвище.

В том году в нашем классе завелся новичок — крутошекий крепыш с васильковыми глазами, сынок какого-то крупнозвездного отставного военного, только-только пробравшегося в Москву (такие сперва оседали в пролетарски-хулиганских районах вроде нашего — лишь бы зацепиться за московскую прописку, — и только потом перебирались в более респектабельные кварталы). На переменках новичок, возбужденно жестикулируя, расписывал нам — в основном безотцовщине — героические подвиги своего папаши, утверждая, что тот закадычный друг самого Клина Ворошилова и запросто бывает в святая святых. Я ему почему-то верил, просто-душно раззявив рот. Наверное, потому, что каверзной насмешливости чумазых оборвышей так победительно-великолепно противостояла неопровержимая явь — невиданная кожаная курточка с карманами на молнии, хромовые сапожки и предмет особой зависти — толстая «самописка».

Как-то Крепись, сентиментально присюсюкивая, в очередной раз поведала нам трогательную историю о добром дедушке и злой чернявке. «Врет она все, — шепнул мой краснощечный сосед. — Ее сам Дзержинский шлепнул на другой же день». Я оторопел: «Ты как знаешь?» — «А вот знаю... Бате Климу Ворошилову рассказал».

В самом конце урока, когда Крепись сладким голосом призывала задавать вопросы по пройденному материалу, а класс тоскливо елозил по партам, томясь по звонку, словно какой-то бес толкнул меня в локоть, и я поднял руку.

«А как же вот вы говорите Каплан?.. — я похолодел, уже зная, что сейчас случится что-то непоправимо ужасное, что надо замолчать, замереть... — А ее Дзержинский расстрелял».

Лицо Крепись взялось багровыми пятнами, глаза зловеще

сузились, она стремительно шагнула по проходу меж партами и наотмашь, словно киношный Чапаев, вытянула меня указкой по спине. «Кто тебе сказал? А ну, гаденыш? Дома? А ну?!»

Не дожидаясь звонка об окончании урока, она потащила меня, жестко вцепившись в плечо, в директорский кабинет, где после крикливого допроса я, размазывая по щекам слезы, написал объяснительную записку, в которой признался, что услышал эту гнусную клевету от незнакомого хулигана на улице, и клялся, что больше никогда не буду этого делать.

Так я соврал на первом своем допросе, как бы репетируя многочисленные последующие.

...Как вроде бы неэстетичны, нелепы вихляния бедер и вся машинообразная работа рук-ног марафонцев. Только искушенному зрителю понятна рациональная красота марафонского бега. Марафонцу и за финишной чертой не до горделивого демонстрирования собственной стати и восторженно-приветственного вздымания рук — он весь в поту и грязи, ему бы замертво свалиться на землю, дабы отдышаться и дать отдых натруженным ногам... Зрители устают следить за перипетиями долгого бега, они только провожают стартующих марафонцев и не всегда встречают их, разбредясь по пивным или увлеченные более броскими зрелищами. И пока мимо их восторженных глаз метеорами проносятся, изящно и стремительно перебирая ногами, спринтеры, где-то там, далеко-далеко, все в поту и грязи — левой-правой, левой-правой, левой-правой... судорожный комок воли, терпения, выносливости, нацеленных на дальнюю дистанцию, которую надо одолеть во что бы то ни стало.

Не всякому дано быть марафонцем, не всем удастся добраться до финиша на собственных ногах... вон один упал, и этот, а тот вдруг зашатался, побледнел и рухнул на колени.

Кто же говорит, и спринт — тоже спорт. Но среди марафонцев меньше случайных людей: стометровку-то худо ли бедно всякий проскачет, не упав, коль уж занесло его на гаревую дорожку. Марафон случайных так или иначе выявляет — не на десятом километре, так на двадцатом, на тридцатом — и к финишу приходят лишь истые спортсмены...

Было бы только справедливым, если им дадут немного отдохнуть. Потеснитесь чуток, пусть и они побудут зрителями... до следующего забега...

Вот опять я тихонько стучусь к тебе в потаенную дверь, озираясь и спеша: у нас с тобой всего лишь ночь (целая ночь!) — что успею до утра, то и хорошо, так уж сложилось. Да и когда оно здесь иначе-то бывает? Только сегодня вечером мне сказали, что если хочу что-нибудь тебе передать, так чтобы к утру было готово...

Я заранее заготовил бумагу и ручки, накрутил целую гору махорочных сигарок — чтобы ночью не шуметь — и, дождав-шись, когда погасят свет и уснут мои сокамерники, устроился поудобнее на нарах, примостил на колени книжку — мой письменный стол, поелозил, пока не поймал полоску света от оконного фонаря, и вот пишу, готовый в любой миг нырнуть под бушлат и прикинуться мирно спящим — надзиратель ли шелкнет выключателем, прильнув к волчку, сокамерник ли вскинется и побредет, пьяно шатаясь, к параше... Вон один храпит на все лады, как свихнувшийся орган, а другой все что-то бормочет да вскрикивает. Вот, пожалуйста: «Щас как дам по тывке, гад! — и через минуту: «Ой-ой-ой!» — уже, видать, бьют.

Сколько я ни писал во все инстанции о свидании с тобой — реакции практически никакой. А я-то изопряжусь: в вашем-де гуманном законе сказано, что лагерная администрация обязана всячески способствовать социализации преступников и особенно — укреплять их семейные узы...

Но недавно были тут у нас две какие-то сановитые шишки в штатском. Приезжали специально на меня посмотреть, в связи с чем меня срочно извлекли из карцера (за что я туда угодил — разговор особый, расскажу потом, если время позволит), помыли в бане, побрили, переодели в чистую робу, выдали полпачки махорки, клок газеты, спички и даже налили миску щей, что является вопиющим нарушением карцерного режима, предписывающего кормежку лишь раз в двое суток... а ведь тот день у меня как раз должен был быть голодным. Праздник, да и только. Уж, думаю, не на свободу ли меня хотят выгнать? Вроде бы рановато, да чем черт не шутит? Тут ведь вечное ко-

лебание между двумя полюсами: то ли расстрелять его, гада, на мелкие кусочки, то ли брденем наградить его, героя!.. (А чаще сначала шлепнут, а уж потом — при реабилитации — геросм обзовут. Хотя бывает и наоборот. Трудно сказать, что лучше.) Впрочем, цирюль, трудясь над моими колючками, развеял в прах те сладкие мечтания, шепнув: «Прикатили два каких-то змея, велели тебя вызвать, вот и...»

Вводят меня в кабинет начальника лагеря, смотрю — сидят двое, поздоровались культурно. «Присаживайтесь, Эдуард Самойлович», — говорят. Кто такие, откуда и зачем — сообщить отказались. Держались очень важно, выспрашивали о всякой всячине. Я к дипломатничанию, как знаешь, не всегда расположен, и, после того как они уклонились от шпаги моего закономерного любопытства (кто вы, что у вас за цель и каков ваш мандат?), я надулся, надменно поджал губы и, в ответ на просьбу подробно рассказать о мотивах содеянного мною два года назад, грубо отослал их к приговору — там, дескать, все написано... Ну, говорят, приговор-то приговором, а как это было на самом деле? Это меня, конечно, чрезвычайно умилило (к тому же я вспомнил о карцере: возьмут сейчас и уйдут, меня опять в клоповник потащат, а я еще и махорку не успел искурить...). Ах, говорю, если вы согласны, что приговор и «на самом деле» далеко не одно и то же, то разговор иной... На самом деле, торжественно заверил я их, все было совсем не так, как сформулировано в Шемякином приговоре и, уж конечно, не так, как это расписано по вашим газетам да журналам.

Ну, рассказал я им в общих чертах о том, кто мы на самом деле, что нами двигало и кто поистине виноват в том, что наше желание эмигрировать обернулось «изменой родине»... И, кажется, неплохо говорил — тема-то большая... Смотрю, вроде как бы проняло их чиновничьи души — потупились, головами кивают согласно... А может, почудилось мне? Вероятнее всего (сейчас вот мелькнуло), они актерствовали. Будь разговор один на один, еще можно верить в искренность (хоть вот в эту-то минуту, когда звучат высокие, наивно беззащитные слова и глаза смотрят в глаза...), но когда их двое... Да они друг друга боятся больше, чем американских шпионов! Но это я сейчас такой трезвый, а в тот момент мне помстилось, что проняла их моя горячность.

Мы, молвят, уверены, что долго вам сидеть не придется, то,

что 15 лет дали, это так — дань моменту, престижная реакция на тот тарарам, который подняли на Западе.

Спасибо, говорю, и на том, только я, извините, шибко сумлеваюсь... Примерно так же меня обнадеживали и в тот срок, однако я его отбарабанил от звонка до звонка... к удивлению (конечно, фальшивому) тех, кто в этот раз вел мое следствие: «Надо же, Эдуард, за какую ерунду ты целых семь лет откуковал! Сейчас ты за это не больше пятерки бы получил...» И что, говорю, поразительно, с кем бы из опогоненных мне ни приходилось беседовать — от красноногого надсмотрщика до самого председателя Мордовского КГБ, — все как один заявляют: будь на то моя воля, я бы вас выгнал из СССР (а некоторые даже добавляют: да и всех евреев вообще). Конечно, с типовым подтекстом: стремишься за границу — значит, изменник... но раз уж так шибко, не таясь, рвешься, то черт с тобой, не война ведь сейчас, в конце концов... А то бы разговор короткий — к стенке и никаких забот!..

Конечно, говорю, это редкое счастье знать, что не ты один считаешь свой приговор чрезмерно жестоким и что есть надежда на благоприятное изменение политической конъюнктуры, а уж тогда... Но беда в том, что я не уверен, что к тому времени, как она изменится (если изменится вообще), я не обзаведусь, например, новым сроком — это дело нехитрое, вы только посмотрите, в каких кошмарных условиях мы здесь живем, это же не исправительное учреждение, как его напыщенно величает закон, а натуральная душегубка! (И что, дорогая, поразительно — в 1970 году в Токио был очередной Международный конгресс пенитенциарных деятелей, и, если верить прессе, он признал советскую тюремно-лагерную практику (!) самой передовой. Боже мой, какие фантастические ослы! Да были ли они в советских лагерях?! Не в тех потемкинских, которые специально процветают под Москвой и Ленинградом, а в натуральных, в глубинке.)

Вот, например, говорю им, недавно некто Швенко и Юрков (которому, заметьте, всего два года оставалось до конца срока) получили еще по 12 лет. И за что же? Юркову надо было делать операцию желчного пузыря, а Швенко резекцию желудка по поводу язвы, а их возьми да и перепутай! Перепутали да сами перепугались, перепугались да давай всячески врать, изворачиваться и следы заметать, а тем все хуже и хуже. Нако-

нец, отчаявшись добиться хоть какого-то лечения, они накололись...

«Как так?»

«Обыкновенно... В их приговоре значится... Вам, кстати, ничего не стоит поговорить с теми же Юрковым и Швенко — они здесь... В приговоре говорится: «Следствием установлено, что действительно Юркову и Швенко в результате диагностической ошибки (во как, значит, — ошибки!) было назначено неправильное лечение, но они вместо того, чтобы в узаконенном порядке обжаловать действия медперсонала больницы, накололи антисоветские надписи на лицевой части тела: Юрков — на лбу и обеих щеках, а Швенко — на лбу и левой щеке. Вопреки их утверждению, что они не имели умысла на подрыв и ослабление советской власти, самим фактом нанесения на лицо несмыаемых антисоветских надписей они опровергают это свое утверждение, а то, что эти надписи видели другие осужденные, свидетельствует о намерении Юркова и Швенко внести дезорганизацию в жизнь колонии, что подпадает под действие ст.ст. 70 и 77 УК РСФСР».

Ну и дали им по дюжине. И это, скажу вам, еще по Божески... Не так давно (то ли в декабре того года, то ли в январе этого) за такие же наколки одного расстреляли — Тарасова».

«А что же они накололи?»

«Да как обычно, «Раб КПСС», «Раб ЦК», «ЧК — убийцы!»

Мои собеседники опешили: видно, и впрямь лагерная повседневность им в диковинку.

А разве, спрашивают, и в самом деле никак нельзя было добиться лечения каким-то другим... законным способом? И как они с такими надписями на свободу пойдут?

Мне враз стало скучно... Посмотрел я на них с печальной усмешкой и ничего не сказал. Ни того, что наколки-то еще полбеды (их удаляют — только брызги летят — вместе со шкуркой; причем нарочно варварски — без анестезии — и уродуя лицо такими рубцами, что на нем уже трудно что-либо написать), а вот как быть безухим, безязыким, безносом? Ни того, что ни Швенко, ни Юркову освобождение не грозит — с их-то здоровьем. Кстати, натурально три дня тому назад Швенко умер от перитонита. В июне их судили, а в июле ему (в порядке мести за попытку разоблачения больничного бардака) необос-

нованно сняли инвалидность — несмотря на то, что к тому времени у него (словно мало ему полдюжины других недугов!) обнаружился еще и язвенный колит. И погнали на работу... А какой из него работяга? Он взвыл и проглотил с полкило гвоздей, шесть швейных иголок, все железки из радиорепродуктора, и все это заел доброй порцией цемента. Прodelывал он это на глазах нашего фельдшера, капитана Табакова, и опера, капитана Поршня, — они хохотали до слез и то подбадривали его: «А ну-ка еще чего-нибудь проглоти!», то угрожали: «За радио и гвозди платить будешь!» Его увезли в больницу, оперировали, но он умер от перитонита, так как, по рассказам, с разрешения хирурга Лушиной ему на другой день после операции принесли миску манной каши с маслом, он не удержался и съел ее вопреки здравому смыслу и уговорам сокамерников.

И чем, как ты думаешь, кончилась наша беседа? Они меня спросили, не хочу ли я получить свидание с тобой. У меня и челюсть отвалилась...

А они: «Это не проблема... Если мы будем иметь гарантии, что вы уговорите свою жену написать покаянную просьбу о помиловании».

Челюсть захлопнулась...

Конечно, я мог бы наврать, что, дескать, постараюсь уговорить тебя, а там уж, мол, как выйдет..., но мне очень не понравилось словечко «гарантии», я вскинулся и наговорил им всякой всячины — нужной и ненужной (последней больше, как всегда в таких случаях). Моя-де жена, как и я, как и все мы, сидит за мифическую измену родине! В чем ей признаваться, в чем каяться? Да если только она пойдет на это, я враз откажусь от нее и знаю, что напиши я такое покаяние, она плюнет мне в морду — и правильно сделает... и т.д., и т.п. в том же героическом духе. Так мы и расстались. К тебе они, конечно, тоже приезжали? Не сомневаюсь, что ты их отшила.

Вместе с тем мне кажется обнадеживающей эта суета вокруг твоего покаяния. Тебя им держать за проволокой даже накладно. Уверен, милая, что они все-таки вынуждены будут отпустить тебя — если не в этом году, так в следующем как пить дать. Вот увидишь!

Я затрудняюсь сказать что-нибудь определенное о профессии моих собеседников. Мне показалось, что они не только хотели в чем-то меня надуть, но и пытались нечто уразуметь. Все

же, скорее, это были какие-нибудь партийные функционеры средне-верхнего звена (так завравшиеся о прелестях советской жизни, что и сами поверили своему вранью — отсюда и удивление лагерным гримасам), нежели работники сыска, которых ничем не удивишь и о которых я твердо знаю, что никакие искренние минуты с ними в принципе немислимы, с ними невозможно и на миг выпрыгнуть из шкуры гонимой жертвы, а они не хотят и не умеют расстаться с ролью гончего пса. Какая уж тут искренность! Только и смотри, чтобы не слопали. А с этими что-то такое все-таки мелькало. Или нет?

Но в любом случае срываться на откровенность негоже и уж тем более с лагерным начальством: те побыли и нет их, а эти, как клопы в камере, — никуда от них не скроешься...

У меня тут не так давно как раз случился такой срыв, в результате коего я угодил в узилище на 15 суток.

Я писал тебе, что в начале июля Люся собиралась приехать на свидание. Один кое-чем мне обязанный околкабинетный человек шепнул мне, что начальство хочет под предлогом ремонта дома свиданий оттянуть приезд Люси месяца на полтора-два — то ли хитрая аппаратура у них вышла из строя, то ли еще что, черт их закулисные хлопоты ведает. Я себе места не нахожу, досада меня разбирает — уж больно мне надо бы повидаться с Люсей, шепнуть ей кое-что. А тот мой доброт, чтоб ему пусто было, оказывается, еще кое-кому протрепался (всякий почти заключенный — трепло и невозможная баба), и в конце концов начальство узнало, что их секрет уже не секрет.

В общем, вызывает меня капитан Калгатин... Премерзкая, надо сказать, фигура, жирный червяк, обожает при заключенных яблоками хрумкать, выуживая их одно за другим из стола. Но в тот день он забавлялся редиской... Ах да, вспомнил: как раз передо мной был у него в кабинете «Генерал Безухов», увидел красную редиску, плюхнулся на колени и ну лобызать начальственный сапог: «Барин! Дай редисочки попробовать!.. Красненькой! Двадцать лет не едал!..» И Калгатин насыпал ему целую пригоршню. Этот «Генерал» — прелюбопытная фигура, вроде шута, которому многое с рук сходит. Его только стараются прятать от наезжего начальства — уж больно он страшен: безухий, огромная челюсть с черными пеньками зубов выдвинута далеко вперед, как ящик комода... Да к тому же он

имеет обыкновение подкрасться к приезжей щипке и закричать: «Барин, отдай мои уши!» — или еще чего-нибудь в этом роде. Шут с печальными, как и подобает подзаборной дворняге, глазами.

Ну ладно, к делу, а то этим отступлениям конца не будет. Я, собственно, не столько хотел рассказать о своих пятнадцати сутках, сколько о той парадоксальной форме общения с начальством, когда что ни слово — все не о том... Мелькнула у меня вначале какая-то не совсем ординарная отсылка к подтексту Хемингуэевых диалогов, да пока болтал о том о сем, она улетучилась. Подожди-ка!.. Нет, не вспоминается. Ну да Аллах с ней.

Он: Вы, я слышал, ждете свидания?

Я: Всенепременно. В начале июля.

Он: Дело в том... в общем, сообщите домой... Ставлю вас в известность, что с такого-то числа дом свиданий закрывается на ремонт... Надо печку переложить... к зиме, покрасить, побелить...

Я (возмущенно): То есть, как это на ремонт? — искренности моего возмущения ничуть не мешает то, что я уже был готов к этому разговору. И вообще вся тонкость ситуации как раз в том, что он знает о моем знании, но оба мы делаем вид, что ничего не знаем. — Ведь вы его в апреле ремонтировали!.. Этак вы все фонды поистратите!

Он: Пусть это вас не печалит... О вас же заботимся!

Я: Спасибо, премного-с благодарен... Только беда в том, что закон не предусматривает для отсрочки свидания такой повод, как ремонт... Сколько, говорите, это займет времени?

Он: Месяца полтора-два.

Я: Ну вот... Да ведь можно где-нибудь там найти уголок — всего ведь четыре часа каких-то...

Он: Ну что вы, какое же это свидание?.. Кирпичи там всякие будут валяться, мусор... нехорошо.

Я: Месяца два! Да вы что? За два-то месяца на Западе небоскребы возводят, да я и сам на стройке работал, мы за два месяца, бывало, этажа три успевали отгрохать! А вы — печку!.. Так вот, гражданин начальник, в законе четко сказано, что я имею право раз в год на свидание длительностью до четырех часов, а про печку там ни слова — это ваша забота, а не моя... В этом году на два месяца позже, в другом... а в результате вы

у меня украдете два-три свидания за пятнадцать лет. Вот так: или официально лишайте меня свидания, или предоставьте его в срок!

Он: Надо будет — лишим!

Я: Вот именно! Так-то оно будет честнее! А то мы с вами все не о том говорим...

Он: Как это не о том?

Я: Да так!

Он: А все-таки?

Я: А все-таки? А все-таки нам бы следовало говорить так:

«Вы: — Мне велено оттянуть твое свидание на пару месяцев. С удовольствием вообще лишил бы тебя его, да опасаясь, что ты опять закатишь длительную голодовку. Оно хоть и черт с ней, с голодовкой-то, да начальство давит: учись, дескать, работать потоньше — не те времена... Хорошо им поучать издалека-то!.. А потому я выдумал ремонт...

Я же вместо того, чтобы делать вид, что не знаю ваших целей, и пытаться вас усовестить ссылками на закон — что вам закон? что вы закон? — должен был прямо сказать:

— Вы, гражданин начальник, сволочь!» Что я и говорю: вы сволочь!

И вот за столь дешевое удовольствие (он и глазом не моргнул) — пятнадцать суток. Так мне и надо — не мальчишествовай, не распускай нервы.

Но пятнадцать суток, их ведь тоже не без пользы можно отсидеть. Это как, например, с однодневной голодовкой. Ну что такое, приходится порой слышать, один день? ни умереть не умрешь, ни добиться чего-либо не успеешь... Это так, но есть ведь и другие измерения: это же целых 24 часа голода (кстати, наиболее чувствительного именно в первый день), когда ты зол, как сто чертей на тех, кто тебя вынудил голодать, это тот огонь, на котором закаляется твоя непримиримость. Так и пятнадцать суток в ШИЗО. Пока голодный корчишься от холода на цементном полу, многое успеет в душе затвердеть прочнее бетона.

ВСЕМОГУЩЕСТВО

Сперва, выклянув у небес всемогущество и неуязвимость, я, понятное дело, ринулся переустраивать мир, но довольно скоро впал в уныние, обнаружив, что земной кавардак от моего рвения не убывает. К тому же меня весьма удручало отсутствие надлежущей твердости в обращении с толпой просителей, денно и ночно осаждавших мой дом, — я не умею отказывать и потому трудился до полного изнеможения, едва урывая пару часов для сна. Я не высыпался, и это было мучительней всего. Дальше так продолжаться не могло, и однажды, едва рассвело, оставив на столе записку: «Уехал в отпуск», я тихонько выбрался через окно на улицу.

Пронзительно скрежеща на поворотах, трамвай неспешно катил по узким улочкам моего детства — угрюмые коробки новых домов как сквозь землю провалились, и палисадники дощатых развалюх желтели, как прежде, подсолнухами и георгинами.

«Измайловский парк», — тонко пропела девчонка-кондукторша. Я сошел.

Утреннее безлюдье аллей, бодрящая прохлада, прозрачная хрустальная тишина в звонких трещинках птичьих голосишек, трава в ртутных шариках росы... А вот и Девственный лес — на кустах белеют, как свечи на праздничной елке, презервативы: окрестные прелестницы испокон веку избавляются тут от постылой девственности.

Зачем тебя сюда занесло? Уж не надеешься ли ты встретить здесь себя давнего, в итупаной рубашонке, с авоськой, где звякают бутылки из-под водки. Что ты ему скажешь? Твоей печали он удивится и не поймет. «Зачем бутылки? — переспросит. — Так на кино же!..»

Выбрав бугорок посуше, я расстелил плащ и едва успел озабоченно сморщить лоб, как сон сморил меня.

Проснулся я далеко за полдень — голова потрескивала от жары, в животе требовательно урчало. В карманах ни крошки, и сигареты так и остались лежать на рояле... Ну, да ладно, сейчас не до этого.

В первую очередь, решил я, надо быть самим собой. Это главное. Поскольку ты не знаешь, что именно следует делать

для того, чтобы все человечество с утра до ночи надрывалось от счастливого смеха, надо ограничить вмешательство в людские неурядицы случаями очевидной несправедливости и вопиющих злодейств. И не будь сволочью, сказал я себе, не лезь из шкуры вон, а то станешь тираном. К тому же (хватит крикляться!) твоего сострадания к жертвам верховной власти, пьяниц-мужей, подлецов-соседей и преступников хватает лишь на два-три часа — потом ты становишься нетерпелив, ядовито-насмешлив, раздражителен и не столько вслушиваешься в стоны сирых и вдовых, сколько борешься с желанием напиться вдрызг и крушить налево и направо все, что ни попадя.

Итак: три часа в день — с восьми до одиннадцати — пусть приходят обиженные и обездоленные, я их утешу и своей рукой накажу обидчиков.

Да, надо бы сперва казнить смертью тюремщиков — и не одних лишь ключников, но всех. На это у меня уйдет, пожалуй, года полтора-два... Нет, сошлю-ка я их на остров — пусть строят там свой казарменный рай и сами загоняют друг друга в лагерь.

Значит, утром с восьми до одиннадцати...

Хотя вот что: отправлюсь-ка я, словно старинный рыцарь из книжки, странствовать по белу свету — из города в город, из деревни в деревню. Спешить все равно некуда — как моря кружкой не вычерпать, так и бед людских не избыть. Въезжаю в деревню и созываю народ: «А ну, какие у вас тут беды-злосчастья? Где Кащей, где Соловей-разбойник, Серый Волк и Мерлин?» И прямо на месте творю суд и расправу, потом разбиваю в ближайшей роще у ручья палатку и объявляю конкурс местных красавиц.

Да не забыть бы ввести спецуказом обязательные для всех лиц женского пола от 15 до 45 лет ежедневные получасовые упражнения с хула-хуп. (Хула-хуп чрезвычайно полезен для тазобедренных суставов, наделяя их умопомрачительной эластичностью, к тому же он, укрепляя брюшной пресс, утончает талию, а при тонкой талии да еще крутые бедра, если они не слишком заросли жиром, но изоциренно игривы, резвы и упруги, — что может быть привлекательней?)

Счастливой победительнице конкурса дозволено будить меня ночью хоть десять раз. Десять многовато вроде бы, ну, ска-

жем, пять. Да, пять — в самый раз. Если не каждую ночь...

Главное — не лицемерить, любви к людям у тебя не более чем на два-три часа в день, а потом — палатка в роще у ручья.

Значит, первое — наесться досыта, второе — продать дом и купить коня, третье — указ о хула-хуп, четвертое — ... нет, третье — сослать тюремщиков на остров, четвертое — указ о хула-хуп, пятое — обзавестись палаткой и большим надувным матрацем. Основное — быть самим собой, и все сразу станет на свои места.

* * *

Теперь я целыми днями галопирую на белом коне, а вечером вслушиваюсь в веселый лепет ручья возле палатки. О чем это он так звонко?.. Скорей бы отбой — уснуть, а утром дадут хлеба. (Как долго тянутся 15 суток в карцере: ни курить, ни читать, кормят через день, нары открывают только на ночь...)

Со свиданием теперь не знаю как. Может, в октябре Люся сумеет приехать. Но поговаривают, что всех нас, полосатиков, скоро этапируют в какой-то другой лагерь. Куда?

Я так и не получил твоего майского письма, что крайне огорчительно. Ради Бога, учись эпистолярным манерам-маневрам. Без них наша переписка вечно будет под угрозой. Во всяком случае, в эти первые годы, когда они особенно пристально изучают нас. Потом-то, думаю, контроль поослабнет... Если мы ни на чем не попадемся. Когда дела дрянь, пиши, что живешь неплохо, когда действительно так себе, сообщай, что у тебя все расчудесно — я пойму. Если невтерпеж и гневное слово так и рвет сердце, то, выкрикнув его, не забудь потом упомянуть, что вообще-то все ужасно здорово... Тут то же правило, что и в печати: критика допустима лишь в одном виде: во-первых, никаких обобщений, а во-вторых, чем больше критики вначале, тем иступленней должна быть осанна в конце.

В ближайшее время меня, полагаю, начнут крепко теснить и, конечно, в первую очередь будут придирааться к письмам. Я намерен активно огрызаться, но письма... письма надо стараться вывести из-под огня. Придется уснащать их большим коли-

чеством лоялистских фразочек — пусть это тебя не смущает, но всего лишь служит знаком, что я все еще в состоянии войны. Куда же от нее денешься? Хотя, между прочим, замечу, по настоящему сильный до войны с лагерным начальством не опускается (что, конечно, не значит, что всякий невоюющий — Геракл), и внешне он — олицетворение спокойного послушания, конечно, послушания в известных пределах и без ущерба для личного достоинства, ибо оно как бы добровольно, и начальство, в свою очередь, опасливо-уважительно обходит его... Во всех случаях он редко бывает жертвой явного злоупотребления властью. Между ними словно бы заключен негласный договор, суть которого в обоюдном признании и нежелательности конфликтов, в которых сильного (на то он и сильный) иногда может поддерживать чуть ли не вся зона. Но время от времени силу надо продемонстрировать — в крайней ситуации, — и это всегда сопряжено с большим риском, ибо демонстрация силы обязана быть сильной демонстрацией. То бишь порой на грани жизни и смерти. Но, заметь, опять же не ради победы (победить стоглавую гидру начальства, особенно низового красноносого, заключенному никак невозможно), а всего лишь для подтверждения всегдашней готовности отстаивать свои малейшие права большой кровью. Быть сильным — должность хлопотливая и рискованная, но единственно пристойная в лагере.

Именно потому, что я все это время был занят другим, я попустил врагов своих, и они вообразили, что я то ли стал непротивленцем, то ли просто захирел. Это мне не нравится. Вот посмотришь: через годик-другой я обзаведусь такой репутацией, что меня зарекутся цеплять.

Ну, ладно, дорогая, надо закругляться — в коридоре началась суэта, значит, вот-вот завизжат: «Подъем!» Как ты там? Очень за тебя беспокоюсь. Какая это унижительная тяжесть знать, что и ты сидишь. Есть в этом что-то настолько противоестественное, что хочется закричать и проснуться.

Раньше ты, помню, говорила, что единственная твоя претензия к советской власти — эмиграционный вопрос. Меня это всегда удивляло: разве степень открытости границ не есть существенная характеристика всей системы, необходимо влекущая за собой многие иные выводы? Теперь, судя по письмам, у тебя появились новые счета к властям... все-таки душегубка

исключительно примитивно устроена — верноподданнического эффекта она не дает.

Вот и кончилось наше время... Слова, слова, слова! Я все их отдал бы за безязыкую ночь возле тебя. До свидания. Целую и обнимаю.

Видишь, как оно все по-дурачки получается: «К утру чтоб было готово!» А утром: «Нет, давай к завтрашнему утру...» Вот и еще одна ночь — знать бы об этом заранее, так и писалось бы иначе и даже, может, о чем-то другом. Ну да ладно, и то хорошо. Главное, есть уверенность, что ты получишь-таки эти листочки.

В одном из своих писем ты весьма мудствуешь... «Пиши какие-нибудь рассказы или хоть бы заготовки к ним». Я аж подпрыгнул от ужаса... ни в коем разе не касайся этой темы — у меня и без того всякую бумажку обнюхивают со всех сторон. Писать чрезвычайно трудно, почти невозможно. Разве что ночами, как я и делал той осенью, когда меня сжигала лихорадка сочинительства. Вернувшись с работы и поужинав, сразу заваливался спать, где-то часа в два ночи просыпался и — как вот сейчас — до самого подъема шаркал пером по тетради, сторожко прислушиваясь ко всем шорохам и досадуя на тусклую болезненную желтизну моей заоконной лампы... и получалось у меня все какое-то желтое и больное.

А утром надо было суметь незаметно передать тетрадку надежному человеку (из тех редких, кто и не продаст, и не растреплется, и в то же время у начальства вне подозрений — нет им цены, они больше делают, чем все горлопаны и мишурные бунтари вместе взятые) с тем, чтобы вечером, когда опасность обыска меньше, так же неприметно забрать ее у него... Вот и пиши тут! Во всяком случае, по шкале «изящной словесности» спрос с меня невелик — до ювелирной ли тут обкатки слова? Да я, признаться, и не придаю этому особого значения (не зелен ли виноград?) — пекусь лишь о немудреной ясности фразы. Простота слога Сименона мне ближе стилистических изысков элитарных авторов.

Вчера я заикнулся о том, что вскоре жду гонений. Вот-вот это перестанет быть тайной, а потому не велик риск сегодняшнего посвящения тебя: я более или менее регулярно вел дневник и не так давно сумел часть его передать на волю. К сожалению, поставленные мне условия относительно габаритов пакета были столь жестки, что я не вместил туда и третьей части того, что хотелось бы. Не втиснулись туда и те пять-шесть рассказов, которые к тому времени уже были у меня готовы. Надо было выбирать и... до авторского ли гонора, когда необходимо поскорее поведать людям, кто мы и зачем (именно об этом я и писал в дневнике). Жесткими были и временные рамки... Тут уж некогда было размышлять над строгим отбором материала. Теперь-то я жалею, что поспешил воспользоваться тем «каналом», все кажется, что надо было еще подождать, ибо позже, после публикации, все равно писать будет невозможно в ближайшие лет пять-шесть. А потом, после пяти-то лет, и опасно: сейчас я не боюсь, что мне могут добавить срок — его и так хоть отбавляй, а тогда уже страшновато будет. Да и ужасно глупо сидеть за какую-то сотню-другую страниц — я же не богодухновенную истину в себе ношу, без которой человечество зачахнет... Нет, через пять лет я все-таки, верно, не решусь рисковать. Сколько можно! И пусть бы хоть каплю просветительской наивности: мир-де узнает, что такое совладелец, и, ахнув, вынудит здешние власти обеспечить нам человеческие условия... С таким-то упованием («Блажен, кто верует — тепло ему на свете») можно бы и на Голгофу. Да где его взять, упование-то? К тому же и тюремно-каторжная тема изрядно заезжена, тут трудно что-то новое сказать, ныне ведь не времена «Мемуаров» Видока, впервые показавшего жизнь дна и ужасы каторги. Да и какие-такие у нас особенные тут ужасы, чтобы уж кровь стыла в жилах? У современного-то человека, чего-чего не пережившего и к чему-чему не притупившего своей чувствительности и сострадания?

Моя цель намного скромнее. Если вдруг кто-то скажет: «Ну и что там такого у вас особенного? Лагерь как лагерь... Ну там бывает всякое, не без того... А в других-то странах, читали, что делается?» — я отвечу: «Другие страны — всего-навсего обычные другие страны, и там всякое возможно, а тут-то строится небывалый рай, тут-то претензия на особый принцип, на сотворение нового человека... И если мне удастся показать, что

тут, по крайней мере, не лучше, чем в других странах, то и это уже кое-что». Подытоживая, скажу, что здешняя повседневность столь же отвратительна, как и те мерзости в закордонных тюрьмах, о которых порой пишут в газетах. Но (не говоря уж о нестабильных режимах иных малых стран) там — это эксцессы, исключения (о которых можно публично кричать — что немаловажно), тут — норма, о которой и не заикнись.

И материалов о типичных западных тюрьмах не сыщешь днем с огнем. А это бы мне так пригодилось!

Ну ладно, эта тема неисчерпаема, я еще не раз буду возвращаться к ней (боюсь лишь повторов — черновиков-то, чтобы свериться, нет возможности хранить), а пока хватит, а то ни на что другое времени не достанет.

И потом, писать здесь — дорогое удовольствие, требующее слишком больших жертв. Хоть писать — оно тоже, в некотором смысле жить, но все время таиться и сторожко стричь ушами — это не жизнь. Всякая ночная строчка встроена кровью дневных виляний, уступок, осторожничанья, так похожего со стороны на трусость. Тут для меня или-или. И я выбираю жизнь. Тем более, что недавно я уничтожил почти все свои тетрадки (случилась такая паническая минута)... Сизифов труд... Тем более, что вот-вот им станет известно о моем дневнике, тем более, что достаточно широкого «канала» все равно пока не предвидится... и т.д.

Эти ближайшие пять-шесть лет я решил посвятить следующему: 1) созданию (на всякий случай) стойкого впечатления, что я окончательно отказался от пера; 2) сплочению порядочных элементов зоны и формированию мощного кулака как для отстаивания общеарестантских прав, так и для оздоровления внутренней атмосферы, отравленной миазмами уголовщины и откровенно торжествующего коллаборационизма; 3) постановке себя в качестве человека, которого никому не рекомендуется задевать — ни начальству, ни уголовникам. А там — посмотрим.

Единственное, в чем я могу не успеть, — пункт второй. Это аж как сложно! Во-первых, кошмарная ст. 77-прим, а во-вторых, слишком нас мало — даже уголовной стихии нам пока не под силу противостоять. Но тут я надеюсь на скорое появле-

ние группы украинцев, которых, я слышал, наарестовали в январе этого года. Некоторых из них я знаю, ребята крепкие — какую-никакую кашу с ними сварить можно. Поскольку я тут надолго, я не могу не пытаться очеловечить свои условия. Конечно, старостат — мечта неосуществимая в обозримом будущем. Когда-то, еще на заре века, за него было пролито много крови, в двадцатые годы он еще кое-где сохранялся, благо сидели некоторые из тех, кто и раньше сидел (помнишь анкету Радека? «Чем занимался до революции?» — «Сидел и ждал». — «Чем — после революции?» — «Дождался и сижу»), — живые носители бойцовских традиций царских узилищ, а новые тюремщики — сами недавние арестанты — еще совестились обрушивать на вчерашних союзников накопленный в тюрьмах опыт... Но когда за старостат уже не кровь стали пускать, а просто-таки головы отрывать, он умер. Какой, к чертовой матери, старостат, если тут запрещено даже жалобу за другого написать («человек человеку друг, товарищ и брат!»). Но что-то надо все-таки делать, чтобы превратить... войну «всех против всех», перманентную, бесконечную джунглевую грызню, ни на миг не затихающую в дебрях лагерного быта, в сознательное сплоченное противостояние всему (г-)адскому. Причем, говоря об уголовниках, не надо обладать большой проницательностью, чтобы предсказать, на чьей стороне будет администрация. Отношение советского обывателя к уголовнику двойственное — он боится и ненавидит его, уличного грабителя, насильника и хулигана, но одобрительно (или по меньшей мере равнодушно) взирает на него, если он предстает в обличье расхитителя государственной собственности, ибо «кто Богу не грешен, царю не виноват?», то бишь — кто же не крадет у государства? «Не украдешь — не проживешь», «Хочешь жить — умей вертеться», «Ну и лопух — ни украсть, ни покараулить» — вот концентрированное выражение философии рядового гражданина, выросшего в склочных очередях за хлебом, возмужавшего и постаревшего в «доставании по блату» и продаже из-под полы, в левых заработках, халтурах и мелких хищениях чего ни попаля с родного завода...

Третья задача дастся мне тоже нелегко, может быть, и через, карцеры, но, вообще говоря, отвечать на всякий удар двойным — в моей крови, и я даже с известным чувством облегчения забрасываю свое перо в дальний угол, намертво пряча немногие

сохранившиеся у меня искорябанные мельчайшим бисером буквочков бумажки и, весело покряхтывая, расправляю занемевшие члены.

А через какое-то время, когда от меня немножко поотстанут, я, может, опять тихонько извлеку свое перо. Но скажу тебе честно, что с тех пор, как появился шанс (увы, хоть мы и приложили к этому руку, не для нас пока, но и для нас тоже — пусть и в далекой перспективе)... с тех пор, как появился шанс выскользнуть из костоломных скифских объятий, я все чаще задумываюсь: не слишком ли это дорогая цена, срок, за те слова, которые ты (только потерпи пока!) свободно выскажешь завтра (то есть лет этак через 10-12) в каком-нибудь закордонье, где справедливо приложимо недавно вычитанное мною у кого-то утверждение, что противостояние властям, бунт имеют соблазнительный привкус грозящего за него наказания... Бывают же такие страны, где противостояние властям имеет соблазнительный привкус наказания, которое всего лишь грозит!

...Зимой себя спокойней, уравновешенней чувствуешь — не так тянет на волю. Самая мука весной — так и взвыл бы серым волком. Весной смиренномудрая зимняя душа — «немочь бледная» — складывает свои горние крылышки и затихает, забивается в дальний уголок, смущенная неистовым косноязычием воплей и метаний пробудившейся сестры-язычницы, пьяной вакханки, распираемой всеми земными соками и страстями. Весной сизифов камень обуздания плоти, с таким трудом вкаченный на холодную и чистую вершину, вдруг стремительно срывается вниз, все сокрушая на своем пути к живительной влаге родного озера... летит, пока не уткнется в околоченный забор — каменной всех камней. Ни вверху не удержаться, ни вниз не упасть — лишь томиться, вновь и вновь мысленно блуждая все по тем же дорогам странствий души человеческой, то замороженной надзвездными хоралами, то хрюкающей в болотной жиже всеядного вожделения. Помнится, Достоевский говорил, что о народе (да и о человеке, конечно) следует судить не по тем пропастям, в которые он падает, а по тем вершинам, на которые он способен подняться. Я бы заменил противопоставительное «а» на рядопологающее «и» — ведь вершин не бывает без пропастей. Ни от чего нельзя отскататься,

надо быть верным себе и в хорошем, и в плохом — жизнь человеческая слишком сложна и коротка, чтобы успеть выработаться в бесповоротного ангела: лучшим и удачливейшим из нас всего лишь удастся повиснуть между небом и землей, то задевая головой свод небесный, то загребая сапожищами болотную грязь... Нельзя отречься ни от неба, ни от земли, в этом, может, суть мужественной и трезвой мудрости — мужественной мудрости признания, что подвешенное состояние — это единственное, что пока заслужил человек, трезвой мудрости понимания, что минимум утешительных автомифов — это хоть какая-то профилактика наиболее кровавых болезней человеческого духа и истории.

Сколько можно сидеть! Надо, уговариваю я себя, писать о чем-то, не охватываемом диспозицией ст. 70-й, впрочем, она так резинно сформулирована, что по мере надобности ее легко растянуть для охвата любых словес и деяний. ...Говорю... и не могу — таким мертвым грузом придавил меня лагерь, что ничто другое нейдет в голову, хоть тресни. Они меня отравили угаром тюрьмы, и, пока я не отдышусь на вольном воздухе, ни за какую иную тему я не сумею взяться.

СЪЕЖИТЬСЯ И ИСЧЕЗНУТЬ

Мышей у нас полным-полно. И крыс тоже, но к крысам я испытываю брезгливое отвращение, замешанное на безотчетном страхе, а мыши мне всегда нравились — такие игрушечные, юркие, веселые. Вот только гадят они где ни попадя, ну, да разве это такая уж беда? Собери ты хоть тысячу мышей, они все равно не сумеют нагадить столько, сколько навалит иной симпатяга.

Ну, ладно, только завелась у меня под нарами здоровенная крыса — рыжая и толстая, как хлебная буханка. Сперва я хотел шмякнуть ее шваброй, но она так жсалобно пропицала: «Поцади!», что у меня рука не поднялась. К тому же она оказалась калекой — вместо длинного голого хвоста, противно

скользящего по полу, у нее, словно у кролика, торчал забавный обрубок, в жестких завитушках курчавой шерсти.

Стал я ее подкармливать, а заодно все выпытываю, где это она русскому языку научилась. Поначалу-то она все отмалчивалась — дескать, знать не знаю и ведать не ведаю, о чем это ты спрашиваешь, но потом призналась, что удрала из вольеры какого-то НИИ, где ей, несмотря на приличную кормежку, осточертели дрессировки и бесконечные операции. И в самом деле — под рыжей шерстью тут и там белели какие-то рубцы.

Лексикон ее был чрезвычайно скуден, но таблицу умножения она знала беззапиночней иного надзирателя. Хуже всего ей давались склонения, да и произношение хромало, то и дело сбиваясь на писк, — как-никак она была недоучкой, и это сказывалось на каждом шагу.

— А философии, — спрашиваю, — вас там учили?

— Очень, очень учили, — говорит.

— А ну, что же ты выучила?

— Все! — отвечает и, набрав полные легкие воздуха, выплевывает одним духом: — Наша родная партия и народ! Слушаюсь! Выполним и перевыполним! Виноват! Исправлюсь! Ур-ра!

Я честно делил с ней свой паек, и она росла как на дрожжах, доставляя мне массу хлопот, но и развлечений тоже. Первым делом я приучил ее пользоваться парашей и, нацепив очки, с серьезным видом разглядывать газету.

Сперва я тревожился, как бы ее не заметили надзиратели — тогда мне не миновать карцера, — но потом решил, что буду от всего отпираться: дескать, понятия не имею, как это животное оказалось здесь. Лишь бы она сама не проболталась.

А крыса-то моя не только достигла полутора метров, насобачилась ковылять на задних лапах, носить сапоги и брюки, но и начала облезать — кожа у нее какая-то мертвенно-белая с крупными порами. Пришлось раздобыть для нее арестантскую куртку и бушлат, чтобы не мерзла по ночам, а то она, озябнув, устраивалась у меня под одеялом — спросонья-то так и вздрогнешь, случалось.

Но беспокоило меня другое: чем больше она становилась, тем делалась бесцеремоннее. Иногда, расправившись со своей порцией, она злобно посверкивала на меня черными с бесовски-

красноватым отливом глазами — я пугался и отламывал ей корку от своего куска.

Как-то мне случилось заболеть. Я целых полмесяца не ходил на работу и, начисто потеряв аппетит, всю еду отдавал крысе. Это была непоправимая ошибка — она быстро привыкла к целой порции и вскоре оскалом желтоватых клыков дала мне понять, что я могу рассчитывать лишь на хлебные крошки.

Я все сильнее ссыхался и съеживался и наконец перебрался под нары, так как крыса привыкла спать на моем матраце, где ее однажды застал фельдшер, впервые за две недели заглянувший в камеру.

— Ну и морда у тебя стала, — равнодушно проворчал он крысе, полагая, что это я. — Ну-ка, высуну язык. В норме... Завтра на работу!

Так она включилась в трудовой процесс. Судя по тому, что вскоре ей стали давать дополнительное питание, она перевыполняла норму, преуспевала на политзанятиях и была образцом послушания. Я был поражен, но не только ни о чем ее не спрашивал, но и старался не попадаться ей на глаза, пробавляясь крошками, остававшимися после нее под столом.

Однажды она, встав на четвереньки, заглянула под нары и сказала, грозно шевеля усами:

— Ходи сюда. Раскайнье писать! Вина признал, прошу простить, всегда служить родная партия и великий народ! Ну! Ты писать — я кормить! Ну!

И она швырнула мне большую корку хлеба, едва не сбив меня с ног. Я шарахнулся в угол и крикнул оттуда:

— Завтра напишу. — Сердце мое колотилось от страха и отвращения.

Ночью, дождавшись, когда крыса захрапела, я, вооружившись гвоздем, кое-как открыл тумбочку и влез в нее. Первым делом я обглодал горбушку хлеба, которую крыса оставила себе на утро, а потом разыскал английскую булавку и из трех когда-то принадлежавших мне носовых платков выбрал тот, что поновей. Сложив его вчетверо, я застегнул его булавкой на левом плече — на манер римской тоги, потом, кое-как втиснув огромный ломоть хлеба в спичечный коробок (мой ранец), спрыгнул на пол и со всех ног бросился к мышинной щели в углу.

Я полз все вниз, вниз и вниз, с непривычки обдирая в кровь ко-

лени и локти, но вскоре глаза привыкли к темноте, а руки и ноги приобрели необходимое проворство и ловкость.

Наконец я наткнулся на мышиную деревню и, соорудив себе шалаши на окраине ее, поселился там. Мыши сначала дичились меня, но потом, убедившись в моем миролюбии и скромности, приняли меня в свой круг.

Наука вольной жизни нелегко давалась мне: да и языковой барьер не вдруг удалось преодолеть.

Поскольку настоящей мышинной сноровки я так и не достиг (с возрастом адаптационный механизм утрачивает гибкость), я подрабатывал лекциями о людском коварстве и учил мышей избегать ловушек с отравленной пищей. Мышинная жизнь, скажу я, не проста. Есть в ней свои трагедии, свои беды, много пота и всяких забот, но всякий трудовой день завершается праздником. Что за бесшабашная бегодня, возня и пронзительный писк поднимаются! Какие стремительные хороводы, какой дух веселья и доброжелательности царит среди мышинного народа! А главное, тут решительно не знают, что такое тюрьма, и, хотя ни одно вече не обходится без жарких схваток, никому и в голову не приходит заковывать в кандалы тех, кто думает наособицу.

Я, конечно, женился на прелестнейшей мышке (второй дочери деревенского учителя музыки), и теперь в нашем гнезде попискивает целый выводок мышат с розовыми мордашками.

Одно меня смущает: больно уж у моей женежки ноги волосатые, а мне никогда не нравились женщины с волосатыми ногами. Надо будет где-нибудь раздобыть безопаску и научить ее брить ноги. Но только чтобы каждый день, а то от щетины щекотно.

Когда я в очередной раз мучаюсь над настройкой себя на что-то внелагерное, я неизбежно вспоминаю Вальку Соколова (где-то он сейчас горбатит, бедолага?), которого когда-то по неопытности сердечной упрекал в узости тематики: что у тебя, мол, все лагерь да лагерь!.. А что у него могло еще быть! Он к тому времени уже 18 лет отсидел. Значит, никуда от него, проклятого, не деться, пока эта тема не будет исчерпана — в жизни и в слове. Вместе с тем я не хочу на ней паразитировать, сказать о себе: «я заключенный — тем и интересен» — обидно.

Тут у меня было сложилось несколько теплых страниц о Валькэ, быть может, эмбрион повестушки, но беда в том, что нет у меня его стихов, а он-таки поэт по преимуществу, и писать о нем, не имея под рукой его стихов, никак нельзя. Правда, несколько штук я раскопал (кое у кого они тут хранились более десяти лет), но это относительно ранние и далеко не лучшие его вещи. Они у меня в двух экземплярах, один я приложу к этому письму: если мой заберут, то, может, твой сохранится. Это стихи года 1958-1960, так что, если они и попадут в руки тех, для кого они не писаны, Валькэ это уже не страшно — дело-то ведь давнее.

Легко заметить, что тут много безвкусицы, от которой он до конца так и не избавился... да и как, где он мог пройти хорошую вкусовую школу? Нет-нет да и мелькнет штамп, есть и «красивости» — отголосок уголовной эстетики... Он знал об узости своей базы, но уже не пытался расширить ее, маскируя свою ограниченность «принципиальными» соображениями в духе интуитивизма, философии жизни Бергсона, Филтьена, Зиммеля... Он ссылался на них, имея о них, конечно, самое смутное представление (хотя и ухватив некую суть) и не желая признать, что они-то могли позволить себе роскошь пренебрежения классическим наследием и логикой рационализма именно потому, что вполне владели ими.

Но натуры он богатейшей, у него не было лишь того, что недодало или отняло у него общество.

Мы с ним маялись вместе пять лет — с 1962 по 1967 год. Первый раз он отсидел девять лет, а во второй — десять. За всяческую болтовню, но в основном за стихи. Как пишутся стихи? Очень просто: сел — написал — сел... Правда, первые девять лет ему позже простили — реабилитировали.

В последние лагерные годы он несколько подался: обрюзг, увял, поскучнел... А вообще он беспутевщина, раблезианец, веселый враль (ведь поэт же!), обжора и скареда... Но ему ни одно лыко не идет в строку, ибо ярко самобытен чуть ли не в каждом жесте и слове. Мне хотелось бы рассказать о нем во всей его противоречивой сложности, как о всамделишном живом человеке, на чьем лице хаотическая пляска бликов света и тени, так смущающая всяческих пуристов, которых никогда не били резиновыми шлангами, не доводили голодом до пеллагры, не щупали задницу («Ого, еще есть мяско... — на лесопо-

вал!»). Несмотря на всю свою мясистость, дух его надрывно трагичен. Однако его образ не вписывается в тот болезненно-артистический ряд, в котором Новалис держит за руку Ницше, а тот — Адриана Леверкюна. Скорее уж, вспоминаешь более земных, более полнокровных и более бездомных: гуляку, вора и висельника Вийона, Бодлера, Рембо, Хлебникова...

В 1969 году, получив письмо: «Сдыхаю с тоски, записался до свинства, словом перемолвиться не с кем...», я бросил все и, прихватив с собой Юрку, с единственной (заемной) сотней в кармане, покатил к нему в мрачный Новошахтинск — спасти от запоя и одиночества. Он, поверишь, разрыдался, увидев меня... Ради обратного билета нам с Юркой пришлось разгружать уголек, однако мы выкроили пятерку на памятный снимок (пришлю тебе ближайшим письмом). Тогда же я записал его на магнитофон (тоже заемный), но в декабре 1969 года, узнав, что пленкой заинтересовались органы, уничтожил ее (ибо известность — это хорошо, но третий срок — плохо).

Валек — ходячая трагедия и вместе с тем анекдот. Я и жалел его до слез, и хохотал до колик. Вот тебе характерная сценка. Он только-только вернулся со свидания и тут же нырнул под одеяло, сказавшись больным, а на другой день я узнал, что пришли с вечерней смены работяги, глядь, а Валек сидит на койке, увязнув зубами в огромном, килограмма на два, шмате сала, который он, как выяснилось, ухитрился тайком пронести в зону. Я ему, хохоча: «Ты что же, Зэка, ночью-то?» А он: «Что же, днем, что ли? Сало ведь... Увидят — просить будут, а я ведь все равно не дам... Уж лучше ночью, чтобы не дразнить людей...» — «Гуманно! Ну ладно, им не дашь, а мне-то? Я ли с тобой не делюсь?» — «Тебе — дело другое... Дак ведь ты, известно, сало-то не любишь». — «А то бы дал?» — «Спрашиваешь? Хай мне, если вру, член на пятаки рубают!» — «Да выйдут ли пятаки-то? Может, всего лишь гривенники?»

Он враз скуксил, губы задергались, поползли куда-то вбок, он отвернулся, отмахиваясь от меня обеими руками, как капризный ребенок... Так я узнал, что он страдает комплексом Фиджжеральда (помнишь, у Хемингуэя?), и мне пришлось его утешать ссылками все на те же античные статуи, которые эталон мужской красоты и пропорциональности, а главное — приобщением к старинной мудрости: дело не в габаритах, а в стойкости...

Вот так-то — смех и горе... Но все эти анекдоты — шелуха, суть его — стихи и то, как он их читает: он ими живет, он их выстрадал, они его кровь и боль, его голос дрожит, он задыхается... Я не мог не волноваться, слушая его, я остро ненавидел тех, кто в это время шушукается. (О, тогда какая была еще воля вольная в лагерях-то: по воскресеньям мы собирались человек пять-шесть в укромном уголке слушать стихи!)

И под письмами, и под стихами, и под всякими заявлениями он ставил: Валентин Зэка. Как бы ни сложилась в дальнейшем его жизнь, он — Вечный Зэка, ибо, не говоря уж о его политических антипатиях и счетах, его никак нельзя втиснуть в серые будни производителя материальных благ — это не его сфера, он богема, а богеме и всякой там цыганщине нет места в системе поголовной паспортизации, нумерации, прописки... В 1970 году ему дали пять лет за хулиганство: «В пьяном виде нецензурно выражался в адрес видных советских и партийных работников, при задержании оказал сопротивление сотрудникам милиции...» — так мне сообщили уже в лагере.

Я ведь и раньше кое-что рассказывал тебе о нем и стихи его читал. Особенно, помнится, тебя впечатлила его поэма под условным названием «Не все...», из которой теперь я помню только начало:

«Нет, не все мы комиссарили,
Не шарили не все...
мы
по чужим погребам,
Не жарили
мы
из сердец людских яичниц желтых
в дырах
Не все ходили
в командармах, в командирах.
В командировки
желтых папок
не таскали —
В лапах, в лицах
льются портреты Сталина,
В нотах сталинского рыка
руки
в кровавых мозолях,

В нотах угроз

державам великим

руки

в державных мозолях...

Не шарили

мы

по чужим погребам,

Не жарили

мы

из сердец людских яичниц желтых

в дырах...

Не все комиссарили,

не все...»

...Две недели назад я вернулся из Саранска. Злой, как зимний волк, и такой же голодный — даже спички и то приходилось выпрашивать у конвоя... Ну, спички-то не стыдно просить, а хлеба ведь не попросишь — да и кто его даст? Возили в связи с «Дневниками», терзал меня некто полковник Сыщиков (начальник КГБ Орловской области). Фигура колоритнейшая, почти киношная — эдакий Порфирий Петрович и, между прочим, автор нескольких шпионских детективов, о чем мне с восхищением и гордостью поведал юный лейтенантик из его свиты, утаив, правда, литературный псевдоним своего шефа. Хотя я с самого начала и знал, что сейчас мне срок не грозит (нецелесообразно: добавить можно только три года — до пятнадцати, — а скандалу не оберешься), это, однако, отнюдь не смягчило драматизма моей схватки с Сыщиковым — уж больно ему хотелось выйти на Люсю и Андрея Дмитриевича. Козырей у него была полная рука (мои лагерные опекуны суетливо выдали меня с головой на съедение, снабдив Сыщикова пухлой папкой с описанием моей драгоценной личности — чего-чего там только не было, разве что записи первого ясельного лепета), и Сыщиков весьма профессионально облизывался, предвкушая, как вот-вот вцепится мне в глотку, а потом обглодает и косточки. Совсем невредимым я из этой схватки не вышел, бока поободраны, но все же уцелел — ценой напряжения всех сил.

В отместку за то, что я так или иначе выскользнул из всех

капканов и запутал следы такими петлями и скачками, что ни один лягавый не разберет, сей полковник устроил мне арест на переписку, и теперь я не имею права ни отсылать писем, ни получать их. Больше он не сумел бы меня лягнуть. Одного он не учел: он-то налетел и нет его, а местному начальству куда же от меня деваться. Едва я, приехав в зону, узнал о наложении этого ареста и о том, что он продлится не менее года, как недвусмысленно дал понять, что если в последние год-полтора я вел себя, что называется, благоразумно, то теперь этому конец: через их же человека я «нечаянно» посвятил их в столь ужасные планы мести, что они, имея весьма завышенные представления о моих способностях и возможностях (на чем я время от времени спекулирую), поспешили разрешить мне переписку с тобой (но и только с тобой), благо ты тоже сидишь и наши письма — из лагеря в лагерь — идут спецпочтой, которую орловская прокуратура контролировать не может.

Рад бодрой тональности твоих писем, но не разделяю твоих надежд на досрочное (и тем более в ближайшее время) освобождение мужского большинства нашей группы. Тебя вырвут, это несомненно, а нас — вряд ли, а если и случится такое чудо, то уж меня-то оно своей милостивой дланью коснется наверняка в последнюю очередь, и лучше, милая, давай смотреть правде в глаза, а все иллюзии побоку. По статьям за политические преступления тех, кто не ползает на коленях, не только не освобождают досрочно, но рады бы и вовсе не освобождать — до коренного перевоспитания посредством «деревянного бушлата», который уж наверняка и окончательно исправляет всякого горбуна.

Зарубежные требования освободить нас слишком легко парируются демагогическим кивком на одиозность самолетного аспекта нашего рывка на свободу. Наш голос, пытающийся растолковать, что мы не воздушные пираты, не удалые, неразборчивые в средствах насильники, слишком слаб, чтобы прорваться сквозь гул праведного возмущения трусливой жестокостью самолетных террористов. И похоже, что случаи самолетного пиратства будут учащаться, становясь все рискованней и кровавей, и каждый такой акт будет все безнадежнее заглушать наш голос. Питая судорожное отвращение ко всем формам диктата — как явным, так и закамуфлированным, — я в нашем случае шарахнулся в другую крайность: излишне

положился на коллективный разум, возможность обнаружения оптимального решения путем суммирования хаотической многоголосицы... И переоценил свои арифметические способности.

(Здесь утрачена часть текста.)

На заборе грязного вонючего дворики потьминской пересылки, разрисованного небывалой непотребщиной, увидел стон: «Боже, и когда же все это кончится?! Надя». Не знаю, долетел ли он до небес... Так по-особенному мучительно думалось весь тот день о тебе, о том, сколь неизмеримо тяжелей моей твоя неволя. Вечером пересылка попритихла, и, растревоженный мыслями о тебе, я уловил ключевые строки с очень напряженным ритмом, и уже было пошло, пошло... но тут опять поднялся визг-крик (этап, что ли, пригнали) — и родничок заглох.

Весь вечер заочное массовое онанирование: «Нинка, а сейчас я тебя переворачиваю!»; «Давай, Коля, делай!»

Чувства и мысли пошли наперекосяк, напряженно-трагический ритм расплылся в элегическое сострадание ко всем узницам (в первую очередь, конечно, «нашим»), ночью написалось совсем в другом ключе. Точнее, не написалось, а наговорилось (теперь ведь в «пересылках» ручки отбирают)...

Я все еще порой стыдливо грешу рифмованием, однако достаточно деликатен, чтобы грешить тайно. Но поскольку это стихотворение не полито трудолюбивым версификаторским потом, то вот оно тебе.

Нашим женщинам

Как вам там на нарах спится?
Что вам там ночами снится?
Принц на коне, синее море,
Поле в цветах, алые зори?

Или, быть может, вам пайка снится,
Грубых конвойных прыщавые лица,

Матери лик, исковерканный мукой,
Карцера холод, с волей разлука?

Где ваши кремы и ваши наряды?
Зеркалу в рост сами не рады —
В черных бушлатах и сапогах,
Грязью заляпанных, на ногах.

Вы все бледнее день ото дня,
А в магазинах-то толкотня:
Платья... бикини... парики...
Вьются раскормленные мотыльки.

Плохо я знаю, на нарах спится.
Пусть вам Спаситель-принц приснится.
Он и Спаситель, он и Жених —
Ваш избавитель, гибель для них.

Ваши заборы растопчет конем,
Всех ваших судей спалит огнем.
Через пожары — вихрем в ночи —
Вас в тридешатое царство умчит...

Что это ворон — вещун кричит?..

Мне все еще стыдно за то, что, вырвавшись на четыре часа из этого желтого дома, я не сумел стряхнуть с себя пут его безумия — истериковал, раздражался филиппиками, нес всякую околесицу. Тревожно поглядывал на твои часы, краешком сознания тоскливо знал, что все это не то, отчаянно не то!.. — и никак не мог перестроиться. Ждешь этого свидания, ждешь, а пришло время и — дурак-дураком. Слишком многое хочется сразу узнать и рассказать, сразу — на весь год. И никак не избавиться от нервной зажатости при мысли, что каждое слово записывается: как бы чего не сказать лишнего, как бы не задать опасного вопроса, как бы не поставить тебя под удар...

Чаще, чем раз в полгода, я не могу тебе писать. К тому же письма к тебе (и от тебя) здешний цензор изучает особенно придирчиво. Чтой-то они тебя дюже не любят. Пять дней назад

цензор ознакомил меня с актом, который гласил, что твое письмо от 21 октября «конфисковано согласно ст. 29, пункту «в» Инструкции по цензуре». А что это, спрашиваю, за статья такая, да еще пункт «в»? Ну это, говорит, я не обязан объяснять — инструкция-то секретная... А все-таки? — не унимаюсь я. — Ну хоть чуть-чуть... Это, уступает он, «восхваление буржуазного образа жизни». Ага, говорю, это, конечно, возмутительно. А почему мое сентябрьское письмо не пропустили? Я ведь там про буржуйские прелести ни словечком не обмолвился. Выяснилось, что я нарушил другую статью той же инструкции, которая запрещает писать о здешней кормежке, работе, режиме, медобслуживании и пр., и пр.

Именно так, на собственной шкуре (сперва ударят, а потом выпытывают за что), мы, отсидев кто 10, кто 20, а кто и 30 лет, только в самое последнее время помаленьку начали ориентироваться в том, о чем можно писать, а о чем нет. Ну разве не прогресс? С нами стали считаться: раньше письма просто пропадали, а теперь мы знаем, на основании какой статьи секретной инструкции они пропадают. Если так пойдет и дальше, то лет, глядишь, через десять удастся и саму инструкцию прочитать. То-то прогресс, то-то демократия!

Кстати, вдруг выяснилось, что, согласно другой инструкции — еще секретней первой, — нам нельзя писать за границу кому ни попадя, но только родственникам. Никого не смущает, что эта инструкция противоречит соответствующей статье ИТК о переписке, ибо кто ж не знает, что всякая секретная инструкция, ясное дело, главнее несекретного закона. И надо быть неимоверным простаком, чтобы не понимать, что уж что-то, а лагерная-то жизнь регулируется именно такого рода инструкциями, а публичные законы — это так... для конспирации. «Позвольте, — говорю я чинно, — моя тетушка — дама дошная, она вечно надоедает мне — ох, уж эти женщины! — расспросами о питании, здоровье, работе и т.п. Не могу же я ей врать, что сыт, или что, заболев, получаю медпомощь, или что вредность нашей работы компенсируется спецпитанием; как не могу и без конца уклоняться от ответов на ее вопросы. Вы меня ставите перед трагическим выбором: или мне ссориться с тетушкой, или — в вашем лице — с советской властью? И знай вы мою тетушку лично, вы поняли бы, что последнее для меня менее опасно».

Надеюсь, тебе не надо объяснять, что значит такого рода беседа? Совершенно верно — я вышел на тропу войны... Сжимая в руке архаический томагавк общечеловеческой логики, с индейским кличем на устах: «Справедливость! Совесть! Право! Закон!» — я пружиню без оглядки на подлые форты белых, мне судорожно ненавистна их лживая цивилизация, я забыл о страхе и не кланяюсь раскаленным ядрам дьявольских пушек... Мне бы только добраться до их белых кадыков!..

В переводе на лагерную прозу эта инфантильная лихость значит примерно следующее: всякому терпению есть свой предел, и, будь ты хоть глухонемым, однажды ты все равно взорвешься воплем: «Да отсохнет моя правая рука — лишь бы сперва суметь вклепать ею пощечину в ненавистную морду торжествующего насилия!» Полгода я вел примерный образ жизни, то есть воевал только с уголовниками, а теперь сцепился с начальством. Сперва я поставил перед собой узкую цель — письма — и что было сил уговаривал себя не зарываться: повоевать немного — и снова замереть (на то у меня есть свои резоны), но... так уж всегда: хочешь прорваться в каком-то одном направлении, а глядь — втянулся в затяжные бои по всей линии фронта и уже не до локального прорыва. Аж страшно порой за себя, страшно вот этих неистовых скачков от конкретного требования (пишем, лекарств, хлеба, а не оконной замазки) к яростной готовности потерять все, и жизнь саму, ради весьма метафорической пощечины.

Сорвешься — и стыдно. А удержаться порой никак невозможно. Тяжелее всего в нашем особом социуме тем, кто, что называется, шибко грамотный: тоска по достойному образу жизни их гложет сильнее, чувство отчаяния, бесперспективности однажды достигает критической массы... — и тогда не спрашивайте с нас уравновешенности.

Страшно тебе? Нет? Жаль!.. Они тоже не очень-то боятся наших срывов. Так много сил отнимает самообуздание, что начинаешь слишком высоко ценить свою сдержанность и, когда чаша терпения все-таки переполняется, отпускаешь вожжи эмоций с чувством, что сейчас случится невесть что: клокочущая в груди раскаленная лава ярости, хлынув горлом, сожжет дотла врагов твоих... Ан нет! Тебя же еще лишний раз ударят за эмоции — и срыв. Так тот, кому защемили шулята в двери, враз забывает о всякой выдержке и если не молит о пощаде, то

изрыгает очень неинтеллигентные проклятия и угрозы... Словом, не спрашивайте с него уравнищенности. Но особая утонченность палачей еще и в том, чтобы за эту неуравновешенность наказывать дополнительно.

Я втянулся в затяжные бои по всей линии фронта (не только сам голодал, но и подбил на голодовку два десятка людей, потом мы организовали массовые петиции в Международный Красный Крест, а когда их не отправили, мы снова голодали и т.д.), нанес несколько удачных ударов — сам, конечно, весь в синяках и крови, — зато, частично спустив пары отрицательных эмоций, выздоровел душевно, то бишь вновь обрел пресловутую уравнищенность. Теперь понемногу сворачиваю широкие боевые порядки, но продолжаю маниакально бить в одну точку — письма!

Я воюю за право писать более или менее откровенно обо всем, о чем сочту нужным. Не уверен, удастся ли мне их победить. Единственное, чего они по-настоящему побаиваются, это зарубежный скандал...

До лета этого года я практически вообще не получал писем из-за границы (только на днях я узнал, что их тут сжигали пачками), но времена меняются: усилилось разоблачительное давление извне, а в вялые лагерные вены ввели большую дозу беспокойной еврейской крови... и забор затрещал, нахилился, кое-где отскочили доски... Теперь я получаю по меньшей мере половину того, что мне пишут.

Я понимаю: тебя не удовлетворяют мои письма — обо всем и ни о чем — с туманными намеками и недомолвками, неуклюжими иносказаниями и отвлеченными рассуждениями черт знает о чем, как будто это письма не из концлагеря, а из лечебницы для бесталанных символистов. Но куда же денешься? О, низкое искусство камуфляжа! Приходится каждую мою маленькую правду окружать таким частоколом лоялистской лжи, дабы запорошить мозги цензорам, что эту правдочку мудрено и разглядеть. Я устал писать не о том и не то, мне надоело разбавлять свою желчь псевдободротью в угоду цензорам, я начал всерьез побаиваться, что камуфляжные фразочки могут сбить с толку не только цензуру, но и тебя — средство всегда посягает на цель.

Наголову мне их, конечно, не разбить, но что-то я все-таки сумею отвоевать. Разумеется, всякая победа заключенного — пиррова: он теряет несравненно больше, чем приобретает, но враг-то его и вовсе ведь не приспособлен даже и для слабых пинков, он ведь только высокую зарплату получать приспособлен да сам пинки раздавать, а тут... Вообрази себе чванливого дворянчика из прошлого столетия, яростного крепостника, ещё более яростного оттого, что ныне в моде либеральная фраза да еще какая-то гласность завелась... А рука-то его давно уже развилась (по Ламарку) в семихвостку, и вдруг тот, кого он привычно мордовал всю жизнь, взбунтовался и огрел его по благородной ланите. Конечно, наш дворянчик искровенит бунтаря до полусмерти (эх, кабы не эта фармазонская гласность!), но пощечина-то всё-таки состоялась.

Лупи ближнего своего негодяя — чего бы это тебе ни стоило, не спуская ему ничего — любой ценой!.. И да уподобишься великому Дон-Кихоту — хотя бы раз в году, когда вдруг смертно затоскуешь по благородной вертикальности позвоночного столба, когда приедятся и покажутся смехотворно жалкими те блага, ради которых твой позвоночник обрел акробатическую гибкость.

В сентябре я впервые послал тебе нормальное письмо (вот которое конфисковано-то), то есть такое, какие пишут миллионы людей, миллионы счастливых, переписка которых если и перлюстрируется, то, во всяком случае, не пресекается. Ничего криминального там, клянусь, не было. Да я и не антисоветчик, в классическом понимании этого слова, то есть я не только не горю желанием свергать советскую власть, но и пальцем не шевельну ради этого, так как признаю ее объективную обусловленность, известную правомерность и правоту — правоту клыкастого хищника, который не может без крови, но которого не только невозможно убить, но даже, наверное, и нельзя, дабы не нарушить хрупкого экологического равновесия. И все, что остается, это поскорее убраться из его джунглей, держаться от них подальше, но и зорко следить, чтобы он не прокрался в деревню. Я стараюсь трезво смотреть на жизнь и отделять желаемое от действительного. Русский вариант государственного социализма объясняется глубокими национальными корнями, а если что-то и не имеет опоры в национальной истории, то пятьдесят пять послереволюционных лет — доста-

точно много, чтобы придать прочность традиции тому, что когда-то было кабинетной выдумкой. Два или три последних поколения уже не мыслят себя вне этой системы. Они брюзжат по мелочам, но глубоко заблуждается тот, кто усмотрит в этом брюзжании посягательство на саму систему; для русского брюзжание на барина — форма верноподданничества, если у американца в крови громкоголосое восхваление своей страны, то русскому свойственно хмыкать и хаять («Чужие земли похвалой стоят, а русская и хайкой крепка будет»). Это мощный социально-политический организм, угроза стабильности которого возможна только извне; его голубые антитела бесшумно и проворно пожирают все нарушающие баланс бактерии; единственная болезнь, против которой у него нет абсолютного иммунитета, — американско-китайский грипп. Но тут я не судья, не вещун и не знаю, что чего лучше и стоит ли игра свеч. Да и какой глупец ныне решится произнести окончательное слово!

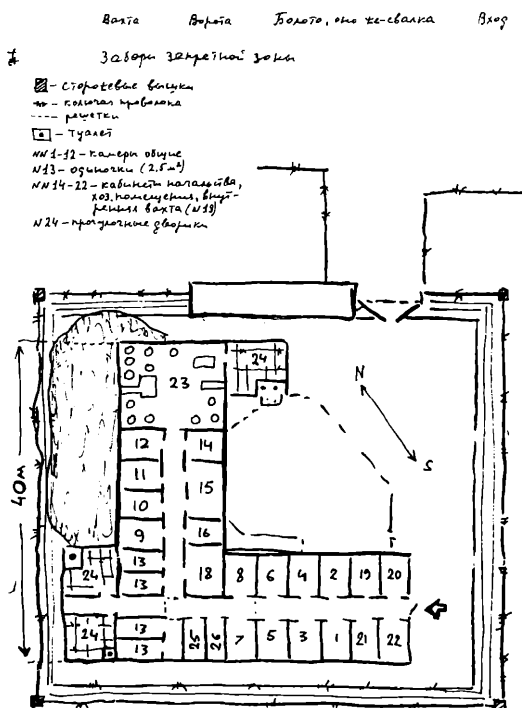
Вместе с тем, выбрав себя в качестве определенной личности, я целиком на стороне той системы, которая менее насилует естественную и духовную природу человека, оставляя ему шанс на достойное существование. Я ее не идеализирую, но, не желая сходить с почвы объективности, я все же не хочу уподобиться напыщенно-важному в своей ничтожности миротворцу из коммунальной квартиры, который, отдавая должное всем кухонным ратоборцам, наделяет всех признанием за ними их жалких крох правоты. Я говорю одним: я с вами, но это не значит, что ваши неправды, бардак и зло не мучают меня; я говорю другим: я против вас и даже то, в чем вы правы и хороши, не отменяет моего противостояния вам.

Впрочем, я забрел несколько в сторону. Речь шла о письме. Только пять дней назад я узнал, что оно конфисковано. Пришлось прибегнуть к испытанному арестантскому средству. На четвертый день, то есть вчера, прикатил прокурор Ганичев (я его с 1961 года знаю — такая циничная мразь, что дальше некуда) — в основном для того, чтобы сообщить мне, что ему совершенно понятно, почему я сижу: «С таким образом мыслей вам не место на свободе — только в лагере... Жаль, что наш потолок всего 15 лет». (Нет страшней провинциальных патриотов! Они, поверишь ли, даже осмеливаются критиковать самую центральную власть — но всегда справа.) Однако, опасаясь,

что моя голодовка затянется и будет поддержана другими, он разрешил мне написать новое письмо (вместо конфискованного), что я и делаю. Только на этот раз оно обойдется без цензуры.

Ну, чтобы ты поотчетливее представила себе мои условия, я вкратце обрисую нашу новую зону. Когда мы — чего-чего ни перевидавшие — впервые ступили на ее территорию, наши лица вытянулись: «Неужели в этой крысиной клетке нам придется сидеть?!» — до того неприглядна и тесна эта зона, разбитая на кое-как засыпанном шлаком болоте. Ведь не на один же год!..

Вот я тебе ее сейчас изображу.



Общая площадь вроде бы солидна, но мы же не на каторге времен Достоевского, который, как помнишь, подходил к забору и выглядывал наружу, и не в обычном лагере. Пятнадцать часов (а в воскресенье — двадцать три) мы проводим в камере, восемь часов — в цеху и час на одном из трех прогулочных дворишков. Остальная часть зоны для нас под запретом.

Нам с Юркой еще повезло: мы попали в маленькую камеру, на четверых. Несмотря на гробовую тесноту, мы рады: в больших-то камерах сидят по десять-двенадцать человек. Представляешь, что это такое, — на 18 квадратных метрах 10 человек? Это тесное, мрачное, зловонное узилище, муки которого тем ужаснее, чем больше в него втиснуто грешников. Конечно, у нас не так тесно, как в аду Ансельма Кентерберийского, где грешнику не шевельнуть рукой, чтобы извлечь червей, гложущих его глаза, однако и у нас не разгуляешься: на двух метрах от нар до двери двоим, даже и гибко-тошим, не разминуться. В свободное время лежим на нарах нос к носу, как в вагонном купе, — все куда-то едем и едем... Только ничего не мелькает за решетчатым окном: все тот же опутанный проволокой забор, все то же поросшее осокой болотце, гнилые воды которого омывают щелястое заведение, кое-как сляпанное из корявых досок, — вместилище «благовоний» и жирных крыс.

Третьим у нас Саранчук — хороший мужик (после войны он отсидел 12 лет за участие в оуновском движении, а в 1970-м — получил 8 лет за антисоветскую агитацию). А вот четвертый, тот, что надо мной лежит, — бес, уголовник с десятком судимостей, приземистое, юркое существо с желтым приапическим лицом, истерично вспыльчивый и озлобленный на все и вся. В такой теснотище, разумеется, и ангел может бесом показаться — в камере все мы друг для друга черти (и, между прочим, нет того чертея, кто мнит себя ангелом), но он-таки и в самом деле сволочь. Это одна из самых больных наших проблем. Можно его, конечно, поколотить и изгнать, но и дня не пройдет, как втолкнут другого, такого же, всеобязательно — начальство строго следит за тем, чтобы в каждой камере была хоть одна сволочь. В конце сентября я написал об этом генеральному прокурору следующее:

«Советское исправительно-трудовое право в силу общей своей запущенности не регулирует такой жизненно важной для заключенных сферы, каковой является порядок и принципы

комплектования камер. Эта лакуна открывает перед лагерной администрацией широкий простор для создания травмирующих психику ситуаций, путем...

(Здесь утрачена часть текста.)

Вопрос о комплектовании камер — всего лишь частный пример общего бесправия заключенных. Я полагаю, что, поскольку СССР претендует на известную европейскость, необходимо обеспечить заключенным некоторый минимум правовой защиты от произвола лагерной администрации. Я вновь обращаю ваше внимание на необходимость привести советское исправительно-трудовое законодательство в соответствие с пенитенциарными нормами демократических государств.

И знаешь, какой ответ пришел? *«Вы осуждены правильно, оснований для пересмотра дела нет».*

* * *

Недавно я вычитал, что Международный Красный Крест потребовал ликвидировать тюрьму на острове Корфу, как не отвечающую элементарным нормам санитарии. Греческая военная диктатура создала на острове Корфу ужасные условия, *«чтобы физически уничтожить своих противников».*

Корфу... Корфу... Это, по-моему, не Колыма и даже не Мордовия? Впрочем, прошу прощения, ирония неуместна и не по делу: будь в распоряжении греческих властей Колыма или Мордовия, они, наверное, именно их, а не курортный Корфу приспособили бы под тюрьмы.

Только арестант может вполне понять, что скрывается за сухими сообщениями о метраже камер, тесноте прогулочных двориков, сырости цементных полов и т.п. Условия в тюрьме на Корфу, надо признать, — не сахар, но, клянусь («Пусть мне век свободки не видать!»), их «не-сахар» любому из нас показался бы медом.

Объем одиночной камеры там — 15 кубометров. Здешняя одиночка (какое это счастье — одиночка! Но туда — сроком до года — можно попасть лишь в качестве злостного нарушителя режима, и потому счастье одиночества сильно подпорчено урезанным почти вдвое пайком... Призадумался!). Здешняя одиночка не более 10 кубометров, а объем нашей, например, камеры — 24 кубометра на четверых.

«В камере цементные полы». Совершенно верно! Но я реко-

мендую грекам устилать пол газетами: летом они впитывают сырость, а зимой не дают цементной пыли забивать ноздри...

«В камерах нет водопроводных кранов и отхожих мест; запах нечистот вредно отражается на здоровье заключенных». Тут все, как у нас, — ни прибавить, ни убавить.

«Заключенные остаются запертыми в камерах по 15 часов в день». Следовательно, у них девятичасовая прогулка. Недурственно, по сравнению с нашим одним часом.

«Цементные дворы настолько тесны, что в них могут гулять не более десяти заключенных». Так насколько же все-таки они малы? В наш дворик — 55 квадратных метров — втискивают до 15 человек... Погулять-то нам все равно особенно некогда, и не только из-за тесноты: для нас прогулка — это очередь в туалет... Сделал свое дело — и скорей в камеру, потому что какое же это гулянье возле сортира!.. Да этот самый Красный Крест, который греческая антисанитария возмутила, у нас враз бы сознание потерял.

«Медицинское обслуживание примитивное». Любопытно бы сравнить с нашим. Я уже два месяца не нахожу себе места от желудочных болей, а в медчасти нет даже соды — ем зубной порошок. Ты привезла чудодейственный «ротер», европейскую противоязвенную новинку, — я так ее ждал, так надеялся! — а эта старая рамолическая обезьянка в белом халате: «Они у нас обеспечены всем необходимым». — «Так ведь «ротер» же!» — «Что?» — «Ротер!» — «Ах, «ротер»!.. Так у нас есть «ротер», мы ему даем его!»

«Многие заключенные страдают серьезными болезнями, и ужасные условия существования способствуют различным осложнениям». Прямо в точку.

И все. Закрываю, что со всем прочим у них полный порядок. Ведь всякий пишуший о нашем лагере обязательно упомянет о свиданиях, посылках, книгах, расскажет о том, что, дотронувшись до нашего хлеба, надо тут же мыть руки — такой он липкий... А ведь хлеб — главная наша пища! Они обо всем этом молчат — следовательно, с этим у них нормально. А как там с соблюдением Конвенции МОТ о запрещении всех форм принудительного и обязательного труда, объявившей такой труд рабством? Ни слова! Их уголовнички не выкалывают на груди такую картинку: бродяга с котомкой на спине, перед ним полосатый пограничный столб с указателем «СССР —

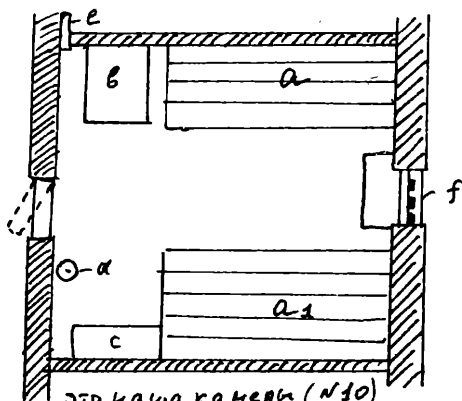
Турция», а внизу пояснение: «Иду туда, где нет труда!» Я не забыл бы сказать и о полном бесправии заключенных, и о том, что лагерная униформа (особенно полосатая), опознавательные нагрудные таблички, стрижка наголо, передвижение по территории лагеря только строем под бравурные марши и т.п. — весьма существенное унижение человеческого достоинства, а согласно определению Нюрнбергского Международного Трибунала — это преступление.

А информационный голод? В наше-то время! Десятки лет держать человека на голодном информационном пайке — значит, сознательно увечить его...

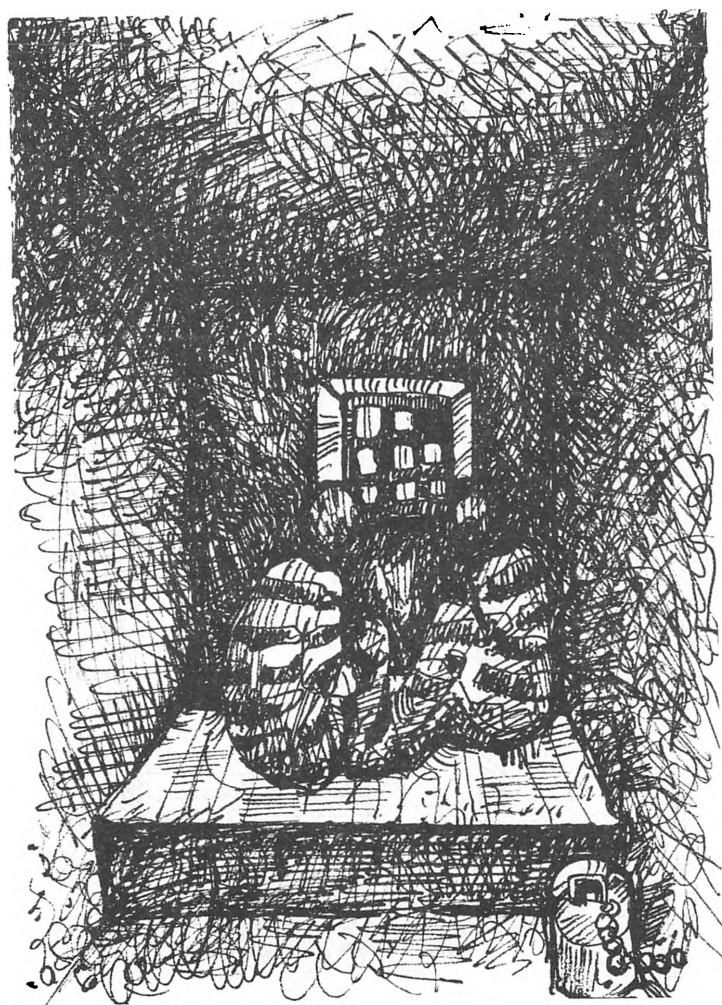
(Здесь утрачена часть текста.)

...К тому же Грецию лихорадит. Их крайности — крайности нестабильного режима, их тюрьма — патология, наша — норма. Завтра двери их камер может распахнуть очередной переворот... Кто распахнет наши?

А ты говоришь: «Корфу!»



это наша камера (№ 10)
 на четверых — 8 м²
 На нижних нарах (a)
 спит Юра, на верхних (a₁) — я.



О «СТРАННОМ НАРОДЕ», АЛЬБЕРТЕ И ВООБЩЕ

Посылаю тебе последнюю свою работу. Еще не вполне унялась дрожь от поездки в Саранск, а вот поди ж ты!.. И не хотел, и зарекался... но история Альберта так взбудоражила меня, что, отметя все дела, все неотложности, я за восемь дней исписал гору бумаги и... настолько ошалел от работы, что никак не пойму: что же получилось? Надо бы дать ей, как водится, полежать месячишко, самому отдышаться, а потом снова за нее взяться, да боюсь, как бы она совсем не пропала... Попытайся ее сохранить — позже я хотел бы к ней еще вернуться (когда «позже»? Гм, вопросец!). А нет, так хотя бы законспектируй, опустив все, что может быть сочтено криминальным. В крайнем случае уничтожь. Мне бы хоть часок в день настоящей тишины и безопасности — чтобы не коситься на дверь, дрожа, что она вот-вот распахнется. Поверишь ли, что, когда писал «До свидания, Альберт!» (в ответ на его «Прощай!»), расплакался, как последняя баба... И почувствовал, что больше не могу прятаться за спиной ироничного, холодноватого «автора», что надо говорить от первого, своего лица. Извини, милая, письмо тебе некуда втиснуть — надеюсь, позже подвернется случай. Пока. Целую.

«Кто же не читал Достоевского? Всякий читал Достоевского. И тем более «Записки из Мертвого дома». Но, как правило, давненько уже. Тут как-то автору пофартило раздобыть эти самые «Записки», и он поразился: да полно, того ли Достоевского читал он когда-то, уж не подмененного ли какого? Каким же надо было быть верхоглядом, чтобы столького не заметить! А может: сколько же надо самому отсидеть, чтобы столькое лишь теперь заметить!.. Наверное, чтобы вполне постичь «Преступление и наказание», надо самому быть в какой-то степени Раскольниковым (в большей, чем все мы им являемся), и только тогда... Впрочем, кроваво-крестные судороги — слишком, как ни верти, дорогая цена за постижение романских глубин, равным образом и многолетнее заживо-гниение в «Мертвом доме» не облегчить кичливым сознанием, что зато теперь все детали былого каторжного быта ты видишь словно наяву и от затхлого осторожного духа перехватывает горло. Как бы ты ни обмирал перед величием литературных гениев, вряд ли стоит, домогаясь сопричастности их опыту, канючить у судьбы корч и Голгофу, как, к примеру сказать, вряд ли стоит желать себе бесповоротной смерти ради того, чтобы, оказавшись в аду, убедиться в нечеловеческой прозорливости Данте... Но коль скоро ты там все же окажешься, то, румянясь на раскаленной сковороде или стеклянно леденя в сатанинском холодильнике, все будешь сопоставлять ад нынешний с тем, давним, дантовским — если только тебе будет до того, если твои мозги не расплавятся окончательно или не замерзнут.

Всякий арестант вмиг встрепенется... Впрочем, не всякий. Вот рассказывают, Мандельштама, цветаевского «Божественного мальчика», в последний раз видели в каком-то пересыльном лагере под Владивостоком. Оборванный, скрюченный доходяга с дряхлым провалившимся ртом и тусклыми застывшими глазами безумца, он рылся в помойках и спал возле них

— из барака его выгоняли, чтобы не воровал хлеб... Как нет деревни без своего юродивого — в соплях под лиловым носом, с гусино-красными распухшими ногами на рождественском снегу, — так нет зоны, даже и самой крохотной, на задворках которой не ютились бы закутанные в тряпье, смердящие призраки с воспаленными безумием глазами. Такой уже не встрепенется.

Почти всякий арестант вмиг встрепенется, услышав, что вот, дескать, в особом отделении каторжного острога середины того века пекли такой хлеб («чистяк»), что ему и в городе завидовали, что за деньги можно было иметь свой стол, что там и водочка водилась и даже — с ума сойти! — девочки... Это на особом-то, в отделении для самых страшных преступников, так сказать, прадедусшке нашего «спеца». Поневоле вздохнешь завистливо (конечно, не о кандалах и палках), вздохнешь и, вспомнив о слезах сокрушения и сострадания, которые, говорят, проливал над «Записками» сам Александр II, загорись дерзостным намерением, не покушаясь на соревнование с всеохватной гениальностью и глубиной Достоевского, описать некоторые частности жизни правнука того каторжного острога: вот, дескать, там было то-то и то-то, а у нас совсем даже хуже, там так-то и так-то, а у нас и вовсе ни в какие ворота не лезет и т.д. И, казалось бы, ради Бога, — в меру сил и способностей... Да прослезится хоть кто-нибудь! К тому же в наши демократические времена можно не опасаться, что рукопись не допустят к печати на том основании, что лагерь изображен в ней не столь уж страшным, дабы трепетно ужаснуть читающую публику и тем отвратить ее от преступлений.*

Только не надо уподобляться Видоку, сделавшему достоянием широкой публики, а вместе с ней и тюремного начальства, некоторые из сокровенных тайн кандальников, чтобы не заслужить злобно-презрительного хрипа обвинения в предательстве арестантских интересов — чего бы то ни было ради: эфемерной ли славы, вящей ли занимательности на потребу празд-

* Тут автор тонко намекает на трудности с публикацией второй главы «Записок»: председатель петербургского цензурного комитета противился ее появлению в «Русском мире» на том основании, что Достоевский не показал ужасов каторги и у читателей может создаться превратное впечатление о каторге, как слабом наказании для преступников.

ному читателю, розового ли упования на реформаторскую милость слезливых на досуге монархов...*

Ну и, казалось бы, пиши себе на здоровье... Так-то оно так, но вот беда: где эту рукопись хранить? Вот пока ее пишешь-то, да и потом, написавши? Это же не десяток-другой листочков, которые в матрацных стружках можно припрятать, втиснуть в каблучный тайник или еще куда-нибудь... А посему автор, приноравливая свой темперамент к объему тайника (который, конечно, не в матраце и не в каблуке), не без известного сожаления ограничивает себя лишь одной темой: рассказом о «странном народе». Вместе с тем ему (автору) кажется не лишним для освежения читательской памяти привести с дюжину цитат из «Мертвого дома», а также сказать несколько слов о тюрьме вообще и о своей в частности.** При этом автор исполнен решимости быть предельно объективным и по возможности откровенным — предельно объективным во всем, что касается затронутых им тем, и по возможности откровенным тогда, когда ради полноты картины возникает необходимость выявить отношение самого автора к тем или иным событиям или вопросам.

Итак, вот краткие и немногие извлечения из «Записок из Мертвого дома»:

1. Это был ад, тьма кромешная. 2. Весь этот народ работал из-под палки, следственно, он был праздный, следственно, развращался; если и не был прежде развращен, то в каторге развращался. 3. Конечно, остроги и система насильственных работ не исправляют преступника, они только его наказывают.

* Писатель А.Мельшин дал прочитать «Мертвый дом» одному бывшему соузнику Достоевского. «Задавить бы его надо, а не читать, — злобно прохрипел тот, вместо того, чтобы умилиться. — За то его задавить надо, что он все арестантские тайны начальству выдал». (Якубович П.Ф., «В мире отверженных», т.2, Л., 1964 г.).

** Пусть специалистов (или мнящих себя таковыми) не смущает то, что автор порой именуется тюрьмой и так называемые исправительно-трудовые колонии — делает он это, во-первых, для краткости, а во-вторых, это только законопателю кажется, что тюрьма хуже лагеря: было время, когда арестанты совершали новые преступления лишь бы уехать из голодного лагеря «особого режима» в менее голодную тюрьму, и только с 1969 года, когда на «спецу» стало чуть посытнее, а тюрьма окончательно превратилась в рабочий дом, они перестали существенно отличаться друг от друга (и уж тем более для обитателей лагерей «особого режима»).

4. В преступнике острог и сама усиленная каторжная работа развивают только ненависть, жажду запрещенных наслаждений и страшное легкомыслие... 5. ...тягость и каторжность работы не столько в трудности и непрерывности ее, сколько в том, что она принужденная, обязательная, из-под палки. 6....пища показалась мне довольно достаточною... многие имели возможность иметь собственную пищу... 7.Между тем в мастерскую явились калашницы. Иные были совсем маленькие девочки... Войдя в возраст, они продолжали ходить, но уже без калачей... 8. Арестант-именинник, вставая поутру, ставил к образу свечку и молился; потом наряжался и заказывал себе обед. Покупалась говядина, рыба, делались сибирские пельмени: он наедался как вол... Потом появлялось и вино... 9. У некоторых арестантов на форштадте были любовницы. 10. Обыкновенно я покупал кусок говядины, по фунту в день. 11. К вечеру (на Рождество. — Э.К.) инвалиды, ходившие на базар по арестантским рассылкам, нанесли с собой много всякой всячины из съестного: говядины, поросят, гусей. 12. Подаяние приносилось в чрезвычайном количестве в виде калачей, хлеба, ватрушек, пряников, шанег, блинов и прочих съедобных печений. 13. ...есть еще одна му́ка, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это: *вынужденное общее сожительство*.

ВООБЩЕ

Дальше едешь — тише будешь
Лагерная пословица

Предваряя краткий экскурс в историю того почтенного учреждения, в котором автор ныне обретается, он во избежание возможных кривотолков и недоразумений решительно заявляет, что к существованию такого социального института, как тюрьма, он относится положительно. Тюрьма нужна. Куда же без нее? Сколь бы пристально ни всматривался автор в лучезарную даль блаженного будущего, к которому, согласно предначертаниям известных пророков, человечество мчится на всех парах, он решительно не способен усмотреть впереди эру бес тюремной жизни. Не видать. Слухи-то, конечно, ходят. Но автор, человек скептический и, что называется, себе на уме, не

склонен им верить. Вот, например, один очень великий государственный деятель публично клялся в свое время, что вот-вот ликвидирует преступность, так как написано-де, что для нее нет социальной почвы. Ликвидирую, говорит, и лично пожму руку последнему преступнику. Хотя в то время автор был еще довольно молодым человеком, однако и тогда он как-то не поверил этим бодрым клятвам. С одной стороны, и правильно сделал, что не поверил, так как некоторое время спустя вдруг выяснилось, что сей великий государственный муж не столь уж велик, а совсем наоборот, но, с другой стороны, эта манера не верить государственным мужам (независимо от того, чем они окажутся впоследствии) сказалась весьма пагубно на карьере автора в качестве рядового гражданина.*

* Автор принципиальный сторонник так называемой раскованной манеры письма, позволяющей достаточно произвольные отступления от темы, а потому не может отказать себе в удовольствии поведать читателю, что, честно говоря, свои первые семь лет он получил за сухую ерунду: стишки, участие в самых ранних самиздатовских журнальчиках, тайное обсуждение проектов демократизации России и т.д., и т.п. И, возможно, автору удалось бы демократизировать эту самую Россию, если бы он более почтительно отнесся к вышеупомянутому государственному мужу: ведь формальным основанием для возбуждения против него дела о государственном преступлении послужил донос его сокурсницы, обнаружившей в тетради автора с конспектами «Диамата» портрет Хрущева, на оборотной стороне которого были написаны такие роковые для автора слова: «Щедрин не прозорливец, а великий мастер подмечать национальные типы, столь живучие, что от их гримас и ужимок нас и пыле в дрожь бросает». А далее следовал и сам Салтыков-Щедрин: «Да, Толстолобов ни перед чем не остановится, этот жестоковыйный человек! Он засеет все поля персидской ромашкой! И при этом будет как вихрь летать из края в край, возглашая: га-га-га! го-го-го! Сколько он переверкает, сколько людей перекалечит, сколько добра изгадит, покамест сам наконец попадет под суд! А вместо него другой придет и начнет перековерканное расковеркивать и опять возглашать: га-га-га! го-го-го!»

Автора утешает лишь то, что, во всяком случае, в глазах своей очаровательно-бдительной сокурсницы он предстал эдаким любителем литературной классики. Автор краснеет, воображая, как была бы шокирована эта прелестница, найди она не Щедрина, а, скажем, такую вульгарную частушку, родившуюся после ухода Хрущева на пенсию:

«Стыд и срам на всю Европу!
Темнота мы, темнота!
Десять лет лизали ж...у —
Оказалось, что не та!!!
Но мы ждем, не унывая, —
Уж такой у нас народ! —
Наша партия родная
Нам другую подберет!»

Разумеется, автору известно, что тюрьма не внеисторична, подвержена различным модификациям и — теоретически — стремится к светлой перспективе превращения из карательного учреждения в сплошь перевоспитательное. Автор не мнит себя таким совершенством, однако без обвиняков заявляет, что лично он не хочет, чтобы его перевоспитывали и исправляли — ни сегодня, ни в перспективе, что вовсе не значит, что он в принципе отрицает необходимость перевоспитания явно анти-социальных лиц. Отнюдь. Ну и т.д.* Наше дело наметить некоторые тезисы, а там уж всякий сам найдет, что сказать по их поводу. Тем более, что в принципе автор не отрицает, что его отношение к тюремной проблематике, возможно, излишне тенденциозно. Оно и неудивительно, если вспомнить, что его перевоспитывают уже 10 лет и еще 12 собираются...

Очевидно, более подходящего момента не представится, чтобы оповестить читателя со всей свойственной автору прямотой, что он из числа тех довольно неприятных фруктов, которые решительно не ведают, что такое раскаяние или даже просто сожаление о содеянном. И не потому, что пьяняще уверен в несомненной оптимальности всего, что ему уже удалось натворить, а, скорее, напротив: он убежден, что как бы он ни поступал, все равно это далеко от того, к чему заносчиво тяготеют его сокровенные помыслы, а следовательно, плохо. Ну и т.д. Можно ли тут говорить об исправлении? С таким-то характером?

Автору довелось своими глазами видеть людей, которые, за какую-нибудь сущую ерунду попав в заключение со сроком на один-два года, никак не могли оттуда выбраться лет по 20-30

* Автор и впредь намерен при каждом подходящем случае прибегать к излюбленному им «ну и т.д.». Он надеется, что это будет воспринято не как свидетельство скудости его мышления или недостаточной информированности в том или ином затронутом им вопросе (такая неосведомленность всегда будет специально оговариваться автором), а, скорее, как знак доверия к читателю, попытка апелляции к читательской активности: автор дает некоторые исходные данные, пытается вдохнуть в них толику жизни и обозначить тенденцию их развития; всю остальную работу может проделать сам читатель, если захочет, конечно, а коли не захочет, значит, он вполне удовлетворен и тем, что уже сказано. Вообще автор искренне убежден, что читатель тоже человек и в качестве такового нуждается в некоторой доле свободы — как от нудной дотошливости авторов, так и от навязываемой последними однозначности прочтения ими написанного. Ну и т.д.

— очевидно, в связи с трудностями того процесса, который зовется исправлением. К сожалению, практически невозможно установить теперь первоначальный облик того преступника (как правило, малолетнего), чтобы в меру достоверно судить о благотворности процесса исправления и перевоспитания, затянувшегося на несколько десятков лет. Вообще говоря, автор отнюдь не мнит себя специалистом по этому вопросу, однако он не считает нужным и утаивать от читателя следующее:

1. Лично он никогда не видел ни одного исправившегося и перевоспитавшегося. 2. Лично он никогда не слышал от заслуживающих доверия людей, что они видели хоть одного исправившегося и перевоспитавшегося. 3. Автор лично знал тех, кто, по мнению лагерного начальства, исправился и перевоспитался, и у него создалось стойкое впечатление, что все они поголовно лицемеры и сволочи. 4. Автору приходилось читать о чудесах исправления самых закоренелых преступников, но все это случалось где-то в другом месте, автор же в данном случае имеет в виду абсолютно конкретное учреждение — «спец».

Итак, автор считает, что тюрьма — явление в некотором роде непреходящее. И сколь бы расчудесным ни рисовалось ему всечеловеческое будущее, он уверен, что всегда найдется, за что посадить человека, это хитроумное и очень неожиданно устроенное существо. Как ты его ни воспитывай, как ты его ни исправляй, как ты его ни опекай на каждом шагу, он, «проваренный в чистках, как соль», все равно «отколет какую-то моль».

А посему автор убежден самым твердым образом, что тюрьма — дело серьезное и отмахиваться от нее не следует. Вместе с тем автор сознает свою теоретическую неполноценность и ни в коем случае не претендует на новое слово в тюремоведенье, он всего лишь хочет пролить толику света на то своеобразное учреждение, которое так радушно приютило его и о существовании которого, как ему кажется, мало кто знает.

* * *

Официальное наименование его звучит не очень уклуже: «Исправительно-трудовая колония особо строгого режима для особо опасных рецидивистов, совершивших особо опасные государственные преступления». Среди своих его просто зовут «спецом» — по традиции, так как в свое время все исправи-

тельные учреждения с особо суровым режимом назывались спецлагерями.

Раз уж мы коснулись разного рода названий, уместно будет сообщить, что, вопреки довольно частой смене официальных наименований узилища, большинство кадровых заключенных упорно кличут его лагерем, очевидно, в память о первом имени — концлагерь. Точно так же не прижилась и официально рекомендованная замена термина «заключенный» (или реже — «арестант») на «осужденного», и надзирателей никак язык не поворачивается величать «контролерами». Ох уж эта консервативность традиций, не любит она эвфемизмов, хоть ты ей кол на голове теши!

Наш герой не с луны свалился, хотя и — существо капризное, претенциозное, часто меняющее имена — может показаться неопытному человеку Иваном-родства-не-помнящим. Конечно, про себя-то он очень даже хорошо знает свою родословную, но послушать его, так он вроде бы сам по себе. Правда, некоторых почему-либо приятных ему родственников, он иногда снисходительно признает, от других же неистово отрекается, особенно от закордонных, злобно плюет в их сторону и гордо выпячивает грудь при этом. И действительно, взаимоотношения с родней у него непросты. Трудно сказать со всей определенностью, кто из них более неправ. Автор уверен, что все они по-своему хороши. И вообще, как известно, хорошо там сидеть, где нас нет. Однако автор воздерживается от развернутых сравнений досконально известного ему героя с его заграничными родичами — в первую очередь потому, что еще не имел счастья узнать их лично, описание же их, во всяком случае те, что ему доступны, не удовлетворяют его. Но, конечно, автор целиком и полностью согласен с таким, например, утверждением, вычитанным в «Исправительно-трудовом праве» («Юридическая литература», М., 71 г.): «По своей сущности тюремные системы современных капиталистических стран являются реакционными и антинародными». Автору приятно сознавать, как ужасно ему повезло в том, что он сидит в социалистической стране, где тюремная система прогрессивна и народна. Однако его радость иной раз смущают газетные сообщения о реакционности и антинародности тюремной системы Китая, который тоже ведь социалистическая страна. Так и сяк поразмыслив над этой закавыкой, автор в конце кон-

цов пришел к утешительному выводу, что диалектика — штука тонкая, не всякому по карману, и то, что, так сказать, неискушенному уму мнится черным, уму диалектическому — сплошь белизна.

* * *

Как известно, рабовладельческое и феодальное право не утруждало себя такими гуманными понятиями, как исправление преступника, ему было решительно невдомек, что, если злодея лет 20-30 покормить тухлятиной и приучить к работе из-под палки, он может исправиться; оно больше специализировалось в области усекновения главы, охотно прибегало к огню, воде, веревке, гарроте и тому подобным орудиям правосудия или же, в знак особой милости, только отсекало тот или иной преступный член, а то и вовсе ограничивалось вырванными ноздрями, клеймом на физиономии да сотней-другой плетей.

Только с возникновением буржуазного общества тюрьма становится довольно веским аргументом в споре с политическими противниками, а позже и основным средством борьбы с общеуголовной преступностью. Даже не будучи марксистом, помешанным на срывании всяческих надстроечных покровов ради обнажения экономических подоплек, легко сообразить, что буржую, которому главное — деньги, ни к чему преступник без рук-без ног и уж тем более без головы (в прямом смысле слова) — разве что для изготовления мыла, но, к счастью для преступников, в те времена мыло еще не пользовалось спросом. Значительно выгоднее исправлять злодея тяжким трудом.

Сначала на Западе возобладала пенсильванская тюремная система, а затем ее сменила к 1838 году так называемая прогрессивная (ступенчатая) система, суть которой состоит в том, что в начале срока заключенный имеет максимум ограничений и минимум прав, а к концу срока, если ему удастся внушить начальству, что он исправляется, его ограничения и права приближаются к таковым свободных граждан. —

На Западе первые тюрьмы, работные дома и другие пенитенциарные учреждения появились в конце XVI в. В России с этим было проще: как чего — так в Сибирь. В 1586 году в Тобольске уже функционировал Разбойный приказ, занимавшийся ссылкой в Сибирь беглых крестьян, повстанцев и уго-

ловных преступников. И позже Россия особенно-то не утруждала себя поисками там разных систем: сажали как придется, бессистемно и держали как ни попадя; кого в Кишиневе, кого в Сибири, кого на Кавказе, кого на Сахалине; тот умирал от чухотки в Петропавловске, другой, отбывая срок, умудрялся стать вице-губернатором земли поболее какой-нибудь там Бельгии... Ну и т.д. После Второй мировой войны многие ужаснулись способам, которыми тоталитарные государства расправляются со своими оппозиционерами, и стали слышны требования гуманизации тюремной политики. Вопросы организации и деятельности пенитенциарных учреждений становятся предметом обсуждения на нескольких послевоенных международных конгрессах (Женевском в 1955, Лондонском в 1960, Стокгольмском в 1965, Токийском в 1970 гг.) в решениях которых неизменно подчеркивается необходимость гуманного обращения с заключенными, недопустимость их эксплуатации и применения жестоких и вредных для здоровья методов воздействия. Все это, конечно, относится к тем реакционным странам, где еще существуют социальные условия для процветания преступности. Там тюрьма всегда — способ подавления бунта протестующих против режима, и потому необходима борьба всего передового человечества за ликвидацию их. Другое дело страны, где нет социальной почвы для преступности, где светлые юридические головы точно вычислили, что преступление в такой стране — это вина личности (носителя пережитков прошлого и объекта разлагающего влияния буржуазной пропаганды) да изредка — результат стечения неблагоприятных (преимущественно личных же) обстоятельств сугубо локального значения, а потому и ответственность за преступление целиком лежит лишь на данной личности. В еще большей степени это относится к политическим смутьянам, ибо они все заведомые реакционеры. Это и есть отправная точка для желающего постичь диалектические кульбиты «нового гуманизма»: свободу (или, как минимум, либерализацию тюремного режима) прогрессивным узникам в реакционных странах, голодную тюрьму и беспощадную суровость каторги реакционерам в прогрессивной стране!

К сожалению, автор не может позволить себе роскоши подробно останавливаться на этих вопросах, как и злоупотреблять сравнениями разных пенитенциарных систем, дабы не

быть ложно истолкованным. Вместе с тем он считает не лишним подчеркнуть свое отличие от большинства арестантов, которые любят порассуждать на тему, где лучше и где хуже. Автор уверен, что сидеть везде по-своему хорошо, но еще лучше нигде не сидеть; и потому его сокровенная мечта (трансформация детских фантазий) — обзавестись шапкой-несидимкой. Ищите шапку-несидимку и остальное приложится вам.

Впервые упоминание о концлагерях как местах заключения прежде всего контрреволюционеров мы встречаем в постановлении СНК от 5.IX.18 г. «О красном терроре». В нем сообщается, что «необходимо обезопасить советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в концлагерях». Первым концлагерем особого назначения, который может в некотором смысле считаться дедушкой нашего «спеца», был так называемый СЛОН (соловецкий лагерь особого назначения), организованный в кельях Соловецкого монастыря в 20-е годы. Там спасались от бурных превратностей мирской жизни члены контрреволюционных организаций, белогвардейцы и торговцы опиумом, то бишь реакционное духовенство. Основной задачей таких лагерей была строгая изоляция враждебных элементов. Сначала было не до исправления и перевоспитания, поэтому принуждать к труду в таких лагерях стали только в 1926 году.

В 1918 году тюремное управление было реорганизовано в Карательный отдел, который с 1921 года стал называться Центральным исправительным отделом.

Потом в связи с резким обострением классовой борьбы пошла всякая неразбериха: переименования, реорганизации, указы, введение десятилетней ссылки, закона об уголовной ответственности родственников преступника и т.п. Вообще говоря, ужасно увлекательная история, но, к несчастью, она слишком раздвинула бы и без того опасно просторные рамки данной работы, и потому автор со вздохом сокрушения сердечного опускает ее. Но вот Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года никак нельзя обойти молчанием, ибо этим Указом, введившим каторжные работы на срок от 15 до 20 лет, ознаменовано появление на свет божий существа чрезвычайно мрачного и сурового — отца теперешнего «особого режима», то есть «спеца».

Да и сам «спец», о рождении которого торжественно оповестил мир Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 августа 1961 года, оказался не лучше своего папаша. Рождению его предшествовали газетные выступления трудящихся, дружно и слово в слово требовавших покончить с санаторным режимом в тюрьмах. К мнению трудящихся прислушались в верхах, и вот уже депутат Б.И.Самсонов потребовал, чтобы заключенные «воспитывались в условиях более тяжелого труда, чтобы в памяти остались не только хорошее питание и культурные развлечения».*

В ноябре 1963 года автор целых пятнадцать дней педантично изучал кумачовый транспарант с этими словами: он украшал один из барачков спецлагеря № 10, как раз напротив карцера, и автор, за неимением других занятий, упражнялся в остроумии, тщась угадать, что это такое — «культурные развлечения». Однако аристотелева логика оказалась бессильна, в других же хитроумных логиках — диалектической, математической, кремлевской... — автор профан профаном. Зато относительно «хорошего питания» никакие недоумения автора не посещали: при виде того, с какой стремительностью он уничтожает четырехсотграммовую пайку хлеба, никто не усомнился бы в том, что она кажется ему очень-очень вкусной... хотя могла бы быть и побольше. Да и в карцер-то автор в тот раз угодил именно из-за порочной страсти к гурманству: возвращаясь с рабочего объекта, он пытался тайком (за пазухой) пронести в жилую зону десяток чудом раздобытых полугнилых картофелин...

(Здесь утрачена часть текста.)

Автор считает, что тюремный режим слишком очевидно нацелен на превращение арестанта в беспросветного конформиста или откровенно лицемерствующего негодяя. Между прессом внешнего и стихиями внутреннего есть крохотный зазор — плацдарм для попыток самореализации человека в соответствии с личным проектом, зазор, конституирующий ответственность человека за то, чем он является. Беспредельно утяжеляя пресс внешнего и поощряя низменные стихии вну-

* «Заседание Верховного Совета СССР 5-го созыва, 2-я сессия. Стенографический отчет». изд. Верховного Совета СССР, М., 61.

тренного, тюремный режим сужает этот зазор до минимума. И не последнюю роль тут играет принудительный труд.

В идеале следует предоставить арестанту право заниматься чем его душе угодно; его отличие от еще непосаженных за решетку должно сводиться лишь к существованию этой решетки. В известной мере обязательным может быть лишь труд, необходимый для оплаты питания самого заключенного. Содержание же охраны, возведение тюремных замков, ремонт лагерных заборов и решеток, стоимость полосатой униформы и наручников аморально взваливать на спину узника — во всяком случае, узника политического.

Даже если быть таким тупицей, чтобы искренне воображать, что многолетний рабский труд способен превратить арестанта в скромного гражданина, производителя материальных благ, то зачем вечером загонять его в тесный и смрадный хлев? Почему бы не дать ему возможность, отгорбатив восемь часов, заниматься своими маленькими человеческими делами? Не все же посвящают свой досуг картам и домино... Но существующие тюремные порядки не усматривают в арестанте личности, их не волнует уровень его духовных запросов, их интересует лишь степень покорности раба начальству. Ну ладно, если никак нельзя без того, чтобы не превращать реформаторий в экономически рентабельное предприятие, то уж извольте кормить арестанта по-человечески, хотя бы на те деньги, которые он у вас зарабатывает, вас обогащая!! Автор считает, что в настоящее время тюремный труд — это и в самом деле не только кара, но и средство развития государственной экономики. По расчетам, произведенным в ГУИТУ МВД СССР*, для возмещения расходов по содержанию арестантов (тюрьмы, карцеры, охрана и т.д., и т.п. плюс, конечно, и само Министерство внутренних дел)** надо удерживать с каждого работающего заключенного не менее 40 рублей в месяц. В 1966 году в среднем с каждого работающего заключенного государство удерживало ежемесячно по 47 рублей***.

* Игнатъев Л.А., «Отчет по теме 23/27» М. Фонд ВНИИ МВД СССР, 1967.

** Свое питание и одежду заключенный оплачивает сам из тех денег, что остаются у него после того, как он накормит и оденет своих тюремщиков.

*** Обследование, тайно проведенное автором в начале 1973 г., показало, что за типовой рабочий месяц заработка, начисленные на лицевые счета заключенных (с учетом коэффициента понижения) после всех удержаний, соста-

А если помнить, что лагерный труд не засчитывается в общий трудовой стаж, если помнить, что попавший в заключение пенсионер лишается своей пенсии, то... кто же усомнится, что арестанта заставляя работать только для того, чтобы он поскорее исправился?

* * *

В данное время тот «спец», где пребывает автор, насчитывает всего 83 человека, втиснутых в камеры с таким расчетом, чтобы на каждого приходилось не более двух квадратных метров жилплощади.

Когда автору случается вычитать о комфортах, коими наслаждаются заключенные некоторых западных тюрем, у него порой мелькает крамольная мысль: на Западе что может быть тяжелее лишения свободы? Поди, потому и не теснят их слишком-то в тюрьме. А тут само лишение свободы еще почти и не наказание — мало упрятать человека за решетку, надо еще всякий день его наполнить муками.

Хотя отношение автора к тюрьме теперь, после десятилетнего с нею знакомства, значительно отличается от первоначального, оно далеко не так просто, чтобы можно было выразить его одним словом (любим одним словом). Это отношение прошло различные стадии — от крайне горячей ненависти до более или менее прохладного отвращения — и в данный момент автор затрудняется как-либо однозначно определить его. Тяжко, муторно, больно, безысходно... Ну и т.д. Это ад в квадрате, это тьма крошечная в кубе!

вили: у 25% — до 10 руб.; у 32% — от 10 до 20 руб.; у 18% — от 20 до 30 руб.; у 5% — от 30 до 40 руб.; у 2% — от 40 до 50 руб. У 18% работавших заключенных после всех удержаний заработка для зачисления на лицевой счет не осталось. (Разумеется, обследованный автором состав не может считаться репрезентативным.) Из всего заработка сперва удерживают 50% (в тюрьме, в отличие от лагеря, 60%), а потом оставшуюся сумму облагают подоходным налогом и вычитают стоимость питания и одежды. В результате социального обследования, проведенного в 1970 г. (см. Журавлев И.П., Миклин А.С. «Общая характеристика осужденных к лишению свободы». М., 72 г., ВНИИ МВД СССР), были получены данные о наличии денежных накоплений на лицевых счетах осужденных. До 20 руб. на лицевом счету было у 13%, от 20 до 50 — у 19%, от 50 до 100 руб. — у 21%, от 100 до 200 руб. — у 9%, свыше 200 — у 11%. Не было совсем денег на лицевых счетах у 27% осужденных (на лицевом счету автора за два года работы скопилось 196 руб.).

Вот то небольшое, что автор в данной работе мог позволить себе сказать о тюрьме вообще и о своей в частности. Его утешает лишь соображение, что ранее ему уже случалось писать о «спеце» и, следовательно, интересующимся есть куда обратиться за дополнительными сведениями.

«СТРАННЫЙ НАРОД»

Не внемлют! — Видят и не знают!
Покрыты мглою очеса:
Злодействы землю потрясают.
Неправда зыблет небеса...

Державин, ода «Властителям и судиям»

В свое время автор, как, наверное, и большинство рядовых, еще не ушибленных каторгой читателей, не понял там и сям разбросанных в «Записках» намеков на некий «странный народ», из числа коего был и Лакомка-Сироткин, разгуливавший по острогу в красной рубашке, и тот, что «шестерил» Горянчикову-Достоевскому. «..Только один Сироткин и был из всех своих товарищей такой красавчик, что же касается других подобных ему, которых было у нас всех человек до 15-ти, то даже странно было смотреть на них: только 2-3 лица были еще сносны; остальные же все такие вислоухие, безобразные, неряхи; иные даже седые. Если позволят обстоятельства, я скажу как-нибудь о всей этой куче подробней». И еще раз (в другом месте) Достоевский сулит рассказать об этом «странном народе», но так и не рассказывает ничего, ограничившись несколькими незначительными штришками да намеками, — или потому, что больно уж тема-то по тогдашним временам скабрёзная, или, может, потому, что вследствие своей малочисленности этот народец был относительно незаметен... В нынешние времена он изрядно расплодился. Если из 250 каторжников обрисованного Достоевским острога только человек 15 были пассивными педерастами, то, например, в нашей зоне из

83 человек их насчитывается 18, то есть чуть ли не каждый четвертый, да голов 30 активных, которых попробуй назови педерастами — хлопот не оберешься.

Вследствие ли сходного комплекса причин, по каким уличный позор липнет именно к женщине, а не к мужчине, вследствие ли того, что, как правило, лагерные «травести» — люди, при всей своей наглости, слабодушные, не умеющие за себя постоять, в результате ли еще каких-то неясных автору причин (возможно, тошнотворно-физиологических, а может, уходящих корнями в такой тантрически-магический мрак, в котором и специалисты-то блуждают, спотыкаясь на каждом шагу) в лагере позор содомии падает лишь на пассивных педерастов. То же, очевидно, было и в старорежимных узилищах. Хотя специально Достоевский по этому поводу не высказывается, однако такой вывод возможен на примере вампира Газина, который, судя по тексту, был активным педерастом, но Достоевский отнюдь не причисляет его к «странному народу». Напротив: Газина боятся, Газина уважают, перед Газиным заискивают...

* * *

О внутрилагерном статусе гомосексуалистов в 20-е годы автору ничего не известно, относительно же 30-х годов ему удалось установить лишь то, что в больших зонах пассивные «гомики» жили в отдельных бараках, которыми командовала «бандерша», то бишь «хозяйка» дома терпимости. «Она» устанавливала плату за посещение, поддерживала порядок, при разборе блатными конфликтных ситуаций ее допускали на «сходняк» — представлять своих подопечных и отстаивать их интересы; следила за тем, чтобы «девки» не нарушали закон: трепетали перед блатными и не обирали «мужиков»*. В те времена их называли «военными», а того, кто был готов и к иным формам сексуального сервиса, звали «военный с гармошкой» или «па-стух с дудкой».

Лишь о 40-х годах можно сказать с полной уверенностью, что правовое положение лагерных потаскушек не отличалось

* Право обирать «мужиков» (они же «фраера») принадлежит лишь «ворам в законе». Не так ли и всякое тоталитарное государство суровейшим образом расправляется с теми, кто тоже хочет обирать мужиков? Автору уже однажды доводилось писать о поразившем его факте исчезновения так называемой организованной преступности в Италии и Германии с момента воцарения в них фашизма.

по существу от теперешнего. Но как в годы войны, так и какое-то время спустя число гомосексуалистов в лагерях было незначительным. Хотя в те дистрофически голодные годы все обихаживание «невесты» зачастую сводилось к лишней пайке хлеба, миске супа или жмене махорки, но доходягам до любовных ли игрищ?!. «Наложниц» имела лишь воровская элита да «сучня» — вооруженная ножами и дубинами банда нарядчиков и бригадиров. К тому же, в те годы мужские зоны зачастую объединяли с женскими общая шахта, стройка или завод, и в лагерях возникали семьи и бардаки. Иные обзаводились гаремами, где натуральные одалиски и их суррогаты строили друг другу козни, воюя за расположение «султана», который купил их за бутылку водки, выиграл в карты, обменял, сманил, выкрал или отнял у другого «султана», саданув ему в бок финкой.

В самом конце 40-х годов ГУЛАГовские Песталоцци и Макаренки ввиду чрезвычайно щекотливых, нередко кроваво-драматических сложностей, возникших с созданием особых лагерных яслей для бушлатных детишек, приняли решительные меры к поощрению нравственности: каждая вновь прибывшая зэчка тщательно обследовалась на предмет обнаружения девственности, и ежели таковая обнаруживалась, то счастливой обладательнице ее выплачивали денежную премию (что-то рублей 50) до тех пор, пока на очередном специально учрежденном ежемесячном осмотре не устанавливался прискорбный факт дефлорации*. Но в массе своей в тот период заключенные были бесполоми: в ватных бушлатах и брюках, грязные и тощие, они все были на одно лицо, и имя этому лицу — Голод.

Когда в 50-х годах заработанные деньги стали выдавать на руки, в зонах завелись коммерческие столовые. Вчерашние бесполые зэчки начали обзаводиться жировыми зачатками женских прелестей и учились быстро и изящно выпрыгивать из ватных брюк, а недавние доходяги теперь завидовали не только разносолам лагерной элиты, но и ее эротическим забавам. Поножовщина достигла небывалого размаха. Женщин отделили**.

* Именно об этих временах пишет лагерный поэт В.Соколов в поэме «Гротески»: «За баракom кто-то раком девку начал... И не кончил... — кто-то, варварски утончен. Поманил пустой посудой... Обманул... Назвал паскудой...»

** Автор не осмеливается утверждать, что отделили их из-за поножовщины, хотя бы и грандиозной, поскольку убийства в 30-е — 40-е и частично 50-е годы были лагерной обыденностью. Но там, где замешаны женщины, процесс взаимоистребления враждующих уголовных группировок труднее под-

И сразу же катастрофически возросла численность «странного народа». Пришлось создавать для «девок» отдельные лагеря и тем еще более множить их число, ибо увезенным тут же находили замену среди тех, кому вчера кое-как еще удавалось отбиваться от гомосексуальных домогательств.

Несмотря на то, что мужеложство карается законом (сроком до 5 лет), случаи уголовного преследования по этой статье единичны*, и возбуждается таковое вовсе не для пресечения гомосексуализма, а из соображений иного порядка — чаще всего в качестве кары за то или иное противодействие начальству, за смутьянство или нечто такое, расследование чего требует особых хлопот или сопряжено с какими-либо скандальными разоблачениями... Это всего лишь частный случай широко практикуемых способов непрямого использования закона (не для пресечения конкретного деяния, а как мести за что-то иное) — удобная маскировка всяческого произвола и всех видов дискриминации: наличие ряда законов, утративших жизненную си-

лавался контролю, возникали и сложности с натравливанием уголовников на политических заключенных. Зачастую неуправляемой становилась и международная резня среди самих политических заключенных...

* Лично автору известен лишь один такой случай, да и то десятилетней давности. Тогда «супругам» дали по три года, но при этом все претотлично знали: дело не в том, что, устроив засаду, их накрыли на горячем, а в том, что накануне они проникли в кабинет самого начальника лагеря, украли несколько пачек чая и сожгли все рапорты на нарушителей режима. Сделано было чисто, но, как водится, нашлись доносчики. Однако доказать что-либо было трудно, и тогда начальник лагеря публично пообещал «заделать козу» вора — и заделал.

О других случаях осуждения за гомосексуализм автору неизвестно, но, чтобы избежать упрека в расширительном толковании личного опыта, он позвонит себе сослаться на таблицу (№ 27) «видов преступлений, за которые были в 1971 году осуждены лица, уже отбывающие наказание в ИТК особого режима». Вот эта таблица, выписанная автором из бесстыдно похищенной им у начальника отряда брошюры под названием «Памятка практическому работнику ИТК особого режима» (М.ВНИИ МВД СССР, 72 г.). 1. Действия, дезорганизующие работу ИТК (ст. 77 1 УК РСФСР) — 8,1%; 2. Хищение государственного или общественного имущества (ст.ст.89-93, 96) — 3,4%; 3. Умышленное убийство (ст.ст.102, 103) — 16,2%; 4. Умышленные тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения (ст.ст. 108, 109) — 17,9%; 5. Изнасилование (ст. 117) — нет; 6. Мужеложство (ст. 121) — 0,4%; 7. Кража (ст. 144) — 0,8%; 8. Грабежи, разбой (ст. ст. 145, 146) — нет; 9. Побег (ст. 188) — 19,5%; 10. Сопrotивление представителю власти (ст. 181) — 8,2%; 11. Хулиганство (ст. 206) — 11,5%; 12. Изготовление или сбыт наркотиков (ст. 224) — 0,9%; 13. Прочие преступления — 13,1%.

лу, уже не осознающих в качестве запретов и всеми безбоязненно пресупаемых, дает возможность в любой момент привлечь к суду всякого неугодного, сколько бы он ни вопил, что «других-то ведь за это не судят». Для того ли, чтобы всегда иметь под рукой такую резервную статью, так сказать, статью в засаде, потому ли, что и в советское псевдопуританское захолустье доползли слухи о бисексуальной природе человека и о том, что в иных случаях гомосексуальные наклонности — скорее болезнь, нежели преступление, вследствие ли понимания, что если судить за педерастию, то подавляющее большинство нынешних лагерников вообще не освободится, в силу ли каких-то других неизвестных автору причин, но гомосексуализм в лагере практически не карается.

* * *

Специально историей вопроса об отношении к педерастии в России никто вроде бы не занимался. Как-то автору случилось наткнуться на свидетельство одного иностранного наблюдателя, но оно произвело на него впечатление откровенно недоброжелательного, и он даже не счел нужным ни запомнить имя этого иноземца, ни переписать в свою тетрадь его наблюдения. Таким образом, единственно известное автору объективное свидетельство принадлежит Юрию Крижаничу, жившему в России во второй половине 17 в., в царствование Алексея Михайловича. Крижанич — ученый-серб, пламенный славянский патриот, видевший в русском царе единственного государя, который может объединить всех славян. Выдержки из его книги «Политические думы», которые С.М.Соловьев приводит в 13 части своей «Истории», чрезвычайно интересны, но мы процитируем лишь то, что непосредственно относится к нашей теме: «У турок нам следует учиться трезвости, стыдливости и правосудию. Эти неверные не менее нас грешат противоестественным грехом, но они соблюдают стыдливость; никто у них не промолвится об этом грехе, не станет им хвастаться, ни упрекать другого. Если кто проговорится, то не останется безнаказанным, а у западных народов сожигают таких преступников. В России же этот гнусный грех считается шуткою. Публично, в шуточных разговорах, один хвастает грехом, иной упрекает другого, третий приглашает к греху, недостает только, чтобы при всем народе совершали преступление... пора поднять стыдливость против содомии». Свидетельство очень яркое, но по

своей единичности оно вряд ли может считаться достаточным для сколько-нибудь серьезных обобщений.

Если в прежние времена рассадником гомосексуализма была по преимуществу армия (особенно флот), то в нашу гуманную эпоху наиболее многомиллионная форма насильственного отрыва особой одного пола от другого — лагерь. Когда и на воле-то гомосексуализм нынче не велика диковинка, то что же удивляться тюрьме? Тем паче, что содомия давно утратила привкус богопротивности, а этический релятивизм, которым чаще всего лишь маскируется оголтелый имморализм, — печальная данность этого столетия, нравственный сифилис, которым больны чуть ли не все поголовно: нос уже провалился, так давайте не прятаться, а расхваливать пьянящее чувство свободы, расторможенности, раскрепощения, даруемые бледной спирохетой!..

По отзывам бывалых людей, девять десятых уголовников — гомосексуалисты. Но собственно педерастами (они же «козлы», «петухи»), по лагерным представлениям, считаются только пассивные педерасты, которыми, ориентировочно, являются около 10% всех уголовных преступников. Быть активным педерастом — это такая заурядная норма, что для них даже и особого названия нет. Лишь наиболее страстных приверженцев однополрой любви зовут «козлятниками», «петушатниками», «глиномесами» или «печниками» — насмешливо, пренебрежительно, иронически или почтительно (в зависимости от контекста и ступени, занимаемой «трубочистом» в лагерной иерархии), но никогда — презрительно. Иное дело «пидер», «козел» или «петух».

Вот уже несколько десятилетий лагерь (как мужской, так и женский) является поставщиком сексуальных извращенцев всех мастей, а такие ругательства, как «козел», «петух», «ковырялка», «кобел», давно уже вплелись в красочную гирлянду уличной матерщины. Ну, пока такими оскорблениями осыпают друг друга школьники, это еще полбеда, но, дорогой читатель, упаси вас боже обозвать «козлом» лагерника. Он тут же потребует доказательств, а за отсутствием таковых имеет право и убить: тюремный закон императивно предписывает в таком случае как минимум избиение, иначе звание «козла» считается правомерным. Для лагерника это не оскорбление, а обвинение. И дело вовсе не в каком-то особом чувстве чести, а в

том, что звание «козла» влечет за собой весьма существенные житейские невзгоды. Это обвинение (как, кстати говоря, и обвинение в «стукачестве») должно быть смыто непременно кровью или, как минимум, публичной зуботычиной, иначе — падение на социальное дно. «Козел» должен жить отдельно от всех, а если и в общем бараке или камере, то где-нибудь в уголку, у параша. Его кружка-ложка помечены дыркой. Уголовный быт казуистичен и ритуализирован, в казуистике и ритуалах его претензия на бытие, значительность, неслучайность, стабильность в качестве особой социальной группы, вечной и нечтребимой. «Козла», посмеявшего выдать себя за простого «мужика», бьют усердно, но не до смерти, если же он «канал по первому кругу», то есть прикидывался блатным и ел-пил из одной с ворами миски-кружки, жизнь его под большим вопросом: сотрапезничество с «козлом» — пятно на воровской репутации и, не будучи смыто кровью, может самому вору стоить жизни. «Козел» — безгласное, бесправное орудие удовлетворения сексуальных потребностей, и только в эти минуты прикосновение к нему не оскверняет: днем он — пария, неприкасаемый. Особенно строго этот закон блюдетя в лагерях для малолетних преступников. Жизнь «малолеток» всесторонне ритуализирована и табуирована, каждый следит за каждым, и всякое отступление от правил преследуется жесточайшим образом. Даже случайное прикосновение к «козлу» чревато взрывом массового энтузиазма — роль инквизитора, охотника, палача, могучего в праведности гнева и презрения своего, так упоительна... И в ту же ночь легион распятых и искалеченных принимает в свои ряды еще одного несчастного.

(Здесь утрачена часть текста.)

Чем занимаются во мраке взрослые люди на воле — их личное дело. На свободе гомосексуалист не обязательно подлец; в лагере он почти всегда вынужден быть «стукачом»: не защищенный общеарестантской поддержкой, он, в сраме своем, беззащитен и перед начальством — угрожая ему новым сроком за гомосексуализм или разоблачением в глазах матери или жены, «педагоги» в конце концов вынуждают его к доносите-льству.

(Здесь утрачена часть текста.)

Уже Достоевский отмечал, что наружность обитателей «Мертвого дома» зачастую чрезвычайно безобразна. Наблюдение верное и для наших времен. Вообще, бездуховность, низменность помыслов и стиля жизни накладывают каинову печать безобразной животности на облик большинства обитателей уголовных джунглей. Верно замечено, что до какого-то времени человек живет с лицом, данным ему небесами и родителями, а потом — с тем, какое сам заслужил. Но особенно безобразны «козлы», и более всего они отталкивающе отвратительны совмещением в себе черт крайней униженности, забитости, несчастья и чрезвычайной жестокости по отношению к слабейшим, подлости, трусливой наглости. Что и зафиксировано в лагерной пословице: «Нет наглее наглого педераста». Не без исключений, конечно. Вот, например, живет в нашей зоне всесоюзно знаменитая Любка, «дама», весьма совестливая (по «козлиным» меркам, конечно), очень строго блюдущая кодекс староуголовной морали. Она громогласно обличает тайных «петухов», призывая их сбросить маску, а главное — не ходить по «кумовским»* кабинетам. О себе «она» заявляет: «Я воровская педерастка», ест из отдельной миски, никогда не пойдет, хоть убей ее, в общую камеру, время от времени подновляет выколотую под левым глазом мушку, каковой в былые времена клеймили членов козлиного клана, и с удовольствием демонстрирует любопытствующим отвислое брюхо, на котором корявыми буквами запечатлен лозунг: «Лучше умереть у красивого юноши на х-ю, чем на лесоповале». 8-го марта «она» повязывает голову цветастой косынкой и, повиснув на оконной решетке, целый день визжит бабьи частушки, а во время прогулки стыдит «политиков» за то, что они «не мужчины» и кланчит у уголовников подарки: «Что же вы, мужчины, ничёго мне не дарите на мой-то праздничек?»

Любке уже за шестьдесят. Сидит «она» безвыходно что-то лет тридцать, да до того и на Соловках сживала, и всю Сибирь исколесила в этапных вагонах... всего лет 40-45 наберется. «Она» уже и «сама» забыла, где, сколько и за что сидела. Последний «четвертак» Любка отхватила в 1952 году за убийство начальника режима (не то капитана, не то майора): он застрелил «ее» супруга и погиб от Любкиного топора. «Ей», конечно, пришли политический террор. Начальство старается

* «Кум» — лагерный оперативник.

«ее» обходить, так как «дама» она нервная, истеричная, может и огреть чем ни попадя, а увидев какого-нибудь чужого, случайно забредшего в наш лагерь начальника, тут же скидает портки и, нагнувшись, демонстрирует выколотые на ягодицах голубые глаза. У Любки гипертония, порок сердца да к тому же вместо нормальных рук — одни ладони (пальцы «она» отрубила, спасаясь еще в те годы от работы), и потому «она» признана нетрудоспособной. Любка так давно сидит, что лагерь окончательно утратил для «нее» значение кары, и «она» громко повествует о том, как проведет одну-единственную неделю на свободе. «Откидываюсь я, мужчины, в одна тысяча девятьсот семьдесят седьмом году 25 января, — сладким напевным голосом рассказывает «она» во время прогулки. — Сразу еду в Москву-матушку, покупаю новую малированную миску с цветочками... да... рубля за два, а то и за три... и мохнатое полотенце с красными петухами... Да... Потом весь свой капитал — у меня ведь 65 рублей на счету! — пропиваю с мужчинами... Яблочков бы не забыть, я их, почитай, годков двадцать не едала, да... и на другой день иду к этому поганому Сталину Руденке, скидаю портки и говорю...». «Кто тебя, старую дуру, к Руденке пустит!» — перебивают «ее». «Ну тогда подхожу к первому милиционеру и говорю: «Вы, жандармы, Гитлеры тухлые, а ну, сажайте меня обратно! Срать я хотела на вашу колхозную свободу!.. Только не к политическим, а к ворам... к молоденьким ворам. И — эх!» — визжит «она» разухабисто и призывно шлепает себя беспальными ладонями по ягодицам.

(Здесь утрачена часть текста.)

Никто из новичков, особенно молодых, не застрахован от тяжелой «женской» доли. Но даже и в другие, более откровенно-ножевые времена, как бы вор ни пылал страстью к какому-нибудь смазливому «красюку», он не спешил насильничать — «законней» и безопасней принудить пассиву к «добровольному» сожигательству, сперва так или иначе деморализовав ее, коварно загнав в безысходный угол, где выбрать можно лишь один из двух ножей — железный или кожаный.

Профессиональные уголовники — порой пронизательные сердцееды. Они знают, как важно ошеломить жертву, вызвать у нее моральное замешательство, навязать ей чувство вины, заставить оправдываться: кто оправдывается — уже не боец, кто объясняется — наполовину побежден. Знающий правоту

свою иной раз и ножа не страшится, даже толстый фраер в ночном переулке может ради имущества своего не пощадить живота своего и, обезумев от праведного гнева и страха, учудить нечто героическое. Но если правота его под вопросом, он куда смиренней. Надо заставить его оправдываться.

— Дя-я-денька, дай часы поносить, — канючит малец.

Почтенный обыватель, сперва опешив, наливается гневом:

— А ну, иди, иди отсюда, пока милицию не позвал... Ишь ты! Сопляк, а туда же — часы ему!

— Дя-я-денька... — не отстаёт тот, нахально цепляясь за полы пальто.

— Ах, наглец!.. Брысь!

Оборвыш шлепается на землю и ревет что есть мочи. Из ближайшей подворотни мгновенно выворачиваются двое-трое громил:

— Ты чаво, гад, над пацаном измываешься?!

— Да я... да он, — заикается тот. — Понимаете ли...

Но поздно — его уже колотят... за мальчика, а заодно и обидают его до нитки.

Способов загнать жертву в западню много. Обычно «авторитетный вор», облюбовав «красюка», демонстративно приближает его к себе, пока тот не привыкнет к заискивающей почтительности. Потом втравливает его в карточную игру и оплачивает его долги, но, когда они достигают значительной суммы, вдруг впадает в гнев и требует вернуть все истраченные и проигранные деньги. Но где их взять? Вчера еще в почете, вчера еще он сам правил, избивал, а то и участвовал в убийстве «неплательщиков», а сегодня... Кругом виноват, всякая шавка, недавние льстецы и лизоблюды теперь язвят и оплевывают его всенародно. И сроку всего два дня... Затравленный, считая себя сплошь виноватым, он, съезжившись от страха, ждет смерти или чуда. «Не бойсь, паря, — хрипит ему искуситель. — Никто не узнает. Опять заживем как боги... Не бойсь: один раз — не пидарас...». И всё, человеку конец.

Есть и другой исход — куда более достойный, но и куда более необратимый, окончательный — в смерть. В начале лета этого, 74-го года в запретке уголовного лагеря № 3 был застрелен молодой, лет девятнадцати, парень. Сроку у него было всего два года, до свободы оставалось что-то месяцев пять-шесть; загнанный в угол, он участи «козла» предпочел смерть и

среди бела дня полез, не спеша, через забор. Автоматчика, как водится, за меткую стрельбу наградили именными часами и дали двухнедельный отпуск.

АЛЬБЕРТ

От тюрьмы да от сумы не зарекайся.
Народная мудрость

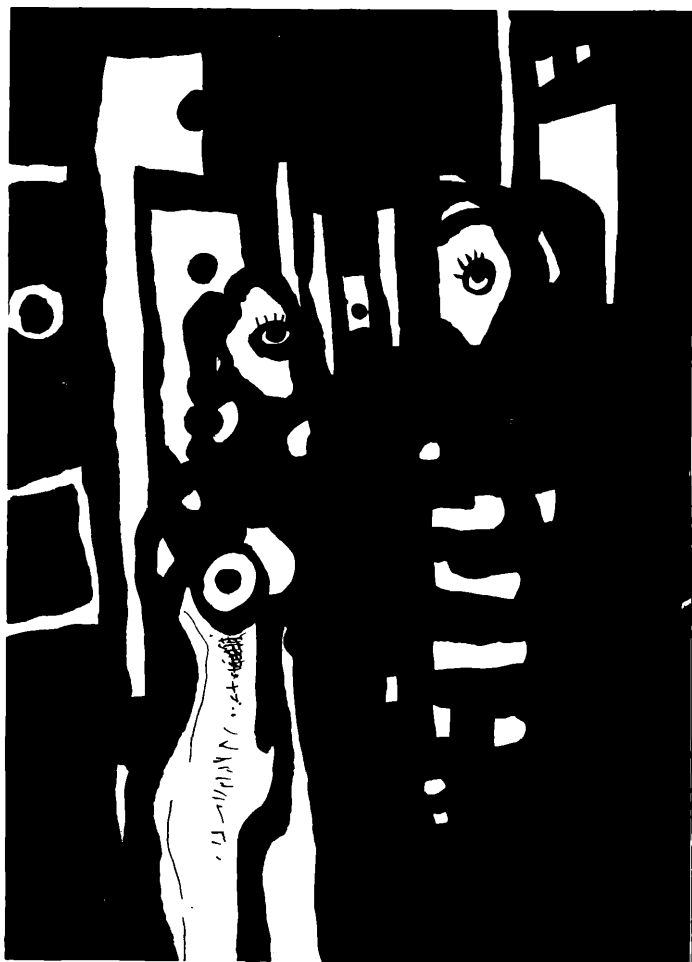
Пару недель назад из Владимирской тюрьмы вернулся Февраль и привез скорбную весть о смерти некоего Альберта С. Скорбную лишь для автора, так как, кроме него, никто в зоне и не знал, что такое этот Альберт. Февраль потому и зовется Февралем, что у него «не хватает», и надо было потрудиться, чтобы извлечь из немногословной невнятицы более или менее отчетливое представление о последних днях Альберта.

История этого Альберта поневоле заставляет задуматься над страшным смыслом все той же народной мудрости о тюрьме... Никто, никто не застрахован от тюрьмы, а следовательно, и от участи, постигшей Альберта. Но автор предупреждает читателя, что судьба Альберта в некотором роде нетипична — не тем, что с ним (Альбертом) случилось, а тем, как он воспринял случившееся.

Пренебрегая законами занимательности, рекомендующими постепенное и не прямое подведение читателя к некоей заранее известной автору сути или, как минимум, подачи ее в самом конце рассказа, автор дает ее в начале. Вот она:

1. Какой богатый человеческий материал пропал ни за что!
2. Честному и умному тюрьма — трижды тюрьма. 3. Если закон не защищает человека — он вынужден сам быть судьей и палачом. Он прав и... горе ему! 4. Упаси тебя Боже, читатель, от участи Альберта! Но если бы всякий из нас не щадил живота своего, мстя подлецу своему, то, может, подлецов стало бы меньше на белом свете.

Вместе с тем, заранее изложив эти горестные выводы, к которым *любопытный* читатель, ознакомившись с историей Альберта, пришел бы и сам, автор очень надеется, что *проницательный* читатель обнаружит в этой истории и некие иные смыслы.



Кроме всего прочего, судьба Альберта поразила автора еще и тем, что наглядно опровергла его давнее мнение, что русскому человеку несвойственно жертвенно-фанатическое служение некоей мстительной цели. Он существо по преимуществу смиренное, но и вдруг порывистое, вскидчивое, готовое в эту минуту на любую крайность, однако быстро отходчивое. Чтобы годы и годы посвятить какой-нибудь там вендетте — это здесь не водится. Пушкин с его гениальным чутьем недаром такого мстителя окрестил не каким-нибудь там Петром Ивановичем, а Сильвио.

Хотя Альберт тоже не ахти какое русское имя. А впрочем, почему бы и не русское? Не в смысле соответствия православным святцам, а в том смысле, в каком русскими являются имена чад шарахающихся из крайности в крайность родителей: то это принимающая порой патологические формы любовь к дремучей патриархальщине, то периоды какой-нибудь галло- или англomании, то полосы горделивого верноподданничества... В этом смысле русскими являются и такие имена, как: Октябрь, Сталина, Баррикада, Вилена (В.И. Ленин), Медера (Международный день работницы), Одвар (Особая Дальневосточная Армия), Лагшмира (Лагерь Шмидта в Арктике), Персострат (1-й советский стратостат), Оюшминальд (Отто Юльевич Шмидт на льдине) и даже Пятвчет, что означает пятилетку в четыре года!

* * *

В первых числах января этого года, только-только мы изгнали из своей камеры уличенного в воровстве и доносителстве уголовника и вздохнули облегченно, мечтая спокойно зажить втроем, как к нам подсадили новичка, прибывшего в тот день с этапом. Зона у нас крохотная — в 1-й камере чихнут, из 12-й — «чтоб ты сдох, скотина!» кричат. Так что новичка еще только обыскивали в комендатуре, а все уже знали, что он из уголовного лагеря и сроку имеет 13 лет.

Как и положено, прежде чем переступить порог камеры, он спросил:

— Вы не против, ребята?

Мы были, конечно, против: на восьми квадратных метрах и троим-то нечем дышать... Но по лагерным законам нельзя не впустить в камеру человека, о котором ничего плохого еще не-

известно. К тому же только накануне мы с большим шумом выселили Чертогона, и нарываться на новый скандал охоты не было: скажи мы «против», надзиратели начнут силой заталкивать его в камеру, он будет упираться, они его — в спину из коридора, а мы — в грудь из камеры... А человек-то он новый и вроде бы ничего с виду.

— Давай, — промямлил один из нас.

Расстелил он на верхних нарах жиденький матрац, кинуя в изголовье набитую книгами сетку и говорит:

— Давайте знакомиться: я Альберт С.

Ну Альберт и Альберт — черт с тобой, раз уж не удалось от тебя отвертеться...

Заварили ради знакомства чифирку, приглашаем его:

— Не пью, — говорит. — Спасибо, ребята.

Удивились мы, но промолчали, а он разлегся на нарах и в книгу уткнулся... «Эге», — сказали мы себе и немного приободрились. Обычно эта публика — мерзавец на мерзавце, а тут вроде... Впрочем, ухо держим востро — не приучены мы в исключения-то верить.

Вечером, перед самым отбоем слышим:

— Мужики, иногда я храплю — толкните, если слишком уж...

Час от часу не легче! Храпел он и в самом деле ужасно... Да что же сделаешь — на то она и камера: храп — еще не повод для изгнания.

Ну ладно, сидим день, два — он все так же молчит: с работы придем, он сапоги скинет, влезет на нары и за книгу. Автору это понравилось: он всегда считал, что, будь ты расподлец, стукач или даже «козел», лишь бы сидел тихо и не мешал ему книги читать и думать свою думушку. Даже такой-то, с изъязцем, и лучше порой какого-нибудь шумливого честняги — такого-то легче усмирить, рявкнув: «А ну ты, змей, не забывайся!..»

* * *

Минуло дней пять-шесть, и вот как-то в цеху подходит к автору Альберт:

— Можно тебя на пару слов? Где бы нам приткнуться?

А приткнуться в нашем цеху и впрямь негде — ни раздевалки, ни душа, ни единого укромного закутка... Уселись мы с ним

на слесарном верстаке, благо слесарь в это время шлифовальный станок ремонтировал, и автор услышал следующее:

— Я хочу вот что сказать... Все равно это станет известно... да и наплевать... В общем: я «петух»...

Автор растерялся, не зная, как реагировать на такое признание, а Альберт усмехнулся — то ли грустно, то ли иронично — и продолжает:

— Ужас какой, правда?.. Впрочем, я и не думал, что ты обрадуешься этому известию, но и бледнеть-то так к чему? Не ты ведь, а я... Хоть и поневоле. Или тебе до лампочки? — Взгляд его был внимателен и строг. — Что по склонности, что поневоле?

— Нет, почему же... — смущенно бормотнул автор, усиленно соображая, как ему теперь быть с таким сокамерником.

А он, так и не дождавшись вразумительного ответа, продолжает:

— Как я понял, в вашей зоне особенно-то с этим не носят... Да и полно их у вас, вижу... В вашей камере я бы передохнул малость. Долго-то я здесь все равно не засижусь... Можете, конечно, выгнать меня. Это ваше право, и я не обижусь... Но когда-нибудь вам будет стыдно. Все, — он соскочил с верстака. — Пока все.

— Подожди-ка! Мне же надо с сокамерниками поговорить. А как сказать?

— Так и говори...

— Но ведь...

— Плевать: я не скрываю!

Посоветовавшись, мы решили пока оставить его в камере, а там видно будет. Вместе с тем мы пришли к заключению, что доверять Альберту нельзя.

В логике наших рассуждений внешне все было правильно: общеизвестно, что почти всякий убежавший из уголовной зоны — сукин сын, а уж «петух» и того паче. Так-то оно так, но эти печально-строгие глаза, эта горькая усмешка, вообще весь его облик, все манеры?.. В жизнь бы не подумал, что уголовник! Что-то тут не то, глубокомысленно решил автор. А почему бы, спросил он себя, не попытаться, отложив на время книги в сторону, попристальнее присмотреться к этому Альберту?

Поставив перед собой задачу понять Альберта, автор всяче-

ски уговаривал себя относиться к нему непредвзято и, однако, не мог не отдавать себе отчета в том, что всякий раз, едва подумав об Альберте, он как-то внутренне съеживается, готовый вздрогнуть. Не так ли и тот, кто не жалуется приязнью даже собак, этих испытанных друзей человека, с тайным содроганием и опасливым отвращением смотрит на какую-нибудь там змею, и должно пройти немало времени, прежде чем он научится понимать ее, признает и за ней право на жизнь, перешагнет наконец через питающиеся мифами и предрассудками отвращение и даже — не исключено — проникнется к ней симпатией. Вскоре автор узнал Альберта поближе и уже не только не думал, что Альберт такая уж змея, но порой начинал подозревать, что, может, он, совсем даже напротив, не змея вовсе, однако он так и не сумел преодолеть в себе некоей антипатии, опасливой настороженности, ожидания какого-нибудь подвоха...

Но однажды из книги Альберта выскользнула пожелтевшая фотография, автор поднял ее и увидел кучку ребятни под большой, судя по мощному стволу, липой.

— Ты где? — спросил он.

— Вот, — ткнул тот пальцем.

Похоже, именно после того как автор увидел на этой карточке Альберта-малолетку, он с удивлением и недовольством собой обнаружил, что ему опять с изрядным трудом дается роль бесстрастного исследователя — на этот раз по иной причине: змея оказалась довольно симпатичным существом. И стоило автору признаться в этом себе, как словно некая пелена спала с его глаз...

* * *

Единственным источником сведений об Альберте был сам Альберт (за исключением последнего известия, привезенного Февралем), и потому перед автором с самого начала встала проблема оценки достоверности получаемой им информации (крайне скудной, кстати сказать). Только в самые последние дни общения с Альбертом автор воспринимал каждое слово на веру, а до этого он конспективно заносил в особую тетрадь все услышанное от Альберта об Альберте и на полях напротив каждого более или менее значительного факта выставлял оценку достоверности по следующей системе: 0 — заведомая

ложь, 1 — очень малая степень достоверности, 2 — не исключено, но маловероятно, 3 — ни то ни се, серединка на половинку; 4 — заслуживает доверия с весьма незначительными поправками, 5 — совершенно достоверно (конечно, в пределах человеческих возможностей). Позже автор, просматривая эти оценки, признал, что вполне мог обойтись и четырехбалльной системой — без 0 и 1.

Теперь, спустя значительное время, автор, сопоставив одно с другим, зная и то и се, проанализировав третье и десятое, просуммировав когда-то проставленные им отметки и разделив их на число зафиксированных фактов, оценивает все сведения, сообщенные Альбертом об Альберте, на «четыре с плюсом». Но пусть бы лучше 3, лишь бы располагать большим количеством сведений. Увы! Альберт был неболтлив и очень редко принимал участие в обычной камерной трепотне и ни разу не промолвил ни единого пустого слова — слова ради слова, лишь бы что-нибудь сказать... Для камеры это находка, но в данном случае для автора это обернулось большой потерей. Особенно мало ему удалось преуспеть в получении сведений о лагерном периоде жизни Альберта. В общей сложности все сообщенное Альбертом уместилось на трех тетрадных листах, таким образом, сведения, которыми располагает автор, не только не полны, но и удручающе отрывочны. Всю динамическую часть истории Альберта автор мог бы изложить на двух страницах. Может, тем и следовало бы ограничиться, ибо и безотносительно к облику Альберта она, эта динамичная часть, достаточно впечатляющая, чтобы разбередить душу. Наверно, так, ибо лучше дать вкратце сухую суть, чем пытаться сказать больше, не имея возможности сказать всего. И все же автору важно попытаться хоть несколькими штрихами очертить облик Альберта — без оглядки на литературные каноны, требующие цельности картины, плавности переходов, отчетливого выявления психоидейных пружин и т.д. Автор сообщает ровно столько, сколько он знает сам, к домыслам в угоду литературной эстетике он не склонен. Слишком серьезная это штука — жизнь, чтобы подправлять ее.

Возможно, более удобного момента не представится, чтобы сообщить, что даже непродолжительное (неполных два месяца) общение с Альбертом оказало на автора большое влияние, ос-

новной смысл которого можно передать так: есть люди, чья доля тяжелей твоей тысячекратно, но они не стонут.

* * *

Автор всегда с насмешкой относился к так называемому «анкетному знакомству» (год рождения, национальность, прописка, семейное положение и т.д.), но благоразумно уточняет, что оно ему не нравится, если им начинается взаимообщение людей и уж тем более им и ограничивается. Вообще же он не отрицает некоего подсобного значения анкетных данных в длительном и заковыристом процессе взаимопонимания или взаимопожирания людей. Именно поэтому он считает не лишним сообщить об Альберте следующее: родился в Москве в 1938 году, русский, из рабочей семьи, образование среднее плюс один курс пединститута, стаж армейской службы три года (запас 1-й категории), звание: рядовой, по специальности пулеметчик-автоматчик, холост, из родственников имеет только мать, трижды судимый: в 1962 году он получил 3 года за хулиганство, в 1964 году лагерный суд приговорил его к 15 годам за убийство, в 1972 году он получил 7 лет за антисоветские листовки, причем суд, присовокупив неотбытую по предыдущему приговору часть наказания, общий срок определил равным 13 годам 11 месяцам и 2 дням и велел считать Альберта особо опасным рецидивистом и государственным преступником.

Таким образом, если бы Альберту здорово повезло (то есть: если бы он не заболел и не зачах преждевременно, если бы не получил нового срока — не говоря уже о расстреле, — если бы его не пырнули ножом в какой-нибудь драке, если бы... ну и т.д.), то он освободился бы в 1986 году в 48-летнем возрасте, отсидев к тому времени ни много ни мало — 24 года, то есть натурально полжизни... Но уже недели через три после появления Альберта в нашей камере автор узнал, что ему вряд ли удастся освободиться так скоро — в восемьдесят-то шестом году, а через какое-то время автор понял, что Альберту, может, и вовсе не суждено освободиться.

Сведения автора о душевной жизни Альберта, о его образе мыслей и взглядах весьма скудны, следовательно, надо попытаться подетальнее передать хотя бы его внешний облик.

Роста он самого что ни на есть среднего, а может (по теперешним стандартам), даже и чуть менее того.

— Хорошо, что во времена моей юности такой рост был

нормой, а то быть бы мне еще с одним комплексом (Альберт о себе).

Любопытно это «еще с», возьмем его на карандаш. Если специально приглядываешься к человеку, пытаешься втянуть его в беседу, а он явно уклоняется, отмалчиваясь, и вдруг, вклинившись в чужой разговор, эдаким образом выскажется, то, услышав такую оговорку (или откровенность), всякий невольно подберется внутри и не удержится от того, чтобы не бросить пронизательно-высматривающего взгляда. Автор, во всяком случае, не удержался и наткнулся на спокойный прищур серых глаз. У него (автора) создалось не очень приятное впечатление, что не только он изучает Альберта, но и тот весьма пристально приглядывается к нему. Как же быть? Расценивать ли это «еще с» как откровенность, или как форму зондажа, или чего там еще? Сперва автор решил, что это что угодно, но не откровенность и не оговорка, но позже, когда Альберт стал поразговорчивее и автор получше узнал его, он понял, что это была и правда, и разведка в то же время.

Вес 75 килограммов, вроде бы больше нормы (особенно если учесть диетическую малокалорийность лагерного питания). Но так может сказать лишь профан. Специалист же прежде всего поинтересуется типом сложения, то есть в первую очередь объемом грудной клетки и, услышав, что таковой равен 107 см (при вдохе — 112, при выдохе — 91), скажет, что 75 кг — абсолютная норма для роста 170 см.

Вылеплен Альберт превосходно — накинь ему сантиметров тридцать росту, сохранив все его пропорции, и смело можешь утверждать, что именно так выглядел Геракл. При нынешней моде на астенических верзил, выдающих свою чахлаю узкогрудость за изящную стройность, Альберт, конечно, не смотрелся. Дешевенький магазинный костюм (а иных, насколько автору известно, он не носил) тем более не мог подчеркнуть достоинств его сложения, скорее, наоборот. Но если бы хоть раз в год все человечество, веселое и чуточку пьяное, собиралось на вселенском нудистском пляже, Альберт там был бы не из последних, отнюдь. Эта стройная колонна шеи (41 см), рельефные бугры бицепсов (38 см), атлетическая мощь великолепно развитой груди, спина в тугих узлах мышц, панцирь брюшного пресса, эти пружинистые, устойчивые стволы ног и — коль скоро уж мы оказались среди нудистов — довольно представи-

тельный детородный орган — все это, отлично пригнанное друг к другу, живое, динамичное и вместе с тем прочное, надежное, все это невольно приковывало взгляд, вызывая мысль об идеальной приспособленности такого организма ко всем жизненным перипетиям, требующим мышечной мощи и выносливости — будь то поле брани, альковная эквилибристика или многолетние запроволочные мытарства.

Кратко обрисовав физические стати Альберта, следует сообщить, что с неба ему ничего не падало, ничего и никогда! Но он не только не обращал горé скорбноупрекающих или обвиняющих очей, но даже с некоторым подозрением и недоверием поглядывал на баловней судьбы. Вот буквально слово в слово его ответ на вопрос автора, уродился ли он таким здоровым или это результат занятий спортом?

— Куда там! Уродился-то я так себе, ни рыба ни мясо... Оно и хорошо, по-своему. Я счастливичков этих, выигравших по генной лотерее, не перевариваю. Смотришь: он едва вылупился из материнского лона, а уже двухпудовыми гириями играет. Значит, быть ему богатырем... Но, заметь, до первого серьезного щелчка судьбы. Потому как без пота в богатыри выбился. Мой лозунг: в поте лица своего добывай мышцу свою. С акцентом и на «мышце», и на «поте».

Надо ли говорить, что у этого физкультурного разговора был определенный подтекст?

Со спортом отношения у Альберта сложились таким образом. Начав с 13 лет посещать спортзал, в 17 он уже имел первый разряд по боксу. Судя по физическим данным, твердости характера и смелости, быть бы ему незаурядным спортсменом, когда бы не болезненная тяга к книгам, результатом каковой явился слишком ранний интерес к так называемым «вечным (они же «проклятые») вопросам». В 17 лет он заметался между требовавшим все большего времени и пота спортзалом и библиотекой, в пыльных недрах которой, казалось, где-то притаилась некая истина.

Очевидно, именно этот период своей жизни имел в виду Альберт, как-то сказав (по другому поводу и вовсе не автору):

— Только в розовой юности надеешься однажды наткнуться на книгу, в которой будет все обо всем, — и, помолчав, добавил поясняюще: — Я, конечно, не об энциклопедии, сколько бы ни было в ней томов: юности нужны не справки, а некая суть.

В 17 лет он расстался со спортом. Не без сожаления. И это сожаление становилось чем дальше, тем сильнее, так что в 1970 году, когда ему было уже 32, он вновь начал усиленно «потеть над мышцей своей», то есть бегал на месте, прыгал, отжимался от пола и где-нибудь в укромном уголке боксировал с воображаемым противником — на большее в лагере человек не способен, будь он хоть помешан на спорте: ни времени, ни места, ни, конечно, оборудования, да и питание не позволяет больно-то физкультурить, а обзавестись там какими-нибудь гантелями или штангой — упаси Боже!.. О футболе, боксе и борьбе не упоминай — они прямо запрещены законом и за них строго карают.

Нетрудно сообразить, что это возвращение к спорту находилось в некоторой, хотя и очень отдаленной, зависимости от результата попыток обрести ту самую «некую суть». Альберт не то чтобы с годами охладел к Истине, — скорее, он разуверился в принципиальной возможности найти ее... и вновь занялся спортом. Но теперь уже не ради самого спорта (возраст не тот) и не потому, что признал правильность бергсоновской дефиниции человека в качестве занимающегося спортом животного, а ради некоторой другой цели, о которой автор не преминет сообщить в должном месте.

* * *

Альберт никогда не обращал особого внимания на свою одежду, но единственно по недостатку средств и времени — ни из отутюженных, ни из помятых брюк он философии не делал.

Здесь арестант сейчас, наверное, единственный в мире, кого ежемесячно стригут наголо. Де-юре он еще даже и не заключенный, а всего лишь подследственный, ан нет — уже оболванен, ибо всем известно, что раз тебя арестовали, то так или иначе срока тебе не миновать. Лишь тем, кто сидит под следствием по обвинению в государственном преступлении, разрешают носить волосы, и потому, увидев в этапном вагоне лохматого, смело утверждай, что он, только-только получив срок, едет из следственного изолятора КГБ.

В первый по прибытии в нашу зону день Альберт еще был с волосами и только на следующее утро его остригли. Волосы у него были замечательно хорошие — густые, в меру вьющиеся, русые...

Специалисты утверждают, что не полысевший к 40 годам и в гроб сойдет волосатым. Альберт, к слову сказать, не из тех, кто вечно обеспокоен тем, как он выглядит, тем более его никогда не волновало соображение, будет ли он из гроба сиять лысиной своим неутешным родственникам и друзьям или сохранит юношески буйную растительность, да и саму возможность респектабельно покоиться в гробу он полагал для себя довольно проблематичной. Несмотря на то, что у него были замечательные волосы, он редко пользовался расческой, так как большую часть своей жизни был острижен наголо.

Автор на глазок прикинул, что из прожитых Альбертом 35 лет 23 года он проходил, что называется, оболваненным. Первый раз его остригли под машинку в четырехлетнем возрасте — из гигиенических соображений: педикулез в те годы был явлением нередким, а мыло — товаром дефицитным; позже его стригли наголо из соображений экономии: стрижка под машинку дешевле — пусть и на мизер — самой какой-нибудь простенькой челочки.

К великому сожалению, у Альберта не сохранилось ни одной фотографии (он их все уничтожил), за исключением той, детской, о которой уже упоминалось. Позже автору удалось внимательней рассмотреть этот снимок, и тогда же автор узнал, что сделан он в начале лета 1945 года неким «дядей Васей-старшиной», который привез с фронта не только два ряда медалей и костыли вместо правой ноги, но и объемистый сидор с часами, кольцами, зажигалками, бритвами и громоздким фотоаппаратом фирмы «Кодак». Все трофеи он, конечно, быстро пропил, а фотоаппарат шмякнул в пьяном кураже о стену дома и, свирепо матерясь, долго топтал его ногами под фальшиво соболезнующие охи и ахи соседок и голосистые проклятия жены.

Однако в первый день по возвращении из фронтowego госпиталя дядя Вася, молодевавший, несмотря на костыли, веселый, в рыжих усах, снимал, озорно балагурия, всех жителей двора, старых и малых, скопом и по одиночке. Фотокарточки он отпечатал уже значительно позже и сам разносил их по квартирам, выклянчивая в обмен рублевку, а за отсутствием таковой — всякую всячину: от порожних бутылок до коробки спичек. Это было уже в то время, когда дядю Васю-старшину начали замечать у Преображенского кладбища. Там их видимо-невидимо

собиралось, от рынка к кладбищенским воротам, один возле другого — шеренга исковерканных статуй: кто без рук, кто с костылями, а тот и вовсе увешанный медалями обрубок... и перед каждым рваный треух или измызганная «сталинка» с горстью медаков.

Альберту в том году исполнилось семь лет. На снимке он стоит с тряпичным мячом в руках, лицо в разводах грязи, рот до ушей в счастливой ухмылке. Автор с чувством щемящей грусти отметил, что из всей футбольной оравы лишь один Альберт острижен наголо. («Жили мы беднее бедного: отец погиб в 1942 году, а мать всю жизнь уборщицей», — пояснил Альберт, очевидно, поняв нацеленность вопросов автора о том, когда и сколько раз его стригли под машинку.)

В том же 1945 году Альберт пошел в школу. Времена были серьезные, и у тех, кто за лето обрастал легкомысленными вихрами, учителя насильно выстригали полосу поперек головы. И только в седьмом классе школьникам позволялось носить волосы — не более пяти сантиметров. Таким образом, с четырнадцати до девятнадцати лет — самый «волосатый» период в жизни Альберта. Потом его забрили в солдаты, а там — после небольшого перерыва — пошли лагеря.

По словам Альберта, всякая стриженность у него ассоциируется с тюрьмой, казармой или школой.

Впрочем, следует заметить, что безволосость не уродовала Альберта, в отличие от подавляющего большинства людей, как уже оболваненных, так еще и прячущих под волосами корявые, седловидные, сплюсненные черепа. Автор, сам большую часть своей жизни проходивший стриженным, припоминает, как, освободившись в 1968 году после первого срока, он не раз ловил себя на том, что чуть ли не всякого встречного-поперечного невольно рисует в воображении оболваненным и обряженным в полосатую робу... и многие тут же утрачивали в его глазах свою важность и самоуверенность: в лагере они бы сникли, съежились, как проколотый воздушный шарик; в лагере многие из них стали бы тем, что автор не очень интеллигентно именуется «дерьмом». Об Альберте же можно даже утверждать, что как одежда скрадывала совершенство его пропорций, так и волосы частично прятали его отлично вылепленный череп.

Лицо у него грубой резки (из тех, которые, пока его обладатель молод, редко нравятся его юным сверстницам, но часто

— умным климактеричкам), несомненно волевое, порой жесткое, замкнутое, нередко ядовито-ироничное, глаза серые, до оторопи внимательные, нос прямой, не очень толстый, губы хорошо очерчены, верхняя чуть уже нижней, подбородок крутой... Впрочем, все это очень приблизительно.

Автор долго сидел, грыз кончик карандаша, мучась поиском слов, способных обрисовать лицо Альберта так, чтобы поточнее передать натуру. Но увы!.. Альберт не без оттенка горделивости сообщил автору, что одно время он подрабатывал в Суриковском институте натурщиком и никому не давалось его лицо, так что в конце концов преподаватели художественного института стали рекомендовать его студентам лишь как натуру для торсовых рисунков, поясняя, что «это лицо им пока еще не под силу». Но оказалось, что «это лицо не под силу» и профессионалам (очевидно, все же средней руки): уже в заключении Альберта пытались изобразить два дипломированных художника (кого только не встретишь в лагере!), и каждый из них потом оправдывал очевидность своей неудачи тем, что, несмотря на резкость черт, есть в этом лице некая особая живинка, все как-то странно одушевляющая, и вот именно ее-то никак не ухватить.

* * *

На осторожный вопрос о том, была ли у Альберта девушка, прозвучал довольно резкий ответ: «Была да сплыла». Автор более не осмеливался затрагивать эту деликатную тему. Однако позднее он все же узнал, что Альберт сам отказался поддерживать какие-либо отношения не только с этой девушкой, но даже и с матерью.

— Пока не расплачусь с этой сволочью... — сказал он.

— Так мать-то тут при чем? Ей-то какво? Ей ведь вся эта грязь непонятна!

— Знаю, — отрубил Альберт, отвернувшись к окну (автору почудилась мучительная слеза в этом резком «знаю»). — Я, — помолчав, добавил он, все так же смотря в сторону, — написал ей и все объяснил... Она два раза приезжала на свидание, но я не пошел... И письма тоже не беру.

В 1970 году мать Альберта вышла на пенсию и получает от государства 50 рублей. Он ежемесячно отсылал ей почти все заработанные деньги (когда 10, когда 20, а то и 30 рублей), оставляя себе лишь десятку — на ларек и на книги.

По мнению автора, лучше бы он вместо этих денег посылал ей письма.

* * *

О политических взглядах Альберта автору практически ничего не известно. Лишь однажды, когда в камере вспыхнул на редкость горячий спор по поводу восклицания Дубельта после ареста петрашевцев, Альберт неожиданно вклинился в наш крик и сказал нечто заслуживающее воспроизведения на этих страницах в качестве единственного свидетельства его политической неблагонадежности.

Автор затрудняется восстановить горячую путаницу камерного спора: один кричал одно, другой — другое, третий — третье, и в конце концов оказалось, что каждый имел в виду нечто четвертое... Вот какой это был спор.

Неожиданно Альберт, молча, но явно заинтересованно слушавший наши препирательства, приподнялся на нарах и спросил:

— Как он, этот Дубельт, сказал? Я не все уловил...

Автор повторил слова Дубельта: «Вот и у нас заговор! Слава Богу, что вовремя открыли. Надивиться нельзя, что есть такие безмозглые люди, которым нравятся заграничные беспорядки! Всего бы лучше и проще выслать их за границу. А то крепость и Сибирь никого не исправляют...»

Альберт желчно усмехнулся и опять было разлегся на нарах, но потом сел, свесив ноги вниз:

— Российскому бы «порядку», — серьезно и негромко заговорил он, — толику западного «беспорядка» — цены б ему не было. А так что же? В жизнь бы не поверил, чтобы за пару вшивых листовок могли вклеить семёру. А вот вклеили же мне: я думал, года два дадут, ну три... Ан нет! Да и вы вон все: за что сидите? С ума сойти! И вдруг, бывает, вычитаешь, как в той же Америке расхваливают советские порядки — с души воротит!.. Поехать бы туда и предложить... — он замолчал, задумался и насмешливо хмыкнул.

— Ну? — подтолкнул его один из нас. — И что бы ты там?

— Да, так, фантазия одна... Вот мелькнуло: ввести бы там 70 статью, аналогичную здешней.

— Ты что? — дружно обрушились мы на него. — На кой ляд тебе тогда эти США, если там будет семидесятая статья.

— Да нет, вы меня не поняли, — он насмешливо сморщил-

ся. — Там же тех, кто расхваливает СССР, видимо-невидимо. Ну, пока они лают свои порядки — это их дело, но когда они выставляют СССР в качестве демократического образца, — вот тогда бы к ним и применять семидесятую — точно так, как ее применяют здесь. Так сказать, для наглядной демонстрации советской демократии. А еще бы лучше: сажают тут за антисоветскую агитацию какого-нибудь Иванова или Рабиновича — и там тоже сразу: цап двоих за просоветскую агитацию; этим по семь лет — и тем тоже, да еще указать, что Иванов и Рабинович всего-навсего осмелились заикнуться вот о чем, а эти десятки лет гремели и с трибун, и в газетах... Да создать точно такие, как здесь, лагеря и держать в точно таких же условиях... В таких же! Только доступных для всех любопытствующих: приезжайте, желающие, гляньте на образцовую демократию! И заявление: сколько вы арестуете — столько и мы, вы судебную комедию — и мы тоже. А? — он коротко хохотнул.

Автор едва удержался от ядовитой реплики типа: «Вот истинно русский мальчик! Америки и в глаза не видел, а порядки ее перекраивает». Но вместо этого он провокационно поощрительно произнес:

— Да ты, я вижу, законченный контрик!

— Не-е-т, — протянул Альберт и как-то безнадежно махнул рукой. — Все это меня мало волнует. Конечно, больно за Россию, но и там тоже не лучше, по-своему... Мне не до того, — он коротко взглянул на автора, — не до того!

Упомянув в свое время о косвенном признании Альберта в подверженности каким-то комплексам, автор об одном из них фактически кое-что уже рассказал: о комплексе поиска истины.

(Во избежание возможных недоразумений автор считает необходимым пояснить, что под комплексом он в данном случае понимает некую группу представлений, связанных единым мощным аффектом, группу, которая необязательно вытесняется в подсознание, чтобы осуществлять оттуда партизанские вылазки с переодеванием, фальшивыми документами и т.п., но, если даже она частично и вытеснена, она через своих полномочных представителей откровенно давит на сознание, диктаторски подчиняя себе духовно-душевную жизнь человека, в ущерб иным представлениям и аффектам. Ну и т.д. Специалист враз заметит отличие авторского понимания «комплекса» от традиционного психоаналитического, и автор спешит

оправдаться, что данная дефиниция не претендует на широкое употребление и является всего лишь наспех сооруженным подручным средством для решения локальной задачи: обрисовки внутреннего облика Альберта.)

Итак, об Альбертовом комплексе поиска истины, которому он был подвержен в юности и который позже был почти вытеснен другим комплексом.

Есть люди, которым все ясно. Они восхитительно уверены, что несут человечеству свет, — эдакие Прометеи. Другие, большинство, не шибко-то мучаются над всякими внемамонными вопросами, но есть натуры, которым истина нужна позарез.

— Ну и что же? — любопытствовал автор.

— А ничего.

— Не нашел?

— Нет.

— Но хоть теперь-то ты отдаешь себе отчет, что именно ты искал? Какую истину? О зарождении жизни на Земле? О некоей первопричине всего? О справедливом упорядочении людского хаоса?..

— И это тоже. Но не в первую очередь. Важнее понять: что человек? зачем он? что ему делать ради правильной жизни? и что такое эта правильная жизнь?.. Не побояться задать себе кардинальнейший вопрос: если нет запредельного смысла, то все же зачем жив человек — это вместилище вонючих кишок и духовных порывов? Конечно, спрашивали уже это, но спрашивали в том веке, когда даже атеисты были в глубине души верующими... А теперь? Неужели-таки чистый биологизм? А ведь к тому идет, увидишь через два-три десятка лет, когда окончательно отомрут ныне еще полуживые рудименты прежних моральных основ... Или зарождение новых религий? Или, может, ренессанс былых — после шабаша всяких сатанинских секточек? Вот в таком ключе.

— Да... — удрученно протянул автор. — Ну и? В конце-то концов, к чему ты пришел? Насчет человека-то?

— Насчет человека? Да считай, что ни к чему. Для себя-то я решил, что надо быть сильным и справедливым, независимо от возможного ответа на все эти «что», «зачем» и «почему»... Если такой ответ вообще мыслим... Только я и силу, и справедливость тоже по-своему понимаю: сильным не для того, чтобы

властвовать над другими, а чтобы, упав в грязь, суметь подняться. А справедливым — это не «всем поровну» и даже не «каждому свое», а, скорее: «за добро добром и за зло злом». И еще я усвоил одну маленькую истину, что не надо спрашивать с человека слишком многого: святых нет, есть лишь святоши. Я согласен, что в человеческой душе заложена потенция добра, но у среднего человека она может реализоваться лишь в особо благоприятных условиях, когда доброта тут же оплачивается — хотя бы ответной благодарностью. А так, чтобы доброта не смотря ни на что — этого нет, этого не спрашивай. Да и до того ли? Не кусали бы друг друга — и то хорошо! Ну, а вообще-то, — продолжал он, — всеобъемлющей, для всех одинаковой истины нет, не может быть, и она, такая, даже и не нужна. А если объявится такая — я ей все равно не слуга: от нее заранее кровью пахнет. А есть живые люди и их отношения, и нет ничего важнее того дела, которым ты сейчас занят, той боли, которая сейчас болит, того человека, в глаза которому сейчас смотришь... Нельзя откладывать *этого* дела, не лечить *эту* боль, отворачиваться от *этого* человека ради каких-то других дел, болей, людей. Они только кажутся важнее *этих* или мы прячемся за ними, чтобы увильнуть *от этих*...

Мысль не из самых новых, но автору было не до того — он не мог не воспользоваться благоприятным моментом и с жаром воскликнул:

— Это верно! Ну так и плюнь на эти свои поиски того гада, живи, как говоришь: сегодняшним делом, болью, человеком! А то ведь...

Глаза Альберта холодно сузились:

— А та боль и есть моя сегодняшняя... всегдашняя. Больше ее и сегодня ничего для меня нет. Вот вылечусь, тогда посмотрим...

— Ну, брат, это софистика! Так-то и всякий вывернется, назвав отвлеченнейшую идею своим *сегодняшним* делом и болью... Так-то и через трупы *ближних* перешагивают, не говоря уж о дальних...

— Да, так... Я тебя понимаю. Пойми и ты меня. Поставь себя на мое место... Что глаза-то отводишь? Не можешь?! Тот-то! — он горько усмехнулся. — Конечно... Только не толкуй мне об идее фикс, мании, паранойе и т.п. Я сам тебе все это могу сказать... Пусть я маньяк, но иногда только в качестве

маньяка и можно остаться человеком. Ты ведь знаешь, как выглядят «петухи»! Или ты жалеешь, что я тогда не смирился? Чем бы я был теперь? Пустил бы ты меня к себе в камеру?

Автор не нашел, что ответить, к тому же ему помешал при-
мостившийся рядом каратель. Вообще все эти разговоры, трудные сами по себе, велись очень трудно еще и потому, что в камере на такие темы не разговоришься, ибо они не терпят посторонних, а в цеху стоит отойти с человеком в уголок, как рядом начинает вертеться, шевеля ушами, всякая сволота.

* * *

Теперь самое время поведать о другом, ведущем комплексе Альберта, которому автор затрудняется дать благозвучно-
лаконичное название. Может, «овидиев»... Имея в виду слова Овидия: «Справедливо, чтобы убийцы погибли от убийства»... Хотя нет, ведь тут речь идет о справедливости по отношению к убийце, а не к тому, кто его намерен убить, сам превращаясь в убийцу... Как же тогда? Наверное, придется обойтись без названия — тем более, что это чистой воды дилетантство.

Вообразите себе человека, которому нагадили в душу, и он помешался на том, что, пока не разыщет мерзавца и не убьет его, он не может считаться человеком. Вот приблизительно то, что автор тужится определить одним-двумя словами и не находит их.

Альбертом владела маниакальная потребность посредством некоего внешнего деяния очистить душу от дерьма. Так богобоязненный грешник однажды, бросив детей и дом, пускается в тысячемильное босоное паломничество, дабы, коснувшись святыни, очиститься от скверны; так верящий в магию ищет в древних манускриптах жесты и абракадабру, совершив и выкрикнув которые, он подчинит себе духов... С той существенной разницей, что Альберт в глубине души *знал*, что внешним он свое внутреннее не вылечит. И все же потребность совершить некое магическое действие владела им всецело.

Альберт болезненно, слишком болезненно, реагировал на всякую несправедливость или на то, что казалось ему таковой. В этом одно из объяснений его трагедии. И первые свои три года он заработал именно из-за излишне горячей реакции на несправедливость.

Как-то засиделся он у приятеля допоздна и, спохватившись,

что мать будет беспокоиться, вприпрыжку припустился домой. На его несчастье, неподалеку только что кого-то зарезали, и двум оперативникам в штатском Альберт показался подозрительным. Они бросились выкручивать ему руки, он, приняв их за грабителей, начал вырываться. Тут подоспел милицейский мотоцикл, Альберта безжалостно избили и, бросив в коляску, увезли в отделение милиции. Наутро выяснилось, что Альберт был задержан по ошибке, и перед ним распахнули двери камеры. А он, вместо того чтоб обрадоваться, отказался покинуть милицию, требуя наказать тех, кто избил его. Его стали вытаскивать из камеры, он начал упираться и доупирался до трех лет по статье за хулиганство.

— В лагере я сперва то и дело вскидывался, — сообщил автору Альберт, — а потом смотрю: нет, так пропадешь ни за понюшку табаку. Тут же волк на волке и концов не отыскать: вступишься за слабого, а он, глядь, завтра сам слабейшего жует... Ну и махнул я на все рукой, понемногу обзавелся книжками кое-какими и старался не смотреть по сторонам, чтобы сердце не бередить.

* * *

В одном из случайных обменов репликами Альберт сказал следующее:

— Если ты не сделал все, чтобы ответить ударом на удар, — ты не человек. Отбрось в сторону все, ничто не может быть важнее — ударь любую ценой! И будь что будет!

* * *

Летом 64-го года Альберт находился в одном из больших лагерей Калининской области. Вел он себя тихо-скромно, тоскливо высчитывал дни, оставшиеся ему до конца срока. Видимо, обманутый его тихостью и скромностью, к нему несколько раз подкатывался один заядлый «петушатник» — все обнять норовил... И однажды Альберт прямым в челюсть послал его на землю. Через некоторое время (оставался 341 день до свободы) в рабочей зоне Альберта, ударив по затылку, чем-то тяжело-мягким, оглушили, связали и изнасиловали двое.

В тот же вечер Альберт, вооружившись молотком, разыскал одного из насильников и проломил ему голову. Второй, узнав об этом, убежал на вахту, его, как водится, спрятали в изоляторе, а потом перевели в другой лагерь.

Следователю Альберт лишь в двух словах сообщил о факте насилия, а потом замкнулся и не отвечал ни на какие вопросы. Особенно плохую службу сослужил ему отказ от судебно-медицинской экспертизы.

На суде он тоже был чрезвычайно немногословен. Его объяснение мотивов убийства было сочтено бездоказательным. Привезли насильника. Он, конечно, все отрицал. «Но почему, — спросил председатель суда, — именно за вами и вашим дружкой К. гонялся с молотком подсудимый?» Свидетель пояснил, что накануне С. из хулиганских побуждений публично избил его, свидетеля, тогда он со своим другом К. пригрозил С. мстью, и, очевидно, желая опередить эту мсть... Вскочив со скамьи, Альберт выкрикнул: «Найду и задавлю! И через сто лет! Где бы ты ни прятался!..»

За убийство из хулиганских побуждений Альберт, дали пятнадцать лет.

— Ну и что же? — спросил автор.

— А вот и то же — ищу.

— Девять лет?!

— Почти девять. Теперь ведь не то что когда-то: блатные назначали какую-нибудь зону для всесоюзного воровского сходняка и ухитрялись съезжаться туда из всех лагерей — от Карелии и до Магадана... Мне за эти девять лет удалось побывать в семи зонах и двух тюрьмах. Прослышу, что он где-то там поблизости, и начинаю мозговать, как туда попасть. Сам знаешь — через карцеры в основном. И все неудачно. Но зато теперь...

— Что теперь?

— Добрался. Он здесь.

— Как здесь? Кто?

— Самец.

— Самец? Так это Самец? Но он ведь в тюрьме сейчас.

— Ничего, теперь-то он от меня не уйдет. Это ведь не уголовная зона, из которой можно удрать в другую, благо их не счесть. Отсюда только одна дорожка — во Владимир. Там я его и поймаю.

Сказано это было до жути спокойно, как нечто, абсолютно не подлежащее никакому обсуждению. И все же автор не удержался:

— Да стоит ли, Альберт?

— Что? — удивленно поднял он брови.

— Да все это. Такой толковый мужик, и так тебе этот лагерь в печенки вьелся, что ты, ненавидя его, весь во власти его извращенной логики... во всяком случае, в этом вопросе. Ведь только за проволокой *это* такой уж позор, а на воле... Да ты так никогда и не освободишься! Плюнь ты на все это!..

Автору и сейчас тяжело, едва он вспомнит взгляд, которым отбросил его от себя Альберт.

* * *

Самец — здоровенный детина лет сорока, с широкой, как бабья задница, мордой, облепленной какими-то бородавками, с тусклыми глазками, шныряющими около сплюснутого ноздрявого носа, с жабьим ртом и луженой глоткой. Когда-то он ходил в блатных, потом «ссучился» и в конце концов, спасая свою шкуру, был вынужден бежать из всех уголовных зон. А бежать в таких случаях можно лишь двояко: в «заплетку» под автоматный огонь или в лагерь для государственных преступников, для чего достаточно наклеить на стену барака пару-другую листовок — не важно, что в них какая-нибудь чушь собачья, важно обложить матом власть и призвать к ее свержению...

В нашей зоне таких беглецов человек пятьдесят, из них лишь трое-четверо порядочные люди, а остальные — погань немыслимая, что называется, пробы негде ставить. Нет такой подлюсти, на которую они не были бы способны ради пачки чая из начальственных рук. Мы бы и рады держаться от них подальше, но как с ними разминешься на нашем-то пяточке? И верховодил у них как раз Самец. Но, несмотря на верную службу, начальство все же вынуждено было в конце 72-го года отправить его во Владимирскую тюрьму. Формально ему дали три года тюрьмы (что называется, из своего срока) за то, что он до сиреневости избил свою очередную «любовь», некую Жанну, изменившую ему, пока он был в больнице. Но на самом деле, отправив Самца в тюрьму, начальство спасло его от мести политических заключенных, ибо дело шло к тому, чтобы расправиться с ним самым беспощадным образом за серию наглых провокаций.

* * *

Воскресным утром в конце февраля, когда надзиратель в коридоре прокричал: «Выходим на прогулку!», Альберт сунул в

руку автору записку: «Останься в камере — надо поговорить».

Это был самый долгий (40 минут) разговор за все полтора месяца, и многое из того, что автор уже рассказал об Альберте, он узнал именно в тот день.

— А вы что же не пошли гулять? — подозрительно прищурился надзиратель, когда, закрывая дверь, увидел нас.

— Приболели, командир, — ответил автор и улыбнулся как можно искреннее. Дверь захлопнулась.

— Я хотел с тобой попрощаться, — начал Альберт. — Завтра утром заступает на дежурство Глинов — я его попугаю малость. Мне, конечно, все равно, с кем сцепиться, — все они хороши, но Глинов, я вижу, придирается к тебе по каждой мелочи. Я его попугаю немножко, а то им, гадам, платят двадцатипятипроцентную надбавку «за страх», а они нас не боятся... Надо бы захватить ему под ребро, но тогда от статьи не отъерзтеться, а так: «убью, мол, такой-сякой» — дадут трешник из своего срока и все. А главное — быстрее: вот увидишь, через пару недель я буду во Владимире.

Он был радостно возбужден, словно в предвкушении поездки на какие-нибудь райские острова, где лишь солнце и море, пальмы и пляж, по которому ходят голые девки с заграничной грудью.

В ходе этого разговора, из которого, как уже упоминалось, автор почерпнул наиболее значительную часть сведений об Альберте, он, в частности, узнал, какой крест целых девять лет нес Альберт.

— Знаешь, что такое в уголовном лагере слыть «петухом»? Пусть и поневоле... Нет, это тебе только кажется, что ты знаешь. Конечно, оставь они меня в той зоне, где все началось, мне было бы легче: кому охота рисковать головой? Но меня же увезли в тюрьму, а там сразу: «Петух!» Ну, тому в зубы, другому... А они же кучей наваливаются бить. Из карцера я почти не выходил. Как еще только жив остался? И мысль, как кипяток: ну, убью одного-другого, а Семец как же? Ведь меня разменяют... Стиснул зубы и терпел. Так со стиснутыми зубами и живу... У вас только немного отогрелся. Но пора!.. Правда, — продолжал он, — потом-то я нащупал более или менее надежный способ отшивать «петушатников». Попадаю в новую зону или там в камеру, если в тюрьме, и сразу объявляю всем: «Так и так. Двое сук меня насильно опедерастили. Одного убил,

другого найду и убью. По вашим меркам я «петух», по натуре своей — нет! Если у вас сохранилась хоть кроха арестантской совести, оставьте меня в покое». И меня обычно обходили — чувствовали, что дело-то серьезное... Впрочем, всякое бывало. Все свободное время я читал, читал и читал. Не будь книг, ей-Богу, давно бы уже повесился. А года два тому назад начал опять помаленьку спортом заниматься. Да, сам знаешь, какой в лагере спорт. Но все-таки... Ведь Сامةц все такой же здоровый?

— Здоровая скотина.

— Ну вот. Я, конечно, никогда не сомневался, что одолею его, даже не задумывался об этом сначала — лишь бы разыскать!.. Да и велика ли нужна сила, чтобы убить?

— Так какого же черта ты все читал, читал и читал, если все это идет к расстрелу?

— Погоди, — досадливо поморщился он, — я еще не все сказал. Конечно, надо бы его убить, мерзавца, но... честно говоря, и мне пожить еще охота. Я ведь еще не жил. Значит — и отомстить, и выжить. И невинность, как говорится, соблюсти, и капитал приобрести... Слаб человек! — он ядовито усмехнулся. — Сейчас у меня тринадцать лет. Ну, добавят до пятнадцати пару годиков. Это если я его в этом году поймаю, а коли в следующем, то уже три добавят. И так далее. Значит, чем скорее, тем лучше для меня. Удастся в этом году, то освобожусь в пятьдесят лет. Еще проживу немного... Раньше-то лишь одно в голове гудело: убить! Только я теперь другое надумал — думал, думал и надумал. Не-е-т, я его убивать не буду!

— А что же?

— Потом узнаешь.

Когда в коридоре послышались громкие голоса возвращающихся с прогулки арестантов, Альберт вручил автору тетрадный листок в косую линейку, сказав:

— Это копия объяснения, которое я напишу следователю, когда все свершится. Разговаривать я с ним не буду.

Автор приводит этот документ полностью:

«Объяснение. В ваших лагерях царят ужасные порядки. Честному человеку, случайно оказавшемуся в заключении, здесь нет жизни. В 64-м году я подвергся гнусному насилию. Ваш закон не может ни защитить меня, ни восстановить мое человеческое достоинство. Я сам судил моих обидчиков и од-

ного покарал смертью — в том же 64-м году. Другой теперь тоже наказан. Только с этого момента я снова считаю себя человеком. Можете теперь меня расстрелять. Альберт С.»

* * *

Утром во время развода на работу Альберт нарочно замешкался в камере, а когда прапорщик Глинов прикрикнул на него, взвился:

— Ты что, сволочь, цепляешься? Ты, я вижу, все к нашей камере цепляешься. Заявляю официально: или пусть *тебя* уберут из зоны, или меня, а не то расколю тыкву.

Ну и так далее, как водится в таких случаях.

Альберта упрятали в одиночку, а еще через несколько дней административный суд счел необходимым отправить его на три года в тюрьму.

Когда Альберта брали на этап, он крикнул на весь коридор:

— Прощай! Слышишь, прощай!

— Альберт! До свидания! Прошу тебя: до свидания!

— Прощай! — донеслось еще раз.

Я не мог сдержать слез.

* * *

Осталось поведать о том, что удалось вытянуть из бестолкового Февраля.

Если арестант впервые попадает в тюрьму, его держат на так называемом строгом режиме два месяца, а попавшего вторично — полгода, чтобы он стал более стройным и благородно бледным. Только после этого его переводят в общую камеру и начинают вместе со всеми гонять на работу.

Самец, прослышав о появлении Альберта, сперва не на шутку струхнул, но вскоре ему передали, что этот Альберт мужик тихий, забитый какой-то, все книжки мусолит и про Бога толкует: не то он иеговист, не то субботник — не разберешь...

Минуло полгода, Альберта наконец перевели на общий режим и, как обычно, сперва неделю продержали в тюремной больнице (чтобы не шатался на ходу), а уж потом вывели в цех. В первые два дня Самец не появлялся на работе, прикинувшись больным, на третий день он зашел на минутку в сопровождении надзирателя и, пошарив глазами, облегченно буркнул что-то в ответ на приветливый кивок Альберта. На следующее

утро Самец появился в цеху как ни в чем не бывало. Альберта он еще сторонился, но уже не очень опасно.

Прошло еще несколько дней, была суббота, часов около 10 утра, когда Альберт с криком: «Защищайся, падла!» — бросился на Самца. Тот успел лишь замахнуться киянкой, как был нокаутирован хуком правой. Альберт выхватил из-за голенища нож и, обведя глазами притихших арестантов, громко сказал: «Кто сунется — зарежу!» Самец, немного придя в себя, приподнялся, очумело таращась на Альберта, — и тут же, оглушенный ударом киянки по лбу, вновь рухнул, уткнувшись носом в пол. Вытянув из кармана заранее припасенную веревку, Альберт связал Самцу руки, потом, полоснув ножом по его брюкам, спустил их до колен... Тут Самец очнулся, взревел медведем и задергался, как припадочный, едва не сбросив оседлавшего его Альберта. А тот опять потянулся за валявшейся рядом киянкой, и в этот момент с криком: «Что ты делаешь?» — на него навалился Тихоня-Нюня. Альберт ткнул его, не глядя, ножом, он вскрикнул и, схватившись руками за живот, повалился на пол.

Сухо щелкнула киянка — Самец обмяк, Альберт перевернул его на спину и... кастрировал под самый корень.

Потом, бледнее бледного, отшвырнул нож и приник ухом к груди Тихони-Нюни.

— А ну! — хрипло крикнул он. — Зови ментов! Врача!

* * *

Самца спасли, а Тихоня-Нюня умер той же ночью.

Альберта успели допросить лишь один раз — сразу после того, как все это произошло. На следующий день, в воскресенье, он узнал о смерти Тихони-Нюни и, сказавшись больным, не пошел на допрос. До самого вечера он что-то писал, а ночью перегрыз себе вены на обеих руках... Утром его нашли мертвым.

* * *

— А что он писал? И куда это делось? — допытывался я у Февраля.

— Не знаю.

— Кто ему сказал о смерти Тихони-Нюни? Надзиратели или, может, кто из наших?

— А кто его знает?

— Ну, ладно. А кто-нибудь подходил к его камере? Ну там, знаешь, словом перемолвиться или еще что? Держись, мол, говори так-то, мы, дескать, подтвердим?

— Не-е-т, как будто. Не знаю.

— А в окно он ничего не кричал вам?

— В окно кричал...

— Что?!

— Скажите Кузнецову... это... Ну вот!

— Да что же, черт побери, идиот ты безмозглый! Что? Что?!

Ну вспомни, прошу тебя, голубчик!

— Какое-то имя и топор.

— Имя? Почему имя? Какое?

— Не помню. Еще и про топор.

— Почему топор? Ты же говорил, у него нож был? А, да черт с ним, с топором этим — ты путаешь что-то... Николай? Андрей? Юрий?

— Не-е-т, женское имя.

— А-а! Наверное матери. Мария Федоровна?

— Нет, вроде бы...

...Я плюнул в досаде и, наказав Февралю напрячь память, пошел заваривать чай — напоить эту бестолочь, чтобы не обиделась. Насобирав обрывки бумаги и распалив костер за угловым станком, я ждал, пока закипит вода...

* * *

В ту последнюю ночь, которую Альберт провел в нашей камере, я долго не мог уснуть, что-то холодное ворочалось в груди возле сердца и жалобно повизгивало подзаборным щенком, из дальнего угла камеры сквозь пепельную полутьму на меня немигающе уставился чей-то огромный глаз — влажный, сочащийся укором и вопросом.

Из цеха доносился скорбный визг шлифовальных станков, в коридоре лающе хохотали надзиратели. Вдруг мне почудились какие-то странные квакающие звуки, я насторожился, приподнял голову. Это плакал, уткнувшись лицом в подушку, Альберт. Я натянул на голову бушлат и что есть сил зажмурил глаза.

Но сон, спасительный сон, все не приходил. Вот уже и цех смолк, вот уже и Альберт захрапел, сперва тихонько, подомашнему уютно, а потом все сильнее и сильнее... Мне было совестно будить его — я лежал, таращась в темноту и тоск-

ливо вслушиваясь в этот залиvistый жирный храп. Заворочался мой сосед, досадливо кашлянул раз-другой и громко зацокал языком — храп оборвался. Через минуту Альберт выпростался из-под бушлата и ныряющей походкой повлекся к параше... Я провалился в сон.

Утром во время завтрака тот, что ночью цокал языком, упрекнул Альберта:

— Ну ты и храпишь — аж мороз по коже!

— Так разбудил бы, — ответил Альберт.

— Да я тебя и так два раза будил... А потом ты кричал, помнишь?

— Что-то было вроде... А что я кричал?

— Про какую-то Лизавету, как-то: «Нет, нет, только бы не Лизавета!» Девчонка твоя, что ли?

Альберт сконфузился и слегка порозовел:

— Нет, — буркнул он. — Сон про Раскольниковца видел...

* * *

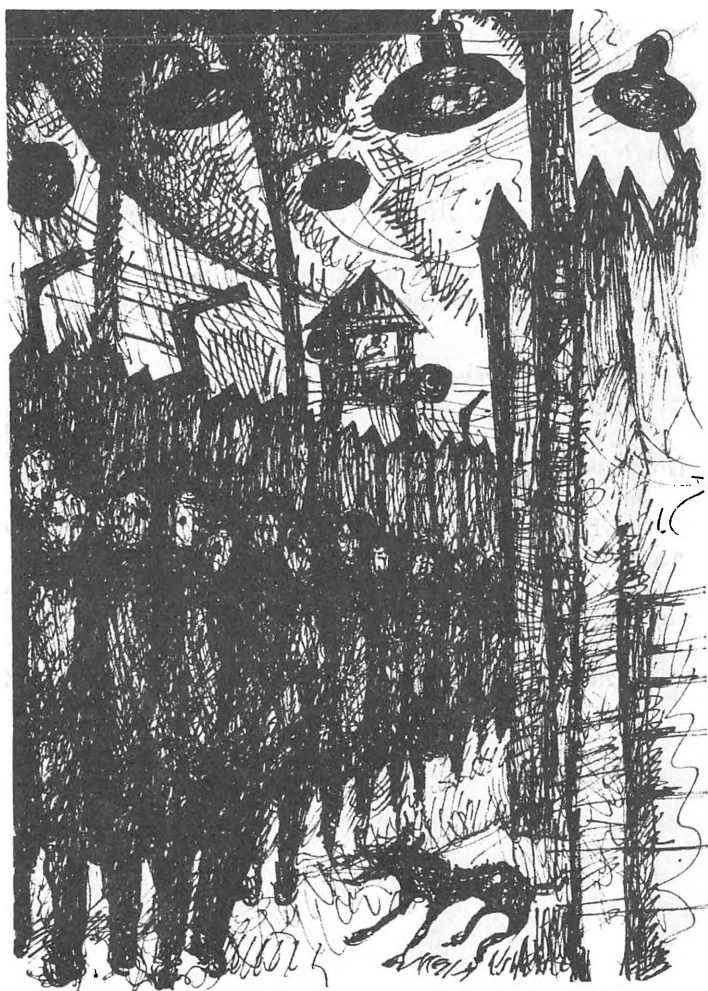
Отбросив кружку, я кинулся к Февралю.

— Лизавета?!

— Ага! — обрадовался он. — Лизавета! Так и крикнул: «Политические, политические! Слышите меня?» Мы ему: «Слышим!» Он и кричит: «Скажите Кузнецову: Лизавета и топор!..» Да вот в январе Колька-Журнал приедет, он тебе все расскажет — он как раз на решке висел...

Февраль еще шевелил толстыми губами, а я уже не слышал его.

Лизавета! Боже мой! Ведь это Лизавета Родиона Раскольникова! Он шел вошь убивать, а подвернулась и блаженная!..



О ВНУТРЕННЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Боюсь, ты отчасти права... Живем мы очень трудно, невообразимо трудно. Твоего лагерного опыта, поверь, недостаточно, чтобы постичь, какая мука — искать общий язык с дураками и нравственными уродцами. С превеликим удовольствием погнал бы их. Но куда их гнать? Ведь тогда они прикнут к нашим врагам. А нас и без того наперечет. Но всякому миролюбию, всякой заботе о сплоченном противостоянии неприятелю есть предел, за чертой которого измученное компромиссами нравственное чувство начинает судорожно биться в истерике, вопя: «Не нужно мне побед над врагом *такой* ценой — ценой союза с явной дрянью».

Я давно уже утратил способность сострадать тем падшим, которые не только не ужасаются собственной низости, но, напротив, будучи уличены в таковой, легко находят себе оправдание: высоко вознесясь в собственном мнении, такой на сто лет вперед разрешил и простил себе все.

И вспомни пословицу, что не страшна тюрьма стенами, а людьми. Кроме того, я отсылаю тебя к излюбленным мною «Запискам из Мертвого дома», где Достоевский говорит о рус-

ских дворянах в каторжном остроге, что «лучшие из них были какие-то болезненные, исключительные и нетерпимые в высшей степени», а о поляках сообщает: «...все они были больные нравственно, желчные, раздражительные, недоверчивые».

И еще: не поражало ли тебя, что на одного толкового бунтаря приходится минимум десяток бестолочей? Тут я не имею в виду поразительный феномен растерянности, паралича воли и откровенного страха, которыми одержим даже вчерашний фронтовой герой, ныне замахнувшийся на икону государства: подняться на государство — ведь это значит посягнуть на святую, уж неиспровергнутую разумом, но перед коей подкорка дрожит священным трепетом, ужасаясь святотатству. Наиболее тому яркие примеры дает история декабристов: их сомнамбулическая суета и стояние на Сенатской площади, их фантастическая бестолковость на Украине, их покаянные стенания на допросах... лишь тот, кому лично ведомо ледяное пожатие благословляющей длани божества по имени тираноборство, не удивится бестолковости декабристов, не осудит допросной дрожи их колен, захлестнутый волной болезненно-стыдливого понимания, сопереживания и родственного сочувствия.

Нет, я сейчас говорю о другой бестолковости, о бестолковости, так сказать, в чистом виде. Впрочем, и в охранке не велики мудрецы, но она может позволить себе роскошь комплектоваться всяческой бездарью, ибо мощь ее покоится не на качестве, а на количестве. Но черт с ней, с бестолковостью-то, это еще куда ни шло, хуже, когда под высокими знаменами рядом с теми немногими, кем движет бескорыстная любовь-ненависть, кишат случайные людишки, в основе политико-образного бунтарства которых лежит личная ущербность, неудачливость, честолюбивая потребность самоутверждения любой ценой или геростратов комплекс. Когда у тебя десять пальцев, расстаться с одним, пораженным гангреной, не велика беда, если их пять — тяжело, но еще куда ни шло, если же их всего два, то как отрубить один — последним и ложки не удержишь, и V не изобразишь, когда повлекут тебя к стенке... Вот и нянчишься с ним, кряхтя от боли, ночей не спишь, делая припарки-ванночки, а он день ото дня все черней да смердючей и уже распух в зловонную сардельку, грозя смертельной заразой последнему пальцу и всей руке...

Ты знаешь, что хаотическая атомарность в нашей банке всячески поощряется экспериментатором, едва он приметит признаки возможного выпадения кристалла, как вмешивается властной рукой. Но времена меняются: то ли экспериментатор стал слабоват глазами, то ли отвлекают его и пугают внешние шумы, то ли еще что, но кристаллик-то выпал. Хотя всякий кристалл жестко организован, в его структуре должно быть место и слабым, и сильным молекулам, он отторгает лишь элементы, несущие хаос и болезнь.

Одно утешение: нас стало меньше, но зато несомненно возросла наша жизнестойкость, воцарились согласие, взаимодоверие и дружелюбие. Далось нам это нелегко, порой мной овладевало отчаяние и казалось, что вся эта работа не достойна *таких* усилий.

Снова вечер. Я изрядно устал сегодня, и так хочется тишины. А мои сокамерники трещат без умолку — с трудом усмиряю волны раздражения. Сажу у печки — спине жарко, ногам холодно, с потолка зловеще тарашится желтый волдырь лампы.

Жмут меня в последнее время ужасно. Я забыл, когда пользовался ларьком. И это бы еще куда ни шло (хотя голоден, в отличие от остальных, сажу без гроша и, следовательно, без возможности как-то выкручиваться). Но меня лишили свидания. Удар сокрушительный — слишком многое я с этим свиданием связывал. Главное — старуху хотелось повидать (вряд ли в следующем году она сможет взять свою дряхлость в такую даль), ротером запастись (опять мучает желудок) и вообще, сама знаешь. К тому же для меня было важно обменяться с тобой (пусть и через третье лицо) информацией, некоторой толке каковой и будет посвящено это письмо. Но сперва о свидании: я-таки решил попробовать отвоевать его. Шансы невелики, но, учитывая то, что целых десять человек изъявили готовность помочь мне, я полагаю, что мне удастся навязать начальству выбор между свиданием и крупным скандалом. В связи с этим, прежде чем я ввяжусь в драку, мне необходимо выяснить совершенно точно, сможет ли Б. привезти матушку в начале апреля? То есть отпустят ли ее из интерната, позволит

ли ее состояние и тому подобное. А то все мои усилия могут оказаться пустыми. Узнай и сообщи мне определенно. Слишком это для меня важно.

О внутреннем положении. Призывая меня к терпимости, ты заблуждаешься относительно моей роли здесь и позиции. Лично я не задет ни одной из конфликтующих сторон, и потому мои мнения и предпочтения основаны не на почве какой-либо личной ущемленности, а базируются на интересах общего дела.

Дабы ты убедилась в том, что тут не может идти речь о личных обидах (как причине конфликтов) или скоропалительных выводах, я ознакомлю тебя с моим подходом к «казусу А» — это попытка наметить принцип подхода к таким ситуациям вообще (довольно типичным для лагеря, да и для лагеря ли только?). Я подчеркиваю со всей ответственностью, что тут нет *ни одного* пустого слова, что все сомнительное, все, что *почти* несомненно, но не может все-таки быть доказано *неопровержимо*, я опускаю.

До какого-то времени наиболее трезвым из нас удавалось удерживать за полы тех, кто рвался вынести сор из избы. Теперь он вынесен и, так или иначе, будет выставлен на всеобщее обозрение. Посему я озабочен сведением этой беды до минимума, и ты убедишься, что наиболее мягкая и наименее болезненная подача наших распрей возможна лишь в намеченном мною ракурсе. Остановлюсь на «казусе А». Готовясь к предстоящему обсуждению поведения А., я наметил факты, проблемы и задачи, которые нам предстоит осмыслить. Привожу свою запись частично. Некоторые факты: 1. А. сидит не один десяток лет; причем последние 15 лет ведет себя очень стойко. 2. В конце пятидесятых годов, публично каясь в грехах, хаял бывших соратников и призывал лагерников к «исправлению». Освобожден досрочно. 3. Через несколько лет снова посажен за антисоветскую деятельность. 4. Некий журналист-самиздатчик делает из него кристально чистого героя, борца и жертву (вполне истинными являются лишь последние два утверждения). 5. Эта версия подхвачена на Западе, и ныне А. — одна из икон тираноборческого иконостаса. 6. На самом деле он в чем-то очень неглуп, а в другом весьма недалек, к со-

жалению. 7. По единодушному мнению, А. — сумасшедший, причем агрессивный сумасшедший, что называется, «преследуемый преследователь». Я считаю, что это у него полоса сейчас такая, и он вовсе не безнадежен. Внешне проявления его безумия таковы: а) он утверждает, что Картер, Бжезинский, Папа Римский и Трюдо — агенты Кремля; б) уверен, что здешние рядовые надзиратели — на самом деле переодетые майоры КГБ; в) подозревает всех в сотрудничестве с КГБ и убежден, что все в свою очередь подозревают его в том же; г) считает О. майором КГБ, специально посланным в лагерь, чтобы следить за ним; д) уверяет, что О. по ночам смотрел на него, не давая ему спать, тайком перекладывал его тетради с места на место, чтобы спутать его мысли, испускал в его сторону особо враждебные флюиды, от которых не спасает даже специально сооруженный щит из газет, хотя общеизвестно, что газеты экранируют флюиды; е) ночью напал на О. и выдрал ему полбороды, потому что тот кашлем подавал какие-то сигналы... на Лубянку. Ну и так далее. Но поскольку А. требует, чтобы его считали здоровым, а также потому, что среди нас нет профессионального психиатра, мы вынуждены формально считать его нормальным, а следовательно, и вменяемым. 8. А. неоднократно угрожал убийством одному из старейших политкаторжан, а на днях он кричал на весь коридор, что оттяпает голову одному, другому, пятому, десятому, в связи с чем предлагаю дать ему кличку Головоотяп. Тот факт, что своим криком он немало повеселил злорадствующее начальство и уголовников, следует считать отягчающим его вину, а то, что, пофамильно перечислив тех, кому от оттяпает голову, он не назвал Мурженко, Федорова и меня, говорит о его хитрой дальновидности: он и впрямь рассчитывает на нашу защиту, забывая, что всему есть предел, ибо всякому миролюбию, всякой жалости, всякой заботе о сплоченном противостоянии врагу есть свой предел. 9. В письмах на волю А. объявил всех своих земляков сексотами (когда-то за такое враз убивали); 10. А. то и дело объявляет голодовки по самым вздорным поводам, что лишает нас возможности оказать ему поддержку.

Некоторые проблемы:

1. Как исправить промах того журналиста-самиздатчика? Ибо когда ныне славословящие А. увидят его воочию, то усты-

дятся, а враги наши опять (в который раз!) торжествующе завопят: «Вот они те, кого вы защищаете!»

2. Кто возьмет на себя деликатный труд довести до сведения того журналиста наш упрек: не строя себе никаких иллюзий относительно А., он погнался за внешне выигрышным материалом, идя навстречу потребности определенных кругов в иконе. Пора положить предел беспринципно дяляческим приемам в идеологической борьбе. Следует помнить, что единожды предавшему надо предоставить возможность кровью искупить свое предательство, чтобы заслужить право быть *рядовым* бойцом, в герои, а уж тем паче в *святые* возводить его ни в коем случае нельзя, ведь, кроме всего прочего, еще живы те, кого он предал...

3. Если бы мы сидели в поистине нормальной тюрьме, то нам следовало бы потребовать, чтобы А. направили на лечение в психбольницу. Но поскольку у здешних психиатрических заведений мрачная репутация, требовать отправки в желтый дом кого бы то ни было негуманно и двусмысленно.

4. Учитывая каторжный стаж А. и его «иконность», опасаясь быть непонятыми теми, кто воображает, что *такая* правда может быть вредной, мы многое спускали А. Но, в конце концов, мы же не психиатры, чтобы нянчиться с сумасшедшим и приветствовать плевки в лицо лучезарной улыбкой. Каторжная ноша каждого из нас и без того достаточно тяжела. Как быть, если нельзя бить? А если не бить, то как быть?

5. Большинство предлагает объявить А. сумасшедшим (что истинно), распространив при этом слух, что его специально свели с ума (что ложно).

6. Пока можно было терпеть, мы старались прятать от людских глаз наши семейные дразги, но буйство домашних тиранов становится все безобразней. Они решили, что наше беспокойство о реноме беспредельно, и пытаются на этом спекулировать, подобно алкоголику, вымогающему у жены последнюю трешку: «Давай! — кричит. — Или высажу окно и такой тарарам учиню!.. Пушай все знают, как ты родного мужа уважаешь!..» Реноме — штука важная и нужная нам позарез, но все же не любой ценой, реноме — хорошо, а правда — лучше. Ибо в конце концов все пройдет, а правда останется. Я настаиваю: единственно возможная позиция — полная правда, сколь бы она ни была некрасива и сложна. Мы уже неоднократно

обсуждали эту проблему, и я убедился, что не все из нас способны охватить ее во всей ее противоречивой сложности и главное — подать (раз уж вообще приходится подавать ее) в максимально выгодном для арестантов свете. Меня это настораживает, и я опасаясь, что те, кто возьмутся за эту тему, примитивизируют ее, сведя к декларативным обвинениям. Надо рассчитывать на предубежденного читателя — наша правда должна расплавить кору его предубеждения. Я предлагаю при обрисовке этой правды руководствоваться следующими установками: а) следует отделять истину от истерики; б) не всякий враг твоего врага — твой друг; в) каждый имеет право на безумие и на защиту от агрессивного безумия; г) поразительно, что в созданных нам условиях, все мы еще не спятили, поразительно, что мы каждодневно не бросаемся друг на друга, словно дикие звери; ликующим врагам нашим мы говорим: «Окажись вы в этом бедламе, вы давно бы уже одичали, а мы еще держимся кое-как; друзьям нашим, благодушно взывающим к миру и всепрощению, мы говорим: «Во-первых, уступки лишь поощряют агрессора, во-вторых, всякое движение, перестав быть кабинетной болтовней, обречено на болезненные акты избавления от балласта; в-третьих, не сотвори себе кумира, а паче из дерьма, сотворив же таковой, можешь лобызать его, но не принуждай к тому другого, и, в-четвертых, лучше меньше, да лучше! д) попытки персонифицировать ту или иную идею, то или иное политическое движение, порочны в основе своей. Заслуживает всяческого сострадания тот, кто репрессирован за достойную идею или правое дело, каким бы дрянцом он ни был сам по себе, ибо интеллектуально-нравственный уровень конкретного человека — не способ характеристики отстаиваемой им идеи: если поп невежда, развратник и пятница, это не значит, что Бога нет... и наоборот.

Наши задачи: а) помнить, что скальпель не самоцель, но лишь крайнее средство для спасения организма от смерти; б) мы обязаны пресекать мстительные по отношению к А. побуждения тех, кому он более всего напакостил; в) необходимо изыскать способы нейтрализации вредоносности А., при этом помятуя о его помешательстве, не загонять его в тупик, дабы дело не кончилось топором, петлей или новым покаянием; г) следует довести до сведения Комитета защиты прав человека в СССР наше мнение о необходимости заблаговремен-

ной деликатной подготовки общественного мнения к истинному восприятию А. и просить Комитет об активизации кампании за скорейшее освобождение А.; д) предложить Комитету предпринять усилия для освидетельствования А. объективным специалистом, дабы подкрепить требования освобождения А. ссылкой на закон о страдающих хроническим расстройством психики.

Теперь ты, надеюсь, поймешь, что наши конфликты отличаются от кухонных, и они не результат истеричной блажи сторон. Я счел эту тему достаточно важной, чтобы, отложив свои дела, написать не о чем-то сугубо своем, а именно об этом.

...Мое июньское письмо, насколько я понял, ты уже получила. Я соорудил его впопыхах, перед самым этапом... И всегда-то найдется оправдание неряшливости, неосновательности, легкомыслию: то спешка, то болезнь и погода... Чаше же всего наш брат любит многозначительно кивнуть в сторону эпистолярного Цербера, на которого чего-чего мы только не списываем и в первую очередь — свою душевную вялость, неподвластность нам слова, неумение обходиться без заборных лозунгов, единственно на которые, собственно, и натасканы местные церберы — псы злобные, но, как правило, туповатые. Для многих из нас — слишком многих! — ссылка на обстоятельства — всего лишь удобная маскировка личной несостоятельности. Разве тому не ярчайшее свидетельство — трагикомичная участь многих радетелей свободы слова (не говоря уж о прочих благах демократии), которые наконец эту свободу обрели... а сказать-то и нечего.

Разумеется, интеллектуальная нищета крикунов не отменяет общей правоты их былых требований и упреков, как и большой процент психопатов среди диссидентов (которых я подразделяю на несидентов, отсидентов и пересидентов) не может дискредитировать то движение, к которому они примкнули.

Перефразируя Жаботинского, можно сказать, что всякое движение имеет право на своих дураков, психов, юродивых и сволочей, — иначе это и не движение вовсе, а кабинетная химера. Но... не слишком ли их много? Иной раз поневоле задумаешься: кто к кому примыкает — дураки к нам или мы к ним?

Мы с удовольствием выискиваем дураков у чужих народов и во вражеском стане, а своих прячем... А зачем их прятать? Им просто не надо ходу давать, почаще говорить в глаза: «Послушай, братец, ведь ты дурак... Может, и благородный — даже наверное благородный — а все ж таки дурак». Впрочем, реальная свобода сама по себе для них разоблачительна. Или они и там умеют изыскать «обстоятельства», уподобляясь тому импотенту, который, имея приличные апартаменты, предпочитает обнимать девицу в парадном — всегда есть возможность тревожно прошептать: «Подожди минутку — кажется, кто-то идет».

Впрочем, меня, как обычно, занесло в сторону — я хотел сказать всего лишь об огорчительной некачественности своих писем и о благом намерении впредь быть аккуратней и обстоятельней, а вместо этого как бы продолжаю недавний спор — битву с некоторыми своими союзниками, которые больны всеми мыслимыми и немыслимыми недугами — от заурядной глупости до самых заковыристых умопомешательств (что, конечно, не лишает их права на всяческое сочувствие). Я оставляю за собой право когда-нибудь вернуться к этой теме, чтобы хоть отчасти раскрыть ее.

Никто из нас не лучше любого другого ни в каком отношении, всяк по-своему пригож и уродлив, каждый хорош на своем месте и черт-те что на чужом. Ведь это редко, чтоб и сапожник, и философ вместе, как Яков Беме.

Вот бедолага Горлопан — классный слесарь: железки всякие в его руках, что воск, — весело смотреть. Но в праздные минуты его влекут высокие материи — и горе обреченному слушать его! Вчерашний закадыка сегодня готов его съесть. Начальство наше опытно и хитроумно: ах, вы — друзья и все прогулочные 60 минут и шагу не шагнете врозь? Ну так дружите целый день, с подъема до отбоя... И все. И вроде бы даже гуманно. Но в камере, где на счету каждая крошка, каждый сантиметр, каждый глоток воздуха, горячая приязнь чахнет быстрее, чем прохладная терпимость. Дружбе нужна дистанция. Пространственный инстинкт так силен в человеке, что он

приносит ему в жертву и дружбу, и любовь. Пустяк готов стать поводом к войне — лишь бы не быть плечом к плечу с утра до ночи: «Хиромантия ему — херомантия, френология — хренология... Ну, это еще куда ни шло! Но слышать, как он зовет спертый воздух спернутым, — это выше моих сил!»

Гоголь верно заметил: «Всякий из нас по сто раз на дню бывает то ангелом, то чертом». То ангелом, то чертом — как раз и значит быть человеком. Когда бы не такая теснотища: сосед взмахнет крылом — с твоих ушей столб пыли, а чихнешь, глядь — у него уже рога торчат и у тебя лоб засвербил... Рога куда сподручней, и оправдание им всегда найдешь: ведь каждый для себя такой умница и совершенство... Нет коварней ловушки самоупоения, и лишний раз высунуть себе язык куда более достойно, чем носить тяжелый подбородок дуче.

Когда мне душно и совсем уж невтерпеж, нет лучше средства, как скорчить в зеркало гримасу и показать себе язык. Когда бы не ирония, разве вынести, не впад в цинизм, всемирный кавардак, когда б не юмор, разве ужиться с глупостью людской... и со своею тоже?

Мне по душе, что ты вняла моему совету. Помнишь, когда стало известно, что в Вене тебя будет встречать целая дюжина министров? Минимум умничанья, еще меньше патетики и, главное, краткость... Министры — такие же люди, как мы с тобой, только раз в пять посуетней. Они все ужасно занятые и явятся встречать тебя не столько по сердечному зову, сколько по служебной необходимости. Он вечером в бордель собирался или просто хотел подремать в шезлонге, а то, может, уже созвонился с приятелем — раздавить бутылочку втайне от жены, да вспомнил (бац себя по лбу рукой!): «Боже, ведь сегодня надо лететь встречать эту страдалицу из России! Как бишь ее зовут?.. Вот еще напасть!»

Я рад, что ты все это отлично понимаешь. И в первую очередь то, что все мы в значительной степени случайно попали в яркое перекрестье софитов паблсити. Тысячи и тысячи людей, более достойных, сгинули без вести, оболганные и проклятые. Чуть-чуть приотворилась калитка в мрачной стене, и сочувственное око европейцев разглядело в полумраке наши силуэты — вот и вся наша заслуга. Просто мы одни из первых, кого наконец можно назвать по имени. На нас излилось сочувствие к

тем миллионам безымянных жертв. Сострадание, которое прежде было вынуждено оперировать безликими цифрами с многими нулями, теперь с радостью ухватилось за возможность персонификации.



ВЕЛИК ЛИ ЛАГЕРНЫЙ ПЯТАЧОК

Ну ладно. Чтобы такое еще рассказать тебе? Не очень трудоемко — мне, верно, легче сосредоточиться, сидя на гвоздях, чем в этом круглосуточном гвалте... Не очень трудоемкое, не слишком скучное и вместе с тем характерное, чтобы донести до тебя лагерный аромат. О Люцифере и о том, как он уже лет десять пишет повесть о членах некоей тайной антисоветской организации, которые еще в XVI веке начали из Забайкалья подкоп под Мавзолей — взорвать его? К началу XX столетия они докопали уже до Урала, но дальше никак не могут пробиться, так как у Люцифера то и дело конфискуют тетрадь, а теперь и вовсе упрятали его в дурдом.

Или об уголовнике по кличке Кобыла? Он заслужил это прозвище тем, что все события и явления делит на две примерно равные группы: те, по поводу которых ему просто нечего сказать, и те, в связи с которыми он может глубокомысленно сообщить: «Да-а, хорошо кобылу е...ть, только целоваться далеко бегать». (Поистине, нет в мире совершенства!) Ему можно верить: это не народная поговорка, первоначальный подспудный смысл которой не разглядеть в обманчивом тумане прошлого. Это афористичный итог его личного опыта: в свое время он был лагерным возчиком и подрабатывал суте-

нерством — за чайную заварку или пачку папирос сдавал свою кобылу в краткосрочную аренду томящимся по женским крупам; за дополнительную плату у него можно было получить специальную подставку, а прислуживая особо почтенным посетителям, он собственноручно отводил своей Машке хвост в сторону.

Впрочем, извини, немножко чересчур ароматно. Хотя такой типаж и любопытен в качестве представителя здешней фауны, значительно интересней было бы исследовать ту луну, с которой он свалился, — благополучную советскую семью из папы-врача, мамы-учительницы и 14-летнего трудного подростка — хулигана и воришки. Однажды мама-учительница с плачем обратилась в милицию: помогите, дескать, перевоспитать Вову. Наша милиция в таких случаях отзывчива — Вову направили в детскую колонию, и мама уже целых восемнадцать лет ездит теперь к нему раз в год на свидание. Вова давно уже стал Кобылой, но все как-то не перевоспитывается... Старинная сказочка с вопросом в конце: сумеете ли вы, детки, угадать, кто тут потаскушка Красная Шапочка, кто лицемер Серый Волк, и кто толстая дура Бабушка? Детки, конечно, вмиг все разгадают, но вот задача: кого им в этой сказке полюбить, кому посочувствовать, кого пожалеть?

А вот еще о луне, с которой падают нам на голову некоторые «государственные преступники». Прочитал я как-то приговор некоего Волобуева, неплохого, кстати говоря, парнишки, выслушал его исповедь и вдохновил вкратце описать свои мытарства. Переписываю его жалобу без всякой правки, в комментариях она не нуждается. Нельзя ли отправить ее в генеральную прокуратуру? Может, там у кого шевельнется совесть? Допущение, конечно, фантастическое, но на что же еще надеяться парню? Малюсенький шансик его жалобы в ее искренности, но именно поэтому ей не проскочить через здешнюю цензуру. (Хотя нам и дозволено отправлять в прокуратуру закрытые письма, общеизвестно, что их вскрывают.) Чуть ли не ежедневно мы узнаем об освобождении политических заключенных в разных странах, а тут сидят «государственные преступники» с такими липовыми делами, за которые в порядочном государстве их разве что оштрафовали бы на

сотню-другую долларов. Если Волобуеву сняли бы 70-ю ст., то общий срок у него не убавился бы, но в качестве «чистого» уголовника он тогда приобщится к комплексу надежд, которых лишен сейчас: от пересмотра дела и условно-досрочного освобождения до амнистии...

«В президиум Верховного Совета СССР от осужденного Волобуева Вячеслава Васильевича. Я хорошо усвоил, что прошение о помиловании пишется через половину срока наказания, но поймите меня: бывает в жизни такое, что человек насытится по самое горло тем дерьмом, в которое его сунули, и, если ему не дать глотка свежего воздуха, он задохнется.

Я понимаю, что совершил очень тяжелые преступления (лишил человека жизни), за что получил 15 лет, а потом на 7 лет изготовил шесть листовок и четыре графических рисунка антисоветского содержания, и мне еще рано думать о помиловании, но знаете: с каждым днем мне становится все труднее и труднее жить в лагере — не сплю по ночам, бросаюсь из одной крайности в другую, думаю, мечтаю, переживаю, ругаюсь, смотрю на всех волком, окончательно опустился, совершенно перестал обращать внимание на свою внешность, месяцами не хожу в баню, в голове торчит колом такой вопрос: когда же, в конце концов, придет счастливая жизнь, когда же я смогу жить по-человечески, когда кончатся волчьи скитания по свету и по лагерям???

Когда начинаю рассказывать кому-нибудь из приятелей-осужденных свои мечты о том, как бы я сейчас устроил свою жизнь на свободе, с меня все смеются и говорят: «Ты, Славка, попробуй еще доживи до свободы-то...» А администрация просто-напросто не верит мне и злорадствует...: «Врешь, Волобуев, ведь ты не сможешь жить на свободе, тебя опять потянет в лагерь, и что ты уже привык к лагерной жизни, и что он для тебя как родной дом».

От злости не нахожу себе места. Ну почему мне не хотят верить? Что я, прокаженный какой-то или меня действительно считают пропащим человеком? Ведь мне же всего двадцать четыре года от роду, так неужели же в таком возрасте можно стать ненужным отбросом, которого необходимо держать в строгой изоляции от людей без всякой надежды на свободу??? Пусть и плохой, но все же человек!

Вот уже больше года, как я нахожусь в лагерной больнице —

у меня двусторонний туберкулез легких. И это в двадцать четыре года, а впереди еще двенадцать лет, которые надо отсидеть. Сейчас туберкулез, а там еще какую-нибудь заразу подхватишь, начнешь чахнуть и сдохнешь как собака в этих проклятых стенах, так и не увидев жизни!

Во многом, очень во многом виноват я сам, но надо бы и еще кое-кого посадить в лагерь за то, что жизнь моя пошла колесом, в первую очередь моих родителей и тех людей, которые своим воспитанием проложили мне путь к тюрьме и преступлению.

Сейчас напишу Вам, как я стал преступником, одним словом, опишу всю свою автобиографию, и тогда Вы поймете, почему мне так сильно хочется на свободу.

Из документов мне известно, что родился в 1952 году в Костромской области в хуторе Ершово. В 1953 году отец и мать разошлись, мать вместе с братом и сестренкой уехали к себе на родину, отец завербовался в Советскую Гавань, а я остался у его родителей в г. Ворошиловграде. В 1958 году отец вернулся и привез с собой другую мать — Шелегерд Нону Петровну. Вскоре они забрали меня от бабушки к себе домой.

Из жизни, которую я провел у отца и мачехи, вспоминается все только отрицательное, ибо жилось мне у них несладко. Помню, что мне у них не нравилось жить, и я все время убегал к бабушке, за это мне крепко доставалось от отца.

Потом каким-то образом я очутился в Беловодском детском доме, но пробыл я там неделю, так как отец забрал меня оттуда снова к себе. В то время у них появились дети (мои сводные братья Саша и Сережа), и я стал чувствовать, что моя жизнь в этом доме никому не нужна. Мачеха все время занималась своими детьми, которых я стал ненавидеть, а я все чаще стал получать вместо ласки затрешины и пинки по заднице. Хорошо помню, что меня очень часто били сухими стеблями от подсолнуха, а ночью часто приходилось стоять в углу за печкой на коленях, а если я умудрялся засыпать, то мне давали по шее и сыпали (где стоял на коленях) золу из печки, и приходилось стоять на этой золе до тех пор, покамест не попросишь прощения. Этим наказаниям я подвергался за то, что воровал на кухне продукты и не хотел называть мачеху мамой.

Не подумайте, что я хочу опорочить вторую жену отца, но

она действительно была злая как ведьма, а я был для нее не сын, а гадкий пасынок.

Позже я начал убегать из дому и стал бродяжничать, а потом нас с отцом вызвали в детскую комнату и я не вернулся домой. Меня сначала направили в детский приемник, а оттуда отвезли в Старобельский детский дом.

Отца лишили родительских прав. Он слишком часто устраивал по пьянке дома погромы. Помню, что после очередного такого погрома мачеха очутилась в больнице с сотрясением мозга, он разбил об ее голову бутылку из-под шампанского, наполненную томатным морсом, — я это помню, потому, что целую неделю был дома за хозяина (ее отвезли в больницу, а его забрали в милицию) и мне пришлось смывать со стен комнат этот томатный морс.

В детском доме г. Старобельска мне жилось очень хорошо — воспитательницы, няни были все пожилыми людьми и относились к нам как к родным детям. Позже детский дом расформировали и нас вывезли в Новый Айдар, в школу-интернат.

Не могу сказать почему, но нам, детдомовцам, не хотелось жить в школе-интернате, и мы очень часто собирались целыми стайками пацанов и убегали оттуда. Убежим и бродяжничаем по железнодорожным вокзалам и городам, пока нас не поймают милиция. Кормились тем, что лазили по чужим огородам и садам, а в зимнее время года воровали в магазинах с прилавков и витрин продукты питания, а иногда удавалось схватить за весами в коробке горсть разменной монеты и безнаказанно удрать.

В школе-интернате я пробыл до 1963 года, а потом нас собрали целую группу из бывших детдомовцев и как трудновоспитуемых отправили в детские приемники в г. Ворошиловград, а оттуда в г. Макеевку в детскую колонию.

Привезли нас туда зимой, в феврале месяце, и первое, что мне запомнилось, — огромные железные ворота и высокий каменный забор с колючей проволокой и горящими лампочками.

Завели нас на вахту, переодели в форменную одежду, остригли волосы наголо и повели в карантин спать. И еще: как сейчас помню, баба-вахтерша в военной форме сразу же предупредила нас, чтобы мы выбросили из головы мысли о побеге, ибо за побег здесь сами воспитанники поотбивают почки.

Утром, не успели мы как следует выспаться, к нам в каран-

тин пришли гости — это были пацаны в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет, на правом рукаве курток у каждого из них были нашиты нашивки (как у курсантов) из желтого галуна. Мы узнали, что это были командиры отделений и отрядов, которым мы были обязаны беспрекословно подчиняться.

Нас спросили, можем ли мы заниматься уборкой помещения и заправлять спальное место (кровать). Все мы в один голос ответили, что можем, ибо этому нас учили еще в детском доме. Тогда они велели кому-нибудь из нас выйти из строя и показать, как заправляется постель. Кто-то из нас заправил кровать, как нас учили в детдоме. Но, увы... этого еще мало — нужно было заправить постель за то время, пока потухнет зажженная спичка в руках одного из командиров с желтыми нашивками на рукаве. Конечно, никто из нас не успел уложиться в положенное время, и за это нас начали избивать — били изо всей силы, не обращая внимания на наш визг и крик, били до тех пор, пока на пороге карантина не появился офицер — это был начальник колонии Николай Павлович (он любил, чтобы его звали «Батя»). Наверное, многие из нас тогда подумали, что он сейчас заступится за нас, но, как ни странно, он посмотрел на наши избитые морды и сказал: «Как я вижу, вы уже познакомились и с вами провели беседу».

В карантине мы пробыли 21 день. За это время нас обучили всем премудростям колонистской жизни: научили ходить строевым шагом, петь походные солдатские песни, мыть зубной щеткой полы, а главное, чему нас научили, — это испытывать ужасный страх перед воспитателем и командиром отделения. Стоит воспитателю или командиру отряда выкрикнуть твою фамилию, как у тебя начинает лихорадочно работать мысль: за что будут бить, в чем я сегодня провинился? Когда нас распределили по отрядам, я попал в пятое отделение третьего отряда — тут находились самые младшие воспитанники колонии (мне тогда было одиннадцать лет).

Командиром отделения у нас был воспитанник Синегубов (кличка Абулегас), а воспитательница — молодая женщина (забыл ее имя-отчество). Приняли меня в отделении как-то отчужденно. Вечером после отбоя меня позвали в умывальник, я зашел туда, но там никого не оказалось, и я возвратился в спальню. Когда я открыл дверь и вошел, кто-то сзади набросил

на меня одеяло, и меня начали бить. Надавали мне по роже и по бокам и разбежались по своим местам, я поднялся с пола, не понимая, за что меня опять избили. Кто-то приказал мне идти в умывальник и смыть кровь, а потом лечь под одеяло и молчать. Когда я умывался, ко мне подбежал совсем крошечный мальчишка и опять предупредил, чтобы я молчал. Я спросил его, за что меня били, и он сказал, что всех новеньких бьют — это называется «дать прописку». «Прописка» — это священная церемония, которая заведена Бог знает когда и кем, и на такие пустяки уже никто не обращает внимания, а воспитатель или же учительница нисколько не удивятся, если на второй день у новенького будут светить «фары» под глазами.

Но это еще не все: в эту ночь я несколько раз просыпался от острой и жгучей боли в разных участках своего тела — это опять были колониетские штучки: когда новенький заснет, ему вкладывают между пальцами на ногах и руках пленку или же пластмассу от теннисных шариков и поджигают. Такая процедура называется «устроить велосипед».

После всего этого у тебя появляется такое ощущение, как будто ты попал в ад — начинаешь бояться не только окружающих, а даже своей собственной тени.

Утром, после зарядки и уборки, повели отряд завтракать. Да, питание в колонии отличное, но беда в том, что кто-то кушает, а кто-то смотрит. Одним словом, все основные продукты забирают командир отделения и его «шестерки», а остальные воспитанники довольствуются кашей и хлебом.

В колонии разрешают каждое воскресенье приезжать родственникам. Сами понимаете: привозят всякие сласти, всевозможные вещи, но, увы... из всего, что привезут родственники, тебе достанется только лишь то, что успеешь слопать на свидании и ухитришься незаметно передать пакет своему другу, а остальное попадет в тумбочку к командиру. Если соизволишь ничего не принести со свидания, тебя за это побьют и вообще будут при возможности издеваться над тобой. Когда кто-то из воспитанников идет на свидание, его зовут в каптерку к командиру отделения, и он дает указание, чтобы ты обязательно выпросил у матери денег. Тот, кому привозят деньги, начинает обживаться, ему уже делают поблажки, и он становится «шестеркой» командира.

Понимаете, как все получалось: на уроках учителя нас учили

тому, чтобы мы были добрыми, честными и смелыми, читали нам о Павлике Морозове, Павке Корчагине, о молодогвардейцах, о Макаренко, но у нас до того были забиты головы и до того мы были запуганы и дики, что мы уже не соображали, что такое хорошо, а что такое плохо.

Если в школе получишь «два», то тебя избивают до такого состояния, что приходилось тащить тебя в уборную и поливать из шланга водой, чтобы пришел в сознание. Причем за нарушение наказывают так: получил «два», тебя вызывают в воспитательскую (где сидят начальник отряда, воспитатель и все командиры отделений), начальник отряда подзывает к себе командира твоего отделения и хорошенько надает ему по морде, потом подзывает тебя и на пару с воспитателем начинают хлестать тебя «шутильниками» (это такой треугольный ремень, который вращает вал у деревообрабатывающего станка). Такие «шутильники» имели каждый воспитатель и мастер (благо, что у нас было большое производство, где мы работали, и таких ремней валялось полно в каждом цехе). Они сами себе изготовляли каждый по вкусу такие ремни.

После каждой беседы с помощью «шутильника» воспитанник выходил из воспитательской с кровоподтеками и синяками на спине и руках. Если после такой «беседы» к тебе приедут на свидание родственники, то свидания не дадут (скажут, что болеешь). Отдадут только передачу, а свидание дадут только тогда, когда у тебя сойдут все синяки и ссадины. Но и тогда, прежде чем пустить на свидание, с тобой поговорит воспитатель и возьмет с тебя слово, что ты будешь молчать и не будешь жаловаться.

Хотя нас по приезде в колонию строго предупредили, чтобы выбросили из головы мысли о побеге, я, несмотря на это строгое предупреждение, решил во что бы то ни стало бежать отсюда.

Первый мой удачный побег из колонии чуть не кончился трагически (до того у меня была уйма попыток к бегству, но меня ловили). В этот раз мне помогло одно обстоятельство: в колонии был введен строгий порядок о ночном дневальстве в бараке, то есть каждую ночь мы дежурили по очереди. В обязанности ночного дежурного входило охранять личное имущество воспитанников отделения (были очень частые кражи в ночное время личных вещей и обмундирования, вот поэтому и

надо было сторожить). Как у нас говорили: «заступаешь на дежурство, чтобы поймать «крысятников».

Вот в одну из ночей я и заступил в такое дежурство. После отбоя мне командир отделения вручил на сохранение до утра три рубля денег, две пачки сигарет (курево в колонии запрещено и считается дефицитом) и свои расклешенные брюки. Деньги и сигареты я положил в карман, а брюки спрятал за пазуху и начал дежурство. Покуда все не спали, я стоял у дверей и болтал с приятелем, а когда все уснули, я сел на кровать и стал наблюдать за дверью. К утру я и сам не заметил, как, сидя на кровати, заснул. Проснулся оттого, что кто-то меня пнул под бок, и увидел кричащего командира отделения (в это время у нас был уже новый командир Анатолий Коваль). Оказывается, покедова я спал, один из «крысятников» вырезал у меня лезвием карман и украл деньги и сигареты. Коваль хорошенько меня отлупил и сказал, чтобы к вечеру я достал деньги и сигареты или... Но достать их мне было негде, хотя я пообещал, что до вечера все верну. Вот тут-то я и решил бежать. Когда нас повели в производственные мастерские, я вышел в коридор, открыл в полу люк и залез под пол, где проходила теплотрасса, и начал уползать в глубь лабиринтов подполья. Наткнулся на глубокую яму, по которой проходили широкие трубы, постелил на трубы рабочий халат, лег и заснул. Когда проснулся, вокруг было тихо, ничего не слышно. Хождения и беготни над моей головой не было — значит, пришла ночь. Вылезать из подполья я побоялся, потому что меня могли искать, и решил несколько дней пересидеть в теплотрассе.

Когда просидел суток трое, то мне уже не захотелось оттуда вылезать: я мог спокойно сколько хочу спать, мечтать и фантазировать, не боясь того, что кто-то меня изобьет, — никто надо мной не командовал и не издевался, я был один, сам себе хозяин. Первые суток четверо мне очень хотелось есть, и я все время думал о еде, но потом я как бы смирился с голодом и мне совершенно не хотелось есть. Я только пил горячую воду — в этой яме на трубе отопления был большой кран для стока воды, вот я откручивал кран и пил горячую воду (правда, она воняла ржавчиной).

Сколько прошло дней, я не мог знать и решил вылезти ночью из подполья. Для того, чтобы выбраться за зону. Когда подполз к люку и начал его открывать, понял, что сильно ос-

лаб. Все же кое-как открыл этот люк, вышел в коридор, хотел встать на ноги, но, когда поднялся, у меня закружилась голова и потемнело в глазах, на ногах я держаться не мог, но все же открыл окно, выбрался на улицу и ползком добрался до хозяйственного двора, а оттуда через дырку выбрался на свободу.

Это было зимой (не помню, в каком месяце), а я был одет в легкую спецовку и сверху рабочий халат и так вот по снегу полз в направлении железной дороги. Рядом с нашей колонией проходила железная дорога, я помню, что дополз до нее и все... Очнулся в городской больнице. Оказывается, меня подобрали у дороги лежащим без сознания шахтеры, идущие на смену в шахты. Уже в больнице выяснилось, что в теплотрассе под полом я просидел одиннадцать суток.

В больнице я пролежал больше двух месяцев. Раз ко мне пришел начальник колонии, и я ему рассказал, что боялся побоев, потому что ко мне никто не приезжал на свидание и негде взять денег, чтобы вернуть украденное. Когда меня снова привезли в колонию, то командира отделения А.Ковалья перевели в другое отделение рядовым воспитанником. К нам в отделение дали другого командира Валерия Макарова, но он ничуть не отличался от прежнего. Чтобы не быть голословным, приведу такой пример: у этого Макарова в отделении было несколько жен из числа смазливых и приятных на внешность воспитанников. После отбоя Макаров звал к себе кого-нибудь из этих мальчишек в постель и целую ночь развлекался с ним, как с женщиной.

Проходили годы, я становился взрослее и вместе с возрастом ко мне приходила злость, ненависть к людям, жестокость, замкнутость, сомнение в том, что на этом свете существует какая-то справедливость. А главное это то, что с каждым днем во мне формировался садист и преступник. Из каждодневных вечерних разговоров в спальне я уже заочно знал, как можно обворовать магазин, как открыть замок, как без шума выдавить стекло в оконной раме чужой квартиры, чем и в каком месте ударить человека, чтобы оглушить его. А ведь до приезда в колонию я таких вещей не знал.

Пришло время, когда я стал самым «старым» воспитанником в колонии и у меня появилась власть и могущество. Вначале из меня сделали командира отделения, позже я стал ко-

мандиром отряда (в отряде от ста до двухсот человек). Вот тогда-то я стал отыгрываться за все старые обиды и издевательства. Я избивал воспитанников без всякой причины, бил, всячески унижал, грабил, муштровал их до десятого пота ради забавы и веселья. В этом я находил развлечение. Поступал так же, как когда-то поступали со мной, а может быть, еще хуже. Со стороны администрации притеснений и запретов я уже не ощущал, все мне было дозволено, ибо я наводил порядок в отряде.

Начальником отряда у нас в то время был Евгений Константинович Тимофеев. Он лично сам принимал участие во всех процедурах избиения воспитанников. Выглядело это так: вызывают в воспитательскую комнату того, кто допустил нарушение режима, к нему подходит Евгений Константинович и начинает с ним мирно разговаривать, а потом резкий взмах руками — и воспитанник, зажав руками уши, садится на пол: начальник отряда очень любил двумя ладонями бить по ушам нарушителя. А когда насытится Евгений Константинович, он отдает этого воспитанника нам (командирам), говоря при этом: «Вы тут с ним побеседуйте, а я минут на двадцать отлучусь по делам». Вот тут-то мы, командиры, приступали к своим обязанностям, а позже — начинается групповое избиение провинившегося воспитанника.

А с командиром отделения, в котором допущено нарушение, Евгений Константинович беседовал отдельно. После такой беседы командир отделения прибегал в спальню и начинал ужасное избиение того воспитанника, который сделал нарушение, ибо за нарушение начальник отряда лупил и командира.

Пробыл я в колонии с 1963 по 1969 год, а в мае 1969 года сделал оттуда свой последний побег.

Вначале вел образ жизни бродяги в г. Донецке, а позже поехал в Ворошиловград к бабушке.

У бабушки я прожил до первых чисел июля, а потом решил ехать к своей родной матери (в колонии я узнал, где она живет).

На вокзале незаметно проскочил в вагон, залез на верхнюю полку и под стук колес начал думать о том, как меня встретит мать. Долго размышлять мне не пришлось, ибо думы прервали проводники. Я ехал «зайцем», поэтому на первой же станции меня высадили. Высадили меня из вагона на ст. Белокуракино

Ворошиловградской области. Местность была мне незнакома, я побродил по вокзалу и пошел к поселку, где меня никто не ждал. В Белокуракино я пробыл-таки трое суток, спал в заброшенном шалаше возле колхозного сада, а питался фруктами из этого сада.

На четвертые сутки вечером, проходя мимо продовольственного магазина, я увидел на светящейся витрине множество всевозможных продуктов, и у меня сразу же появилось желание обворовать этот магазин.

Долго не думая, я сходил на стройку, находящуюся рядом с магазином, принес оттуда железную арматуру, зашел с тыльной стороны магазина к двери, взломал ее и очутился внутри. Первым делом я забрался под прилавок, разложил вокруг себя разные продукты и стал есть и пить, а когда насытился, взял с витрины две хозяйственные авоськи, наложил в них продуктов, вина и сигарет, а перед самым уходом нашел под прилавком коробку с разменной монетой, высыпал ее в сумку и пошел на вокзал. Пришел на вокзал, сел на первый попавшийся поезд и уехал. Через несколько дней я уже был в г. Сочи, а затем в Адлере. А чуть позже — в г. Хосте. Меня поймали ночью в кафе «Сюрприз», которое я хотел обворовать. За это все меня судили и дали два года с отбывтием наказания в колонии для несовершеннолетних преступников.

В колонию меня отправили в г. Копычанцы Тернопольской области. В этой колонии воспитание, нравы и обычаи были такие же, как и в детской колонии г. Макеевка, но обжился я здесь быстро, ибо основную школу жизни я уже усвоил раньше, и здесь я был своим в доску:

По приезду в колонию, буквально через три месяца, меня назначили заместителем командира отряда, и я чувствовал себя как рыба в воде.

Когда мне исполнилось 18 лет, меня перевели во взрослую колонию. Во взрослой колонии я пробыл девять месяцев, и меня, как нарушителя режима, отправили в г. Житомир на тюремный вид режима. Здесь мне основательно пришлось узнать, что такое настоящие голод и произвол. Вы, наверное, знаете, что по приезду в тюрьму месяц сидишь на пониженной норме питания (горячая пища в житомирской тюрьме давалась через день), а потом месяц на строгом режиме, и только после этого переводят в общую рабочую камеру. За малейшее нарушение

надевают наручники (да так, что руки на целый месяц становятся как протезы), волокут на кулаках вниз, в «бокс», и начинают пинать, а от смирительной рубашки были случаи, что у осужденных после применения этой рубашечки ломались ключицы.

В 1971 году кончился мой срок, и я освободился. После освобождения мне дали направление на жительство в Белокуракино (туда, где меня судили), жил я в общежитии, работал в ПМК. Устроился на работу как плотник третьего разряда, а работать посылали кирпичи таскать, ломом долбить дыры в бетонных плитах для вентиляции. В общежитии был бардак ужасный, с утра до вечера пьянка, драки и разврат с девчонками (рядом было девичье общежитие). Потом произошел не слишком приятный случай, я убежал из этого общежития и решил ехать к родной матери (я ее не видел с 1963 года).

Приехал в Кострому, а ее там нет: она в Ростовскую область уехала. Приехал в станицу Лозновскую ночью. Возле клуба спросил у молодежи, где живет Волобуева Раиса Владимировна. Мне показали, и я пошел к этому дому. Подошел к крыльцу и постучал в дверь. На крыльцо вышла моложавая женщина с приятным лицом, и я спросил, здесь ли живет Волобуева Раиса Владимировна. Она говорит: «Да, это я буду Волобуева». Я сказал, что я ее сын Славка, она смотрела, смотрела на меня, а потом бросилась ко мне, начала обнимать меня и плакать, я тоже не удержался от слез. Вдруг в дверях показался мужчина и пьяным голосом начал орать: «Что здесь за целование?» Я говорю ему, что это моя мать, а он вылупился на меня и орет: «Ты что, парень, какая мать?» Она тоже сказала, что я ее сын, а он стал ругаться на мать (оказывается, она никогда не говорила мужу, что у нее есть сын, то есть я). Приняли меня сначала хорошо — искупали в душе, накормили, переодели в чистое белье и уложили спать. Я, конечно, рассказал им, что я сидел в лагере, ибо они больно подозрительно смотрели на мои татуировки на теле.

Но потом на почве моего приезда у них начались скандалы. Сначала я заступался за мать и не давал ее в обиду, но позже перестал это делать, ибо ночью они мирились, а я оставался виноватым.

Прожил я у них около двух месяцев, а потом сначала перешел на квартиру, а позже вообще от них уехал.

Вскорости я оказался в Мурманске. В Мурманске я ночью залез в магазин, сработала сигнализация, и меня милиция поймала прямо в магазине.

Меня судили за эту кражу и дали четыре года, а позже, уже в лагере, я написал еще об одном случае «явку с повинной», и мне добавили еще год срока. Таким образом, я заработал пять лет, и меня направили для отбытия наказания в ИТУ г. Рыбинска. В лагере я постоянно был в списках нарушителей и все время сидел в ШИЗО или ПКТ. Потом я начал задумываться над тем, почему все в жизни так складывается, но ответа своему вопросу не находил. Мне надоело, что на меня показывают пальцем, говорят обо мне только плохое, для администрации я был словно бельмо в глазу.

Никто никогда не говорил со мной по-человечески — меня всегда «обсуждали», ругали и наказывали.

Бывали случаи, что меня за какие-нибудь нарушения приводили на беседу к начальнику ИТУ, но, увы... он делал кислую мину на лице и говорил: «Опять Волобуев, отведите его в штрафной изолятор». На этом вся беседа заканчивалась. За три года отбытия в Рыбинской ИТК я ни разу не покупал в ларьке продукты, я даже не знал, какие есть в ларьке товары, ибо все время меня лишали права приобретения покупок в магазине ИТК. Хотя ко мне некому было приезжать на свидание, но меня всегда на год вперед лишали свиданий. Одним словом, я был как какой-то прокаженный или же что-то вроде огородного пугала. Ни один начальник отряда не хотел брать меня к себе в отряд. Бывали такие случаи: выпускают меня с ПКТ в зону и направляют в какой-нибудь отряд, так меня сразу же вызывает начальник отряда и начинает уговаривать, чтобы я перешел в другой отряд.

И до того мне все это надоело, что уже не знал, что мне делать, — от злости, отчаяния и обиды хватал в руки какую-нибудь железную арматуру и начинал гоняться с нею за кем-нибудь из активистов или начинал бить в жилом бараке стекла на оконных рамах.

Потом меня начали считать сумасшедшим и стали возить по психбольницам. Поймите меня, если человека держать всю жизнь в хлеву и говорить ему, что он свинья, то со временем он действительно захрюкает. Надоело все, я уже был как загнанный волк, ходил по зоне, а в голову лезли мысли одна хуже

другой. Все чаще стал задумываться, зачем я живу на этом проклятом свете. Додумался до того, что хотел покончить жизнь самоубийством, но на это у меня не хватало силы воли. Правда, один раз в ИТУ-24 г. Рыбинска я решился на этот шаг, но по случайности меня увидели и сняли с петли. А потом сколько раз я хотел уйти из жизни добровольно, но у меня не хватало силы воли.

И тогда я решил в один вечер убить первого попавшегося человека для того, чтобы меня расстреляли. Я зашел в пятый отряд, попрощался с друзьями и сказал им, что кого-нибудь убью сегодня, но они подумали, что я шучу или же обожрался каких-то наркотических таблеток, и стали смеяться надо мной.

Когда я выходил из барака от друзей, в коридоре я встретил осужденного Пестова, и, когда он подошел ко мне на расстояние метра, я ударил его ножом в область живота, а потом в спину. Вышел на улицу, выбросил нож в снег, и пошел на вахту в надзорку, и сказал, что я зарезал человека. Меня посадили в штрафной изолятор и сказали, что теперь тебя, Волобуев, расстреляют. Оперативник Коханов обманул меня, сказав, что Пестов умер. А утром я узнал, что он жив, но меня это не обрадовало.

Меня увезли в дурдом, где я пролежал три месяца, а потом опять привезли в лагерь, но в зону не пустили, а посадили в ПКТ.

В ПКТ я все время ругался, кричал, бился головой в дверь, пока меня не «успокаивали».

На работу меня не выводили — боялись, что я поломаю станки и оборудование. Ибо один раз вывели в цех, пообещали дать курить, но обманули, и тогда я разобрал по болтикам станок, кусачками изрезал всю готовую продукцию. На работу меня не пускали и поэтому кормили по пониженной норме питания, и дошел я основательно — весил пятьдесят четыре килограмма при росте 1 м 69 см.

Как-то в камеру зашел оперативник Сафонов, сперва начал подшучивать надо мною, а потом говорит: «Мы тебя, Волобуев, сгноим здесь, в штрафном изоляторе». Я психанул, прыгнул с нар. схватил табуретку и бросился с ней на оперативника. За это мне надели наручники, надавали сапогами по бокам и в одних трусах, босиком бросили в одиночную камеру. Целую ночь я пролежал почти что голым на цементном полу и в



наручниках, а утром наручники сняли и дали пятнадцать суток карцера без выхода на работу.

Отсидел я эти пятнадцать суток, и меня перевели в общую камеру ПКТ. Все это время, пока я сидел в карцере, меня кормили через день — по пониженной норме питания. Когда я отсидел карцер, то меня должны были кормить общим пайком, но, сколько я ни требовал, меня продолжали держать на голодном пайке. Когда я требовал общий паек, мне отвечали, что так как у тебя нет нормы выработки в цеху, то тебя, Волобуев, будут морить голодом. Я объяснил, что они поступают не по закону, но администрация (капитан Комиссаров, прапорщик Дубов) только улыбались и говорили, что закон в наших руках, как мы скажем, так и будет, можешь, Волобуев, писать на нас жалобы, а мы будем тебя помаленьку морить голодом, и мы всегда будем правы. Я начал ругаться и сказал им, что если вы не выдадите мне мой законный паек, то к утру будете выносить из камеры трупы.

Собственно говоря, когда я пришел из карцера в камеру, ребята чем могли накормили меня (Аникеев дал мне полпайки хлеба, Честков дал половину тарелки супа), но поймите, ведь они сами были голодными и поэтому не могли меня ежедневно кормить своим пайком. Сколько я ни стучал в дверь, сколько ни требовал вызвать прокурора, на это администрация не реагировала, а стала мне угрожать, что опять наденет наручники и дадим по бокам.

Когда в понедельник все пошли на работу, я от голода не мог и остался в камере вместе с осужденным Машенкиным. Начали раздавать ужин, осужденному Машенкину дали ужин, а мне опять ничего не дали (был четный день, то есть голодный для меня). Вот тут-то я смотрел, как он ест, и начал злиться. Просить у него супа было стыдно, и я готов был разорвать осужденного Машенкина. Потом он, как назло, начал стучать ложкой об миску и, прихлебывая, глотать суп. Я одурел вообще, а потом что-то заорал на него, вскочил с нар и ударил его кулаком в лицо. Он упал, выпустил из рук на пол миску и суп весь разлился. Я бросился к нему и стал его душить.

Я не могу объяснить, зачем я это сделал. Помню злость, ярость и желание рвать и бить все подряд, а ведь осужденный Машенкин мне ничего плохого не сделал. Я даже толком не

знал, кто он и что он за человек. Но тем не менее я лишил его жизни и стал убийцей.

Сидя в следственном изоляторе за убийство, я вдруг испугался расстрела и решил симулировать сумасшествие. Когда еще раньше я лежал в психбольнице, то знал одного парня, который в лагере совершил преступление, но его не судили — он написал всяких антисоветских листовок и все время орал: «Долой коммунистов!» За это его закрыли в психбольницу, а судить за ранее совершенное преступление не стали. Я решил сделать то же самое. В одну из ночей в камере следственного изолятора г. Рыбинска я написал от руки шесть листовок и нарисовал четыре рисунка. В листовках я ругал коммунистов и еще что-то в этом роде, а на рисунках были изображены карикатуры на коммунистов и что не кормят. Утром я показал свою работу ребятам, но они начали смеяться и говорить, что ты, Славка, хочешь сделать вторую революцию и попасть в Кремль?

Суворову Володьке я сказал, что разбросаю эти листовки во время суда и меня отправят в дурдом и не будут судить. Но когда мы пошли на прогулку, то надзиратели нашли эти листовки у меня под матрацем.

После суда (мне дали 15 лет за убийство) меня вызвали прокурор и начальник из КГБ и сказали мне: «Ты, парень, прекращай заниматься этим делом, а то срок намотаем». Я ответил им, что у меня не позволяет образование заниматься политикой. Но мне ответили, что «мы судим даже тех, у кого нет и одного класса образования, а у тебя целых шесть классов».

На этом все прекратилось, меня отправили в лагерь, и я думал, что все обошлось. А через месяц меня опять привезли в тюрьму и предъявили обвинение по ст. 70. Сказали мне, что я хотел подорвать строй и мощь нашего государства. Спрашивали, читал ли какую-нибудь запрещенную литературу и слушал ли радио «Голос Америки» и еще что-то в этом роде. Я, естественно, не мог слышать и читать, так как вообще не люблю читать (да и где взять?), а радио у меня никогда не было. Ну а в ходе следствия я начал задумываться над тем, что, может быть, я прав в том, что коммунисты обманывают народ и что такие, как я, необходимы как жертвы и рабы, ибо мне пришлось увидеть много плохого в жизни, хотя в газетах и по радио говорят совсем о другом, а на самом деле вокруг бардак и

сплошное узаконенное беззаконие. Сколько в лагерях и тюрьмах гибнет молодежи, вся воспитательная работа пущена на самотек, а кадры для работы в лагерях подобраны отвратительные: грубость, хамство и кулак — это есть основа воспитания. Единственная хорошо и даже отлично отлаженная работа в лагерях — это оперативная работа. Да, здесь, ничего не скажешь, работают отлично — если оперчасти понадобится что-то узнать кое о ком из осужденных, то буквально через пять минут о нем будут знать все. Следят друг за другом днем и ночью.

А вот в этом лагере, где я нахожусь сейчас, разрешают таким, как я, все: можешь свободно играть в карты, заниматься половым сношением в задницу, одним словом, можешь делать все что захочешь, главное — не заниматься политикой и антисоветчиной, а все остальное разрешается и даже поощряется, если согласишься следить за политиками.

Вот теперь у Вас на бумаге написана вся моя жизнь, и думаю, что Вы уделите моему делу внимание.

Поймите, лагерь и все эти проклятые воспитательские учреждения сделали из меня преступника. А то, что меня осудили на семь лет как врага народа и антисоветчика — есть большая ошибка. Ведь я родился в СССР, учился, государство меня хоть и плохо, но выкормило и воспитало. Я не был предателем и изменником родины, и вообще все это чепуха — сама администрация этого лагеря смеется и говорит: «И кто тебя, Волобуев, судил как политика, ведь ты малограмотный уголовник». Я никогда не интересовался политикой, и для меня нет разницы, кто стоит у власти, — пусть хоть сам черт, лишь бы жить можно было бы по-человечески.

Поймите, я хочу жить так, как все люди, и прошу вас: не губите до конца мою неудавшуюся жизнь.

Сейчас я уже взрослый, стал кое-что понимать в жизни, и можете быть уверены, что меня больше не потянет воровать. Надоело все!!! Я хочу жить.

15.2.77 г.
Волобуев».

Ну вот и влил я в твои вены галлончик дурной лагерной крови. До свидания, до следующего письма — лет эдак через пять. Мой поклон Анд. Дм-чу и всему твоему многочисленному семейству. Бэлле привет. Всегда Ваш Эдик.

P.S. Порой, когда мне шибко плохо, я вспоминаю лихой утесовский напев: «С одесского кичмана бежали два уркана...» — и отпускает: я утираю угрюмые сопли, кулаки наливаются дерзкой кровью, и сам черт мне не брат... Впрочем, к чему это я? Ах, да, — к тому, чтобы ты на мои стоны не обращала внимания — я страсть какой выносливый, и, если меня малость подкормить, на печке я не улежу, когда улица на улицу пойдет стенкой...

Наконец-то появился крохотный шансик избавиться от этого письма. За эти два месяца меня обыскивали не менее полтора сотен раз: раздевали, заглядывали во все дыхательные и пихательные, потрошили матрац, книги, сапоги, дважды отбирали все тетради и письма, слушали миноискателем, уговаривали, угрожали, ругали, толкали, щипали, мяли... Не менее дюжины раз меня бросало в пот и дрожь — когда лапа надзирателя оказывалась в дюйме от тайника. Трижды я собирался сжечь письмо, отчаявшись изыскать возможности для отправки его... Наконец-то я от него избавляюсь, наконец-то я будут смотреть в лицо начальству прозрачно-невинными глазами, наконец-то, раздеваясь для очередного обыска, перестану разыгрывать беззаботность.

Событий никаких. Питаемся туманными слухами, чувствуем, что варится какая-то каша, но какая? Отчаяние накатывает волнами. Бывает, за ночь глаз не сомкну — борюсь с тоской смертной и приступами холодной безысходности...

Впрочем, и с того; и с другого я умудряюсь получать рифмованные дивиденды: нынче полночи провздыхал о несчастной своей судьбинушке, а потом — дабы душевные корчи мои не пропали втуне — взял да и написал о том, как на душе темным-темно, как бьет чечетку дождь по крыше, как ночь тарщится в окно рысьими глазами вышек... и только после этого заснул. Знаешь, когда бы не уверенность, что, вздернувшись, я значительно больше порадую своих врагов (которым несть числа), нежели опечалю друзей (которых раз-два — и обчелся), право слово, я бы давно уже не устоял.

Кстати, ходатайство Волобуева о помиловании никуда отправлять уже не надо — он умер в конце марта, как незадолго до того умер заразивший его туберкулезом Цветков. Теперь на

очереди еще один — Демченко, тоже молодой парень, тоже зарившийся от Цветкова и тоже, хотя он отхаркивает кровь и куски легких, содержащийся в общей камере.

Узнав о смерти Волобуева, мы (20 человек) в воскресенье 17 апреля объявили голодовку (однодневную) и не вышли на работу. Начальство рассердилось несказанно, так как это воскресенье было объявлено ленинским субботником и всем нам еще недели за две до того усиленно рекомендовали проявить в этот знаменательный день повышенный трудовой энтузиазм.

Мурженко продолжает голодовку — ему не дали бандероль с лекарствами. Федоров, увидав на газетном снимке у Б.Чейвиса бороду, решил тоже обзавестись растительностью. Но едва его бороде исполнилось три недели, как пришли два амбала, завели беднягу в комендатуру и так популярно объяснили отличие СССР от США, что у того наручники на запястьях лопнули. Мы узнали об этом лишь на другой день, врач отказался запротоколировать следы побоев... В общем, обычная история.

Об одной из ваших зон («37-й» — уральской) ходят слухи, что собрали в ней лишь примерных преступников и ублажают их всячески — работой не очень донимают, библиотека, говорят, приличная, крутят фильмы о веселой жизни зарубежных женщин, есть даже (верить ли?) телевизор. Что бы сие значило? Двоим из этой зоны уже, слышал, предоставили возможность публично расхваливать лагерь — благоухающий сосуд всяческих гуманностей, от которых и самого матерого «врага народа» прошибает слеза умиления, и он быстренько исправляется в восторженного друга. Тут возможно такое объяснение — очень невероятное, но чем черт не шутит, — пока экономика спит и так нужны западные кредиты: какие-то международные организации домогаются возможности ознакомиться с лагерями, их пока не пускают, но в предвидении тех горестных времен, когда придется (пронеси, Господи!.. А вдруг все же?..) пустить их, создана показательная зона. Конечно, можно было бы соорудить ее и в самый последний момент, но свежеспеченное благополучие легче разоблачить. Сооружение потемкинской деревни тоже требует учета исторического опыта, а

таковой подсказывает, что заблаговременно склеенные фанерные хоромы имеют более натуральный вид, да и пейзажу, привыкнув к фанерному счастью, не столь обалдело выглядят, как сперва. Уж не являемся ли мы живыми свидетелями нового славного этапа в технике сооружения потемкинских деревень?

...Вчера не успел закончить письмо, хотя корпел над ним от подъема до отбоя — благо воскресенье, а сегодня от всего понедельника в моем распоряжении лишь краешек дня. Пришли с работы, похлебали баланды, и уже семь часов вечера — лежим на нарах: тот газетой шелестит, комментируя политические новости, тот глубокомысленно листает книжку, третий рассматривает потолок, что-то угрюмо напевая себе под нос... а я вот, запечатав уши затычками, строчу тебе письмо — Одиссеей наоборот: унесенный жестокой бурей от сладкоголосого острова, запечатал уши воском, дабы не слышать осточертевшего корабельного гомона и, притихнув, замерев, вспоминать волшебные мелодии сирен...

Ну вот, настроился писать тебе до самого отбоя, да вышла некая заминка... Впрочем, почему бы тебе не рассказать об этом (люблю правде матку резать), чтобы ты более наглядно представила себе, что за публика меня окружает.

Только что я случайно подслушал любопытную беседу двух уголовников в одном не очень благовонном месте. Прошу прощения, но клозет (как и вообще фекальная тематика) играет в здешней жизни чрезвычайно значительную роль, и избежать этой темы просто невозможно. Как-нибудь я расскажу подробнее о «дерьмометах» (как я называю тех, кто обливает начальство своим дерьмом, предварительно накопив изрядное его количество в какой-нибудь банке или в целлофановом мешке) и о любителях «фресок» (это те, кто, набрав жидкой «краски» в миску, расписывают стены и потолок камеры похабщиной и разными лозунгами), о драках и даже о «контрреволюционных» бунтах, в основе которых все тот же клич: «В уборную!»

Ну ладно, сижу я таким печально-мудрым орлом... Странное дело: справляя большую нужду, всякий исполняется какой-то особой сосредоточенной задумчивости, словно чутко вслу-

шиваясь в нечто сокровенное, и мысли в голову идут все неуместные какие-то, мудрые. Однажды в самом-самом зеленом детстве — лет этак шести или семи — меня именно в сортире посетила такая необычная для столь нежного возраста мысль: а вдруг и где-нибудь на Луне все точно так же, до мельчайшей черточки... и там именно в сию минуту сидит на унитазах точно такой же ушастик и думает: а вдруг где-нибудь на Луне... Стоп! Он ведь должен думать: где-нибудь на Земле... Вот уже не точь-в-точь. А может, для него наша Земля — Луна? И т.д. Но даже и не это забавно, а то, что вспомнил я об этом умствовании лет пятнадцать назад — и именно в клозете, и с тех пор воспоминания об этих лунных размышлениях в невероятно далеком детстве нет-нет да и посещают меня... оячь же только в сортире.

Ну ладно, хватит этих клозетных мудростей! Тебя еще не вывернуло? Значит, сижу я сегодня в клозете, а за моей могучей спиной смежное заведение того же типа, и в нем, не подозревая о моем застенном присутствии, беседуют, натужно побряхтывая, двое: некто Ш. и О. Грязному старичишке Ш. за шестьдесят. Лысый, с реденькой немытой бородашкой и хитрющими пуговками гляделок, зимой и летом, днем и ночью он не вылезает из засаленных ватных брюк и двух бушлатов, весь обвешан самодельными крестами и медальонами, и, наверное, нет такой недели, чтобы у него не забрали пару-другую «иконок», на которых персонажи священной истории занимаются всяческим непотребством. В прошлом бродяга, мошенник, вор и педераст (о чем свидетельствует и мушка, выколота под левым глазом), в конце 50-х годов он «уверовал», объявил себя священником и, освободившись, пустился проповедовать по деревням... Много ли для этого надо: борода, бредовая евангелистика на хитрых устах да невиданная обрядность (через каждые 12 шагов он останавливается и долго кружится на одном месте, осеняя мелкими крестами то брюхо, то толстую задницу). И поползли к нему сгорбленные старушонки, завздохали, запричитали, зашептали, вздымая к небу корявые ветви рук... Он плел им небылицы, упивался их самогонкой, блудодействовал и косноязычно пророчествовал. У нас он, несмотря на «сан», числится в уголовниках, ибо таков его истинный образ мыслей. Кто зовет его «вертуном», кто «шаманом», кто «отцом-проходимцем» или «святейшим провокатором». При стечении

известных благоприятных обстоятельств он мог бы стать основателем какой-нибудь секты с изуверско-сексуальным профилем. Это маленький Гришка Распутин, но без его честолюбия, ума, силы и дерзости.

Другой — по кличке «Обезьяна» — хилое существо лет сорока, похожее на дряхлую лису, с мутными стекляшками глаз закоренелого мастурбанта, с острой измызганной и похотливой мордочкой — фигура заурядная, типовая для наших уголовников. Трус и наглый подлец, заядлый таблеточник и игрок, он, просадив в карты большую сумму, был «поставлен на четыре кости» (то бишь лишен невинности), неоднократно бит до полусмерти...

О.: А вот, поп, скажи мне — есть Ад или нет? Да не ври, честно скажи!

Ш.: А как же! Осподь с тобою, Безьяна... как же не быть-то? Вот мне наемни довелось беседовать с сыном Божьим...

О.: Да ладно гнать-то!* Я тебя по-делу спрашиваю, а ты...

Ш.: А что?

О.: Вот к примеру, я — в Ад попаду иль в Рай?

Ш.: В Рай, Безьяна, и не сумлевайся... все мы тут мученики... поэты-и-писатели, пророки-и-учители, святые-и-философы... Осподь, он как сказал?.. Он...

О.: Ну, поплел блатной поп! В Рай-то оно в Рай, конечно... А вот был у меня один случай...

Ш.: Ну?

О.: Да как бы сказать...

Ш.: Дело хозяйское... Осподом Богом Саваофом я наделен силой связывать и развязывать, выслушивать и отпускать грехи христианские.

О.: Гм, в Рай... А я, например, в пятьдесят пятом году малолетку замочил на чердаке одном: кимарил, а она как раз белье приперлась вешать, а я ее трахнул по балде, она и с копыт долой... засадил — очнулась и завойдотила. Ну, жалко мне ее стало — на часы, говорю, — хорошие такие, рыжие**... Как раз перед этим у одного фуцина вертанул. Да... ну и ходу с чердака... А тут как раз кто-то, слышу, идет по лестнице — я назад... Смотрю, она сидит и часы на руку примеривает... не плачет уже. Ах ты, блядь, думаю, — хвать у нее котлы, а она как заверещит!.. Ну и придушил ее...

* Гнать — врать (лаг. сленг).

** Рыжие — золотые (уголовный сленг).

Молчание. А может, врет подлец? Или нет? Смотри-ка, даже Вертуна проняло... Врет или нет? Точнее: мог бы он или нет?..

Ш.: Молоденькая, говоришь?

О.: Лет двенадцати... конопатая такая, в сандалиях...

Ш.: Это ничего... Бывает... Она ведь пионерка сатанинская, небось, или, может, жидовка. Я вот сам раз...

О. (злбно): да ты мне не плети, ты мне скажи, что там твой тухлый Бог думает?.. Ад, Рай!.. Я вот в детдоме... спишь — и снится краюха хлеба под подушкой. Вскинешься, руку сунешь, а там шиш. А ты говоришь!.. Пускай даже и Ад, мне плевать — лишь бы было что жевать .

Хлопнула дощатая дверь.

— Тут ад, там ад... — донеслось уже из прогулочного дворика.
— «Ой, колы ж мы наймосья хлеба черного с повидлой?» — визгливо заорал он детдомовский гимн.

Ну прежде всего, конечно, хочется возмущенно завопить: вот они — послушное орудие в руках лагерной администрации... вот они, кому вы благоволите, кого противопоставляете нам, говоря: «Как бы то ни было, а они наши советские граждане, случайно оступившиеся, а вы — сознательные враги...» — и т.д. Да что толку вопить-то, хочется понять.

Вот я сижу сейчас и думаю, что тут нужно сказать — не можно, а нужно, ибо наболтать всякой всячины тут ничего не стоит любому читателю научно-популярных журналов. Они асоциальны, и вину за чудовищный оскал их морд нельзя целиком переложить на чьи-то плечи — такой социологизм все упрощает. Но кто определит меру вины личной и общественной, их взаимообусловленность и переплетенность? Это старинное вопрошание — глас вопиющего в пустыне доктринерства и фальшивого оплакивания неблагоприятных семейных условий, дурной наследственности и неудачного стечения некоторых социальных обстоятельств. Меня не удовлетворяет ни обличительный пафос одних, говорящих: «они антисоциальны, но в асоциальном обществе» (разумеется, по поводу аналогичных судеб в буржуазных странах), ни смущенная скороговорка других: «они антисоциальны в нашем лучшем из обществ в силу своей порочности... родимых пятен капитализма и разлагающего влияния буржуазной пропаганды». Даже если это отчасти и верно, меня больше волнует вопрос: есть ли для них исход сейчас? В принципе я такого исхода не вижу. Вос-

хоти любой из них переродиться — ничто, ничто не способствует этому, но только препятствует и особенно в исправительно-трудовом лагере. Тут и нормальному-то человеку почти невозможно не деградировать, а для нелюдя обретение человеческого лица и вовсе немислимо. Разве что вмешается сам Господь Бог и сотворит величайшее из чудес — реорганизует лагерную систему. Если ему позволят в ГУИТУ.

Вспомнилось, как с полгода тому назад у меня с этой самой Обезьяной случилась небольшая стычка, закончилась она жалостливой нотой: он плакался на жизнь, а я сочувственно советовал ему не хитрить с судьбой, а тягаться с ней... Детство у него было кошмарным (опять же — по европейским стандартам), и, подавленный этим кошмаром, я все хотел допытаться: неужели не вынес он из детства ни одного светлого впечатления? Ну ладно — война, гибель родителей, детдом... но ведь до войны-то он целых пять лет жил с отцом-матерью... Нищета, самогонка, тюрьма (мать сидела шесть месяцев за опоздание на работу, отец — три года за кражу)... И ни в детстве, ни позже ни одной светлой, святой минуты, воспоминания о которой очищали бы душу, понуждали к тоске о нравственно прекрасном. Помнишь, как Алеша Карамазов призывает мальчиков всегда помнить, сколь они были хороши в своей любви к Илюше, — потому что память об этом поможет им противостоять озлоблению и ожесточению, к которым жизнь неизбежно будет принуждать их. Это нечто вроде тайного капитала, проценты с которого вдруг могут спасти человека в трудные минуты от полного банкротства. Каждому необходимы такие минуты в прошлом — может, в этом вся соль детской педагогики.

Так кто же виноват? То-то же — кто?

Наше начальство любит один анекдот, исчерпывающий, на начальственный взгляд, вопрос о вине. «Как угодил в тюрьму?» — спрашивают одного. «Война виновата, гражданин начальник». — «Как война? Она уж черт знает когда как кончилась...» — «Если бы не война, я бы не потерял ногу, не потеряй я ногу, не было бы у меня костыля, не было бы костыля, я не убил бы им свою тещу... Все война виновата, гражданин начальник!» Оно, конечно, смешно, но война в смысле внешних обстоятельств и в самом деле виновата, и этот одноногий не так уж и неправ. При всем том, поскольку моей-то вины в со-

здании этих внешних обстоятельств нет, ретроспективные сочувствия не помешают мне, защищаясь, поломать этой жертве войны руки-ноги. И я буду прав, хоть и не в той мере, сколь была бы права та конопатенькая, сумей она выцарапать глаза похотливой Обезьяне.

Ну и больница! Дом с привидениями... Обтянутые пергаментной кожей полупризраки бродят по коридору или сидят на койках, раздвинув костлявые колени, отрешенно кивая заросшими щетиной лицами каким-то своим загробным думам. Каждый раз, проходя мимо палаты для умирающих, я чувствую, как что-то холодное сдавливает мне живот, словно кто-то там внутри меня смертельно замерз и судорожно рвется наружу — тошнотой. Это полутемная комнатуха, на клеенчатых койках которой бесстыдно-внестыдно-метастыдно желтеют полускелеты, словно выползшие из груды трупов с какой-нибудь фотографии военных времен. С той разницей, что фототрупы не смердят. «А почему они голые?» — спрашиваю санитаря. Оказывается, чтобы не менять им белье. Зато, говорит, мы им жарче печь топим.

Конечно, и в вольных больницах тлен агонизирующей плоти бросает в оторопь, но смертные корчи в неволе... Есть в этом что-то особенно гнетущее. Тяжелее всего умирают каратели, людишки, как правило, препаскудные, потому и отходят они особенно мучительно и трусливо. Никому они не нужны, никто (кроме привлеченных высококалорийным предсмертным пайком «крыс») их не навестит, не склонится над изголовьем утешить, исповедать, пообещать, простить и проститься... «Эй, Репя! Бросай домино — латыш отходит!» — «А я ему чего? Отходит и отходит... Все там будем... Дупель шесть!.. Он уже вторую неделю коньки бросает, да все никак не отбросит. Да и чем я ему помогу?»

Больница у нас, конечно, кошмарная. Но я решительно не разделяю популярного (особенно среди стариков карателей) мнения, что здесь специально умертвляют людей. Надлежащего лечения, ухода нет — это верно, а чтобы умертвлять — чушь несусветная. Основная беда в той легкости, с какой врачи меняют белые халаты на синие мундиры, руководствуясь в лечебной практике далекими от медицины соображениями.

Давно канули в лету те времена, когда врачебная этика предписывала не отличать белых от красных. С ростом политической сознательности населения надклассовость этой профессиональной этики стала опасным анахронизмом, и, хотя Гиппократова клятва еще произносится свежееиспеченными врачами — она всего лишь ритуал... Лечить-то они нас лечат (когда лечат), но... спустя рукава. Для того они и меняют халаты на погоны, чтобы трубным патриотизмом прикрыть свою человеческую и профессиональную несостоятельность, нежелание или неумение врачевать. За малым исключением, они бесцеремонны, грубы, циничны, то и дело слышишь: «Не надо было в лагерь попадать! Жил бы на свободе, и все у тебя было бы — и лекарства, и диета...» Как видно, они полагают, что призваны бороться с самой испокон веку опасной на Руси болезнью — политической неблагонадежностью.

Начальник медчасти нашей зоны — глухой майор, маразматик с крошечным личиком, словно растрескавшимся от засухи, — не скрывает, что давным-давно перезабыл все лекарские премудрости, и мы никак не дождемся, когда он уйдет на пенсию. Как будто другой будет лучше... «Фамилия?» — лениво спрашивает он, когдаходишь к нему. «Кузнецов». — «За что сидишь?» — «За попытку убежать из СССР». — «Сколько дали?» — «15». — «Ма-а-ло, — протяжно цедит он сквозь зубы. — Я бы расстрелял». Мы его и ругали, и писали жалобы, и пытались бойкотировать — бесполезно...

Приличный-то врач бежит отсюда при первой же возможности. А так что же, больница как больница. Ну, конечно, фонды нищенские, ну лекарств мало (да и те зачастую с давно истекшим сроком годности), ну оборудование допотопное, ну штат заполнен лишь на треть, ну специалистов нет... все это так, но главная беда не в этом, а в полной безответственности врачей, их нескрываемой небрежности, халатности. Нарочно они тебя не отравят, но вместо одного лекарства дать другое — это сплошь и рядом, специально они тебя не зарежут, но, удалив аппендикс, вполне могут забыть в животе ватный тампон... Бывало уже не раз.

Упаси Боже болеть в лагере, упаси Боже зависеть от таких врачей! Лучше на воле подцепить сифилис, чем в лагере насморк.

Лежат тут в основном престарелые каратели, озлобленные

на все и вся. Особенно они ненавидят «скубентов». Зато всяческое начальство уважают до полного самозабвения. За глаза-то, бывает, и ругнут шепотком, а в глаза ни-ни — так и гнутся, так и стелются, хоть ноги вытирай, такой, если понадобится начальству, и в детские штанишки втиснется, и пионерский галстук повяжет.

Я имею в виду популярный лагерный анекдот. Случилось как-то путешествовавшему по России знатному иноземцу наткнуться на концлагерь. «А это что такое?» — спрашивает он у сопровождающих. «Пионерлагерь», — говорят. «Гм, любопытно. А нельзя ли его осмотреть?» «Это завсегда, — говорят. — Хоть сей минут... Только, извиняемся, детки сейчас почивают. Разве что завтра...».

Завезли десяток машин речного песка, наскоро сляпали качели, разбросали там и сям детские игрушки. Строптивых упрятали в изолятор, а тех, что помирнее, обрядили в детские штанишки и повязали на шею красные галстуки...

Подходит иностранец к тому, что песочные куличи печет, и спрашивает: «Мальчик, а сколько вам лет?» «15», — басит тот. «Гм... я бы вам дал лет 40». — «Иди ты, падла! У нас больше 15-ти не дают!..»

Они обычные людишки, пугающие своей обыденностью. Завертела их война, поставила перед выбором и... на что же им было опереться? Что для них дороже собственной шкуры, что выше желания жрать? И сегодня, в лагере, они руководствуются сугубо шкурническими интересами. Какой с них спрос? Да и далеко ли от них ушли охраняющие их?

Друг другу они давно осточертели и потому с особой душевностью льнут к надзирателям. «Вот гляди — тут, тут и тут покорежило, — задирает он рубаху. — А как же? Я ведь не сам перебежал! Наши-то отошли, а я лежу, холодеть уже начал... Я им на суде так прямо и говорю: «Что же вы меня не подобрали?» Сами-то, — переходит он на доверительный шепоток, склонившись к уху сочувственно понурившему голову старику надзирателю, — убежали, а нас... и-эх!..»

Именно в силу своей обычности они, как правило, не чувствуют своей вины, признавая ее лишь на словах, когда выманивают какую-нибудь начальственную милость. Конечно, они знают о себе, что не герои, но и преступниками себя не считают. В качестве естественных людей они спасение своей жизни

любой ценой полагают делом естественным, как естественно для них присесть по надобности под ближайшим кустом, хоть бы и в парке, на виду у гуляющей публики — некрасиво, конечно, но и не велик грех... коли прижало. Кто не по нужде, а с зла или хулиганствуя усядется на аллее — это дело другое... «Вон Артамон-то, тот сам к немцу перебежал, из раскулаченных... Он, конечно, предатель. А я что же?.. Под автоматом!»

Сколь бы долго ты ни сидел, сердцем лагерь не воспринимается как непреложная реальность — все чудится в этом какая-то чудовищная случайность, какой-то кошмарный перебой нормального жизненного ритма, временное выпадение из естественного бытия... Тогда как для сажающего и охраняющего чужая неволя — зауряднейшая норма, потому он и не может взять в толк, чем питается неуывающая наивность арестантов, жадно выпытывающих у него слухов об амнистии. Неизлечимее всего страдают амнистиоманией каратели. Задолго до начала последних известий они начинают сползаться к коридорному репродуктору и, наставив заросшие шерстью уши, пытаются вылущить из радиоплевел некое сокровенное зерно — намек на скорую амнистию. В качестве такого намека может выступить что угодно: от предстоящих выборов президента США до землетрясения в Ташкенте. Один из таких как раз освободился вчера, отсидев свои законные 25.

Остап Вишня рассказывал, как однажды (дело было в 1934 г.) он вернулся в зону с работы и увидел у вахты толпу с фанерными чемоданами и сидорами. «Что такое?» — «Дык амнистия завтра! А знаешь, на станции какая очередь за билетами?..» Вот с тех пор и ждут амнистии... в связи с принятием конституции, досрочным завершением очередной пятилетки, разгромом Германии, смертью Сталина, XX съездом, уходом на пенсию Хрущева, к 20-летию победы, 50-летию революции, к юбилею образования СССР, к 30-летию победы... и т.д. Амнистия для политических заключенных была лишь однажды — в 1927 году.

Несу я сегодня ведра с углем, а передо мной ковыляет, едва переставляя спички ног и придерживаясь рукой за стену, скрюченный дед, а над ним навис другой — грузный, в благообразной седине, с костылем под мышкой — и гудит: «Не бойсь, Митрич, вот в другом году соберутся в Югославии иностранные министры и пришлют к нам комиссию. За что, дескать,



маетесь? Так и так, скажем, люди мы смирные, трудящие, всем довольны, только по внукам соскучились... Виноваты, но достойны снисхождения... Будь она проклята, война эта и с Гитлером ихним! И отпу-у-стят, Митрич!.. Отпу-у-стят! А как же!»

Вот еще напасть — пришли с обыском, порастрепали все, поразворошили, пораскидали, а потом тот, что пошустрее и понаглее (навешивая на камеру амбарный замок, он неизменно острит: «Наше дело правое — закрывать левых»), развалился на койке и принялся за это письмо — мусолил его целую вечность, усмехаясь и одобрительно поглядывая на меня исподлобья. Я чуть не лопнул от злости — до того нестерпима эта бесцеремонность... Но пришлось смолчать — ему дано право копаться в моей душе, прохаживаться по ней коваными сапогами и поплевывать... А подыми крик — он тут же: «Письмо кажется мне подозрительным, забираю его на дополнительную проверку...» — и иди-свищи!

Что-то я еще хотел сказать — перебили с этим обыском... Ну да ладно. Дело уже к ночи.

Да, пронесся слух, что Сережу Бабича* опять посадили, 15 лет, говорят, дали. За что бы это? А мы так завидовали его освобождению!.. Поистине: раньше сядешь — раньше выйдешь, раньше выйдешь — раньше сядешь...

Ну и что же, что «Пакт о гражданских и политических правах» вошел в силу? Они и не думают его соблюдать. Возьми хоть ст. 15 — она прямо относится к нашим 25-летникам. А они сидят как сидели. Сколько же им маяться? Я не про карателей, хотя не прочь, чтобы и их поосвобождали — у нас бы воздух почище стал. Правда, вот таких, как Пачулия... Хоть и грех мне, арестанту, кому бы то ни было тюрьмы желать. Да я ему и не тюрьмы, а лютой смерти желаю. Он то, что здесь зовется бериевцем, то есть один из тех, кто отличался особо бесшабашной свирепостью и потом попал в козлы отпущения. Когда-то он был главным жандармом Абхазии. Говорят, что до недавнего времени мать одной из замученных им девочек

* Сергей Бабич, украинец, 1939 года рождения, четырежды судимый (два раза за политическую деятельность, два — за дерзкие побеги из лагеря). Отсидев 14 лет, освобожден в 1975 г., а в 1976 г. был приговорен к 15 годам по сфабрикованному КГБ делу о хранении оружия. (Примеч. автора).

присылала ему в годовщину ее смерти телеграммы с проклятиями — наконец он взмолился начальству, чтобы ему их не вручали. Как ты знаешь, 25-летникам, набившим мозоли на коленях, порой снимают часть срока, вот и его недавно представили на суд. К сожалению, суд был закрытым, и до нас дошло далеко не все. Отклонив ходатайство лагерной администрации, расписавшей Пачулию смиренным агнцем, суд пояснил, что слишком велики преступления Пачулии, который на протяжении многих лет превышением данной ему власти дискредитировал органы государственной безопасности. Пачулия разобиделся и пустился доказывать, что он всегда действовал в строгом соответствии с указаниями Центра. «А почему же, — оборвал его прокурор, — когда вам в 1952 году было велено закрыть карцеры, в которых люди сидели по грудь в воде, вы игнорировали этот приказ?» Пачулия пояснил, что он не игнорировал, а просто забыл об этом приказе, так как именно в то время случилась суматоха в связи со слухами о предстоящем приезде на Кавказ самого товарища Сталина...

Говорят, Пачулия убил какую-то родственницу Георгадзе — значит, сидеть ему свои 25. Впрочем, ему осталось всего года 3—4. И вот с такой мерзостью изволь соседствовать!

Велик ли лагерный пятачок? А каких только встреч тут не случается! Отец с сыном, брат с братом, враг с врагом, друг с другом, предатель с преданным, бухенвальдский узник со своим палачом, «ястребок» с «бандеровцем»...

Помню, встретились два бывших командира: один когда-то возглавлял группу карателей, другой командовал партизанским отрядом. Они друг за другом охотились, и однажды каратель изловил партизана, бил, измывался на нем, травил собаками. А на другой день по дороге в районное гестапо партизану удалось бежать. И вот попадает он где-то году в шестьдесят четвертом в лагерь за антисоветскую агитацию — и глядь: кто это? Да Ланцов, говорят. «Как Ланцов? Это же Хохряков!» Верно, говорят, Хохряков, только мы его Ланцовым кличем — больно уж душевно он поет о Ланцове, аж плачет»:

«Звянит звонок нащел разводу,
Ланцов задумал убьяжать,
По чярдаху он все слонялся,
И все вировочку искал...»

Разумеется, Ланцов и в лагере не давал жизни партизану — как и всякий каратель, он был членом СВП*.

Освободившийся в шестьдесят седьмом году Альберт Новиков, поэт, горячий поклонник Цветаевой и шахматист, рассказывал, что в юности был заядлым слушателем западных радиостанций, особенно, если не ошибаюсь, «Немецкой волны», и сам тембр голоса тогдашнего диктора ассоциировался у него с правдой, свободолюбием, рыцарственным служением идеалам демократии... И вот как-то, отсидев уже пять лет из своих десяти, попадает он в одиннадцатую зону (ту, что в Явасе) и слышит из-за двери кабинета начальника лагеря, где заседал Совет актива СВП, такой знакомый густой баритон, с той же задушевной искренностью и страстным напором клеймящий «отказчиков», нарушителей режима и неисправимых антисоветчиков. Этого диктора (запомнил его фамилию) каким-то образом заманили в восточную зону Германии... В лагере он исправился.

А вот совсем недавняя встреча, свидетелем которой мне довелось быть в последнюю неделю пребывания в больнице.

Камера для «особорезимных». Четыре койки в два ряда с узким проходом между ними: на той, что около печи, — я, напротив — Вася-дурак (молчит уже лет десять), на возлеоконных — два карателя: Реактивный и Флегма. Пятница — этапный день.

Р.: Ишь, как крысы-то под полом распищались! И Мурка куда-то ушлендала.

Ф. (штопает носки): Припрыгает.

Р.: Скукота... Ни радева, ни кина... В домино, что ли, сгоняем?

Ф.: Вот погоди, с носками управлюсь.

Р.: Может, кто из нашей зоны сегодня приедет. Что там новенького?

Ф.: А что там может быть?

Р.: Ну мало ли? Уже по времени пора бы этапу. (Мимо окна, глядящего на «запретку», шмыгнул туберкулезник.) Эй, Чахотка! Чахотка! («Тубик» подходит, опасливо озираясь: нет ли поблизости надзирателей.) Этап был?

Т.: Только что. Трое.

* Секция внутреннего порядка.

Р.: Из наших никого?

Т.: Не. Все из 19-й.

Р.: А кто да кто?

Т.: Два латыша и Полин.

Р.: Полин? С костылем?

Т.: Ну, да. (Уходит.)

Р.: Вот гад, и не сдохнет же!

Ф.: А что он тебе?

Р.: Да кабы не он!.. Из-за него, суки, сажу!

Ф.: Подельники, что ли?

Р.: Какой подельники! Он уже двадцатый добывает, а я только начал — три года.

Ф.: Продал, значит...

Р.: Продал, собака. «Ищите его, говорит, на Донбассе, там у его сестра замужем».

Ф.: И то хлеб, что не раньше, когда четвертаки давали: все-таки, пятиалтынный — не четвертак.

Р.: Разве что! (На минуту замолкает, крутит махорочную сигарку, закуривает.) А все, я тебе скажу, из-за бабы началось. Мы с ним, Полином, значит, односельчане, с-под Воронежа. Он бригадиром, комсомольский секретарь, да и я не шишка на ровном месте — тракторист. Ухлестывал я в те поры за соседской девкой Анькой. Ох и девка! Ну всем-то взяла: и работающая, и певунья, и плясунья... Чисто ходила вся, да румяная какая! Что говорится, круглая как репа, жаркая как печь. Нынче таких и не водится чтой-то. Все уж у нас слажено было, уж о свадьбе поговаривали, только, глядь, стала она выкобениваться: то да се, не надо, да не хочу, да погоду, да подожди... Я ей и сережки с городу, и платок, и конфет всяких — нет да и только, словно подменили девку. Не стерпел я раз, заманил ее на гумно, подол-то задрал, да и отхлестал...

Ф.: Бабу поучить завсегда надоть. Это дело известное.

Р.: Изве-е-стно! Тьфу ты, Господи! Она же тогда невестилась еще! Кабы жена моя, я бы ей и шкуру спустил!.. Да... А он-то, Полин-то, все около ей круги кружит да зубы скалит — и в поле, и на гулянке, когда случится. Ну, думаю, погоду, секретарь! И на престольный праздник, на Воздвижение, значит, подпоил я хлопцев, и мы об энтого Полина с евонными дружками все жерди обломали. Ну ладно. Только на третий день прикатали из самого Воронежа двое в кожаных польтах

— так и так, говорят, ты есть фактическая контра: товарища Сталина и колхозы матерно ругал — раз! Секретаря вражески измочалил — два! Трактор у тебя в летошнюю посевную вредительски ломался — три!.. Я тык-мык — куды там!.. С тех пор вот и живу с чужими зубами. Да... загнали меня в Воркуту, шахты долбить. Год долблю, два... Все, думаю, тут и смертушка моя. А молодой еще, помирать-то, ой, как не охота. Плетьешься это с шахты, мокрый, голодный, и плачешь... А до зоны-то аж двенадцать километров, ну-тка каждый день туды да обратно, покель до этой шахты проклятущей дотащишься, жить неохота! Ладно... Только и случись тут война. Уж мы, веришь ли, возрадовались ей, как царствию небесному, — и хотели добровольцами, добровольцами... Ан, нет, брат: иди сюда — стой там, не всякого поперву-то, с перебором — через коиссию... Ладно, попадаю в штрафбат. Это, я тебе доложу, войско!

Ф.: Как же, знамо дело.

Р.: Да ты-то откуда знаешь? Был, что ли?

Ф.: Бывать не был, а видал. Немцы их шибко боялись. Где горячо там их и суют, да коли попятятся так их пулеметами сзади-то свои же подпирают... А то они у нас как-то двух баб ссильничали до смерти...

Р.: Двух б-а-б! Тьфу бабы! Наша братва вот раз цельный лазарет на лопатки положила, врачешек-то энтих да сестер. Арт-обстрел как раз был, они и дриснули в овраг прятаться, а там нашенские... Оружие нам выдавали только как в атаку идти, но... всякие там вальтеры у нас завсегда водились... Мужиков, которые были, постреляли, конечно, а мокрощелки сами растелились!.. (Он вдруг замолчал и на всякий случай испугался.) Я-то там не был, ты не подумай, я этих делов страсть как не люблю...

Ф.: Гм, хорошего мало... Дак война — то ли еще бывало.

Р.: Ну да!.. Потом, ясное дело, Смерш наскочил, да куда там! Утром мы штурмовали одну высотку, так, почитай, половина там полегла — поди разберись... Ну, ждал я, когда меня заденет, чтобы, значит, под суд да из штрафбата смыться. Только когда задело под Ростовом, думал, хана — обе ноги перебило и спину покорежило... Наши-то откатились, а я лежу без памяти — ну, немцы и подобрали, подлечили малость...

Ф.: Чегой-то они так сразу?

Р.: Так жить-то охота!.. Я, как поташили, враз смикитил, что хана, и кричу: так, мол, и так — заключенный, за контрреволюцию, на фронт силком пригнали! А там, думаю, драпану, как ни то. Да где! Двое наших-то драпанули, дык их партизаны повесили на опушке... Да, оно бы, конечно, можно, ежели по правде-то говорить, да как-то оно все неладно складывалось. Вот у меня, к примеру, был случай раз. Веду я двух — немцам сдавать, а они мне: бежим, мол, с нами — к партизанам, стало быть. Да... А уже немчуру эту жмут, жмут ее со всех концов — и дураку видать, что капут ей. Самое бы времечко метнуться в лес. Только все оно не так просто, как вот в кинотеатре кажут. Вот и тогда они мне, давай, мол, с нами — прощенье тебе выйдет... А я уж и сам подумывал. Только в тот раз никак нельзя мне было: башка болела, мочи нет — раненый, значит, был... Какой тут лес! До лазарету бы как докандыбать, вот на станции, куда я вел-то их. Э, думаю, другой случай будет, когда подлечусь малость... Вот как оно бывает-то.

Ф.: Ну, а Полин-то?

Р.: Чего?

Ф.: Полин-то, спрашиваю, где ты его встретил?

Р.: Это еще до того, зимой — аккурат в декабре 43-го. Он тоже в плену очутился да убежал — партизанил... Только возьми и попадись немцам-то, ну и, знамо дело, спужался — весь свой отряд продал... У немцев-то не на собрании кулаками махать, как бывалоча: мы-де то, да мы-де се, дадим стране угля, пятилетку в три года! Да... Он меня и видел-то всего мельком, а вот, вишь, вспомнил: ищите его, мол, на Донбассе... Это он в заявлении так: осознал, мол, свою великую вину перед партией и народом и дюже каюсь, а такого-то ищите на Донбассе... Ну и нашли.

Ф.: Да, это не гоже: одно дело не выдюжил человек под плетями, али там когда к стенке прислонили. Это понятно, это по человечеству... А так: сам тону, так и ты пузыри пускай, это уж от подлости.

Р.: Вот и я говорю: что ему оттого легче, что ли, что он меня посадил? Отпустили его? Шиш с маслом! И не отпустят, хоть ты всех пересажай! Так и будет свои 25 гнуться. И так ему и надо, кобелю подзаборному.

Ф.: Ну, это ты зря языком-то мелешь — двадцать пять никому желать неслед, и врагу лютому, уж лучше сразу к стенке.

Это я тебе от сердца говорю — сам одиннадцатый год маюсь... Ты-то еще начал только, погоду — так ли еще взвоешь!!!

Р.: Да за что выть-то?.. Было бы за что, а то ведь так! Приписали мне всяку небывальщину...

Ф.: Что ты мне заливаешь! Не на следствии небось... Что приписали — это само собой. Это завсегда, но ведь зато и мы с тобой не как у батюшки на духу: на, товарищ следователь, кушай нас с потрохами...

Р.: Еще чего! Когда бы знать, что они спишут свои враки, тогда — дело другое: я вам всю как есть правду-матку, а чего не было — того не было. Вот на меня повесили две тысячи. Две тысячи — это же дело нешутейное! А какие там тысячи, если я только в оцеплении стоял и ни разу не стрельнул. А? А ты говоришь!

Ф.: Это, конечно. Я вот много об этом думал и смотрю на нашего брата так. Были некоторые среди нас злодейничали, были, чего уж там... Но все больше, которые по злобе убежали к немцу али из партийных: им же не так, чтобы верили, вот они и лезли из шкуры — услужали. А наш брат, простой солдат, с него какой спрос? Ну там, в роте, чтобы все по приказу, не оплошать. Это само собой, это наше дело, а в плен попал — все, уже не солдат, и дай ты мне покой... Ан нет. Это же звери, а не немцы! Вот меня, к примеру... А, да что там говорить — и вспоминать-то неохота. И бежать-то не больно убежишь: мы же Сталина приказ все знали — раз пленный, то и предатель... Разве это по правде? Конечно, которые сами пошли к фрицу или которые раньше громче всех ура кричали, — вот с этих и спрос. И мы, по правде-то, не без греха, чего уж там... Так ведь не по своей же воле. Правильно я говорю?

Р.: Еще как! Вот Полин-то энтог как раз и есть такой: что ни собрание, уж он за столом раскорячился и ну кричать: мы-де то, да мы-де се, а ежели фашист-германец на нас, мы его враз укоротим — будем-де бить супостата на евонной земле... Ох-хо-хо! (У окна появляется высокий мужчина, лицо сухое, в красных прожилках, губы ехидно сжаты, в правой руке палка. Это Полин.)

П.: Где тут мой землячок? (Распахивает форточку.)

Р. (вскочив с койки): Ты дивись! Он же меня посадил. и он же землячок! А ну катись отсюда, не доводи до греха, юда!

П.: Вот те раз! Я же и юда!

Р.: А кто же — я, что ли?

П.: А то не ты!

Р.: Я!

П.: Ты! Кто меня фрицам продал?

Р.: Сам попался!

П.: Сам-то сам, да если бы не ты, я бы как-нибудь вывернулся... А то: господин следователь, он комсомольский секретарь, я его знаю. Ух, шкура! Из-за тебя я и парюсь тут и всей заслуженной карьеры лишился. У меня уже орден был и две медали...

Р.: А ты меня за что посадил в тридцать-то девятом!

П.: Я, что ли, тебя посадил? Да и за дело!

Р. (хватает чайник и замахивается): Уйди-и, гад! Убью-ю!

П. (отступает на шаг от окна и злобно смеется): Давай, земля, давай! Бей по решке — может, сломаешь, а я тут тебя палкой встречу... Думал, подвел Полина под монастырь, а сам фрукты-яблоки будешь кушать? Нет, земля, погрызи вот теперь арестантского хлебушка вволю, а то до войны-то, видать, не накушался его!

Р. (чуть не плача): Уйди! Христом Богом прошу, уйди от греха!.. (Из-за угла вывернулся надзиратель.)

Надзиратель: Эт-та что такое? Что за крик?

Р.: Гражданин начальник, убери его отсюда! К нашему окну запрещено подходить! Я буду жаловаться!

Надзиратель (Полину): Ты чего тут?

Полин: Я, гражданин начальник, ничего. Это я так — мимо шел, а этот вот крик поднял на всю Ивановскую... Что же и пройти нельзя, что ли? (Уходит, прихрамывая. За ним надзиратель.)

Р.: Ах, сволочь, ах, христопродавец! За дело, грит, я тебя посадил! А! Это же надо! И чтобы мне его тогда шлепнуть, у немцев-то... Ну погоди, в другой раз я не оплошаю, юда!

(За неимением греческого хора, на сцене появляюсь я: мне эта трепотня изрядно надоела, и чем дольше я сдерживаюсь, тем бешенее горят потом мои глаза.)

Я: Слушай сюда, полиция! Вы здесь всего два дня, а у меня от вас уже голова трещит! Или вызывайте начальника режима — пусть он вас быстренько убирает в другую камеру, или сидите тихо, а не то я вам головы пооткручиваю! И про иуд ни слова: предатель на предателе, а все на евреев киваете. Сволота! Иуда хоть сам повесился, а вас в петлю и трактором не за-

тащишь — жизнелюбы! Поняли? Ну? Отвечайте: поняли или нет?

Ф. молча кивает головой, Р. бормочет: «Понятно». Воцаряется гробовая тишина. Через минуту мне уже нестерпимо совестно, и я пытаюсь смягчить ситуацию: «Я вас предупреждал, что воплей и беспрерывного трепя не перевариваю. Вы же не одни в камере. Раз уж мы вынуждены вместе сидеть, давайте считаться друг с другом. В идеале каждый может заниматься чем угодно, но так, чтобы минимально мешать другому... Вы, понятное дело, без трепотни загнетесь через день, черт с вами — трепитесь, но не так громко и не беспрерывно, а то я могу не выдержать...»

Они молча принимаются за домино, а я в который раз погружаюсь в бесплодные размышления о проблеме карателей, а также о проблеме так называемого простого человека в экстремальной ситуации. Вспомнив брехтовского Галилея, я соглашаюсь, что «несчастлива», то есть нестабильна, беременна грядущим распадом та страна, где честность синонимична героизму и мученичеству. Однако в данном случае речь идет не о мирной повседневности, а о войне: правомерно ли требовать героизма от каждого, и за отсутствие такового столь сурово наказывать? Черт его знает. Если бы они были просто негерои, а то ведь они еще и каратели... В конце концов я признал, что у Ф. и Р. была некая правда. Ничего удивительного: вон в какие пропасти их бросало. Они прошли огни и воды и фаллопиевы трубы — благородства в них не ищи, но в известной мудрости отказывать им не следует. Несомненно, основная вина за превращение пленного в карателя падает на то государство, которое принуждает к палачеству под угрозой смерти, и на то, которое заранее объявляет своих пленных предателями. Однако ничто не освобождает от ответственности самого человека, и эта ответственность тем больше, чем отчетливее были предвзятельные идеолого-личностные претензии данного лица.

Одновременно я прихожу к окончательному заключению относительно вины государства в той трагической истории, которую я зову проблемой Павлика Морозова. Когда-то его смерть была идеологически препарирована и подана населению в качестве образца, достойного всяческого подражания. В лагерях Павлик Морозов давно уже синоним наимерзейшего предательства — донос на родного отца. Да и сейчас наши уголов-

ники, когда пишут покаяния, частенько упоминают Павлика Морозова как ярчайшее доказательство, на их взгляд, искренности раскаяния: я, дескать, всегда воспитывался на примере Павлика Морозова и только случайно оступился... В самом деле, проблема: с одной стороны, донос на отца (впрочем, не стоит забывать, что и папаша тоже хорош — угробил сына), с другой — горячее служение некоей идее, которое, как ни говори, лучше обывательского равнодушия. Не мог же он делать исключение для отца (вспомним язвительное грибоедовское: «Ну как не порадеть родному человечку?»). Вот и выходит, что в смерти Павлика Морозова виновата патологически идеологизированная система, которая требует от несмышленища фанатического обслуживания своих политических нужд и, вместо того чтобы наказывать *любое* несовершеннолетнее доноительство, поощряет его — за центнер пшеницы, выкопанный из кулачского тайника, калечит мальчишеские души... Это первая степень подлости, а возведение смерти романтического доносчика в образец поведения для каждого — подлость второй степени.

Есть же уголовная статья за вовлечение несовершеннолетнего в преступление, должна быть и статья за вовлечение его в политику, в том числе и официальную. Иначе оправдан и гитлерюгенд с фауст-патронами в цыплячьих ручонках.

Кстати, одним из свидетельств некоторой гуманизации внутрисоюзного климата является и такой неброский штришок, как постепенное забвение «героического подвига Павлика Морозова».

Дискуссия по поводу понимания сути законов.

Ф., в качестве истинно русского, считает закон бесчеловечным изобретением буржуазного рассудочного Запада, чем-то жестко-холодным и противоестественным. Ему ближе нечто, идущее от сердца, — милость ли, кара ли... Конечно, не от сердца узурпаторов, а от сердца Богом помазанного государя.

Разумеется, мне тоже претят крайности немецкого (периода Третьего Рейха) толка — законопослушание в качестве высшей человеческой добродетели. На мой взгляд, маниакальная потребность в законодательном оформлении людоедства — скорее область психиатрии, нежели социопсихологии. Поража-

ешься тому, сколь немного времени потребовалось (стоило лишь отгородиться штыковой стеной от всего мира), чтобы такое относительно нейтральное свойство характера — законпочитание — трансформировалось в машинное бездушие. Впрочем, законпочитание — не столь уж и нейтральная черта характера: достаточно обозреть человеческую историю под этим углом зрения, чтобы понять, что, сколь бы ни были кровавы всяческие бунты — это всего лишь лужица рядом с морями крови, безнаказанно пролитыми и проливаемыми законопослушными и смиренными людишками. И до дрожи омерзения непостижима именно эта потребность в детальном узаконении зверств — только тогда исполнитель искренне примиряется с собственной совестью или с чем-то там, во что превращается этот иудейско-христианский пар у исполнителей. Как его? Глобке, что ли? Тот, которого обвинили в разработке Нюрнбергских законов? Он пояснил, что отлично понимал бесчеловечность и безумие расовой политики и практики, но «хотел внести порядок в хаос», видимо, потому, что хаос более всего претит законопослушной душе, и как только хаос как-то (все равно как) упорядочен, он мгновенно обретает магическую силу над душами, поклоняющимися порядку — все равно какому.

Итак, я — за закон. За закон, обвенчавший свободу со справедливостью, за закон, но с ежеминутной оглядкой на совесть и гуманность, с правом в иных случаях на решительное «нет», с ответственностью перед неким международным судом, типа Нюрнбергского.

P. S. (Специально для цензоров.) Объективности для следует сказать, что верхи обеспокоены тем, на что еще Петр I указывал: «Все законы писать, когда их не хранить», и призывают население активно критиковать и разоблачать все нарушения законов. Именно в этом ключе, надеюсь, расценят уважаемые цензоры мои критические замечания об отдельных несовершенствах «хранения» законов, особо обратив внимание на то, что на основы я не посягаю и никого никуда не зову, а всего лишь смиренно постанываю любимой жене на ушко. .-

Послушай, неужели они и в самом деле подумывают об отмене поправки Джексона—Ваника? Надеюсь, это всего лишь параша.

Кстати, о спорной этимологии слова «параша». Оно, конеч-

но, не от женского имени Параскева, как думают, а, вероятнее всего, от слов паршивый, парша, паршивое ведро, т.е. ведро для помоев. Второе значение «параши» как вздорного слуха родилось еще в том веке, вероятно: дежурный по камере звался парашником, т.к. выносил и опорожнял парашу. У выгребной ямы собирались все парашники и, как деревенские сплетницы возле колодца, обменивались новостями и домыслами. Парашник возвращался в камеру и приносил свежую «парашу», т.е. какую-нибудь сплетню, слушок.

Верность моей догадки подтверждает и то, что на польском тюремном сленге параша зовется качкой, т.е. уткой, и опять же «утка» — ложный слух.

Это сколько же годочков минуло с тех пор, как Достоевский гневно недоумевал по поводу необходимости всю ночь дышать парашным зловонием? Лет 130 с тех пор прошло. Но и не без прогресса: в те времена парашу вносили в камеру только на ночь, теперь она круглосуточно напоминает нам о решительной никчемности писательских вздохов, из сколь бы гениальной груди они ни исторгались...

Как и обычно при этапировании, в больницу ни книг с собой нельзя взять, ни газет, ни, тем более, писем. А тут нет и намека на библиотеку, достать клочок газеты на курево и известные нужды — проблема. Лишь домино помогает убивать время тем, кто его убивает.



ПРИЛИЧНАЯ ТЮРЬМА

Я уже и не помню, когда последний раз писал тебе, минуя цензуру. Лет пять тому? С каждым годом Москва все дальше и дальше, подергивается дымкой некоей невсамделишности... Она уже почти не снится мне, разве что изредка, но не теперешняя, в унылых коробках окраинных новостроек, слишком модная, чиновная и сытенская, меня изгнавшая, за мной следившая, Москва-Кремль, Москва-Лубянка, Москва-Лефортово. Снится мне Москва моего детства, тополиный пух на тихой улочке, обставленной ветхими двухэтажками, дощатый забор нашего двора, в зеленых недрах которого звонко гомонит, потрясая ружьями-палками, чумазая орава, никак не умея разделиться на «немцев» и «русских» — никто не хочет быть «немцем»... «А евреем кто хочет быть?» — спрашиваю я во сне. Никто. Уж лучше немцем...

Былое накладывается на вымысел, сны вклиниваются в сны, а память, смущенно почесывая в затылке, мямлит что-то неопределенное, и дело тут не столько в давности, сколько в некоей инопланетности всего запроволочного. Я еще не дошел до состояния тех несчастных, по бредовому убеждению которых, без кремлевских директив и солнце не восходит, и давным-давно нет никакой заграницы (а может, и не было никогда) —

ее выдумали хитроумные вожди, дабы было, на кого сваливать все экономические неурядицы... Я еще держусь, но порой ловлю себя на попытках шизофренически тонко обосновать ужасное подозрение-прозрение, что на самом деле лишь лагерь и то, что существует в связи с ним и ради него, вполне реальны, все же прочее — мираж, порождения одурманенного тухлой баландой сознания. Или вдруг взбредет в голову, что в тот небывалый вечер в канун нового, 1971 года, когда я шел умирать, меня действительно расстреляли, но, насмерть продырявленный в реальном мире, теперь я механически функционирую в каком-то иллюзорном, параллельном — порождении предсмертной неистовой мольбы о жизни... ну и т.д.

Впрочем, все это, скорее, уловки удрученного беспросветностью каторги сознания, которое с отчаянным видом мечется, брызжа тиной, по топким болотам странноватого мышления, но едва завидит подернутые зеленой ряской бочаги психических отклонений, разворачивается и, усмехаясь иронически, плетется к тверди трезвости. Другое дело, что и трезвость эта с изрядным перекосом, о чем мне сигнализирует Сильва, не без основания усматривая в моих письмах свидетельства злокачественной уязвленности моего сознания тюрьмой. Она опасается, что я никогда от этого не излечусь. Возможно, тюрьма, как война, и убивает, и увечит — одних шибко, других не очень, одни потом, вываливая свои обрубки в пыль, выжимают из людского сострадания медяки, водку или дачу, похваляются своими подвигами, но никогда уже не пойдут под огонь; другие до такой степени ненавидят войну, что готовы снова и снова рисковать жизнью, ради того, чтобы сцепить пальцы на жирной глотке хоть одного из ее конкретных виновников. Как же мне не быть уязвленному тюрьмой?

Надо признать, что я пересидел, чему верный признак накапывающие на меня волны апатии к радостям вольной жизни. Я, никогда не имевший не только квартиры, но и собственной комнаты, для кого гарантированное одиночество на часок-другой в день — предел мечтаний, кому при слове «машина» в первую очередь мёрещится «воронок», вдруг обнаружил, что, сколь бы красочно ни расписывала Сильва уют ожидающего меня домашнего очага, меня оставляет это совершенно равнодушным, как и проблема преимуществ одной автомарки перед другой — я, смешно сказать, так и не знаю, то ли она уже об-

завелась автомобилем, то ли еще только собирается: читаю и тут же выскакивает из головы. Вряд ли это естественно для лишенного всего, логикой вещей обязанного быть повышенно чувствительным ко всяческим вещно-плотским утехам. Этим равнодушием я невыгодно отличаюсь от здешнего большинства. Холодность отходящего, угадавшего неизлечимость своего недуга? Клейкие листики, солнечные восходы и терпкое неистовство плоти его уже не волнуют: обращенным во внутрь взглядом он все пытается рассмотреть что-то другое, самое важное. Вряд ли это так, но иногда я подозреваю, что мне не удастся отсюда выбраться. Никогда. Слишком глубоко меня засыпало в этой могиле. В такие дни я начинаю письмо Сильве, мучительно подбирая слова о том, что ждать меня — напрасный труд, но кто скажет, как написать такое письмо? И пока я исхожу над ним скрежетом зубным и стонами, тихонько подкрадываются дни, когда в груди начинает слабо плескаться надежда... и я откладываю это письмо, уговаривая себя подождать еще годик-другой, чтобы окончательно убедиться, что исхода нет.

Что-то мрачновато у меня выходит, да? Постараюсь перестроиться, но пока дай выговориться — выплескаться. Положение у меня довольно тяжелое: начальство не взлюбило меня пуще прежнего, вцепилось клещом, наказания сыплются словно из рога изобилия — как ни повернусь, все не так. Сижу на голодном пайке, запретили даже курево покупать — пришлось за десять пачек махорки и две буханки хлеба расстаться с последней парой белья... Но это куда ни шло — не впервой, выдюжу, к тому же голод, по слухам, полезен, а треугольный оскал островитянина мне более к лицу, нежели пиквикские полусферы. Все это не смертельно, тем паче учитывая мою выносливость и уникальную способность за пару дней нормального питания обретать привычные мышечные формы. А вот лишение свидания — это да, тут они лягнули меня в чувствительное место, и в первую очередь потому, что поездка матери в этом году была бы, очевидно, последней: влачить свою дряхлость в такую даль, по таким бездорожьям ей уже не под силу. Значит, теперь я могу рассчитывать только на двухчасовое свидание в декабре. Боже мой, какое невообразимое лицемер-

рие! В какой, скажи на милость, тюрьме, самой что ни есть расфашистской, возможно такое садистское сочетание высоких слов с подлейшей практикой? В данном случае — сочетание деклараций о социализации заключенных с двухчасовым свиданием раз в год, разглагольствований об укреплении семейных уз арестантов с одним письмом в месяц!.. Как это они еще входящие письма не запретили?! Недели через три после двухчасового разговора с Б. на меня вдруг посыпались тревожные письма с уговорами «держаться». Все разъяснилось, когда Б. написала, что я произвел на нее «жуткое впечатление невыносимым напряжением», которое я якобы эманую... Странно, я вроде бы был в норме, тем более что заранее проглотил четыре таблетки элениума. Зная, какая это дьявольская нервотрепка — свидание, — я, чудом раздобыв их еще летом, специально припрятал на этот случай. Ну, списать там всякие эманации можно за счет повышенной чувствительности реципиента, все же прочее, на мой взгляд, не могло дать повода для усиленного беспокойства обо мне. Единственная мрачноватая фраза, вырвавшаяся у меня, звучала примерно так: «Все мы тут на пределе и очень надеемся на 1977 год. В том числе и я. Неразумно, конечно, но больно уж я устал...»

И вот она пишет: «С ужасом думаю о том, что будет, если твои надежды не оправдаются». Почему с ужасом? И эти уговоры «держаться», словно мне дан какой-то другой исход. В смерть? Но не столь уж нестерпимы для меня лагерные мытарства. Хотя главное, что меня держит, это то, что я ведь еще и не жил. Убиваются или от нестерпимости мук, или от пресыщения жизнью, в суетном жирке которой зачихали все порывы, цели и смыслы. Я еще не жил, и у меня есть вымечтанная сказочка о свободе — это меня и держит. Ну ладно, постонал и довольно. В принципе, ничего страшного: ну, совпал мой депрессивный цикл с волной начальственного рвения по искоренению бунтарского духа в зоне, ну, голодный, ну, расхворался, ну, в долгах как в шелках, ну, света белого не вижу, ну, еще то да се по мелочишке... Ничего, злей буду! Карцером меня пока Бог миловал и то потому, что все одиночки заняты, а когда освободились, я затеял голодовку.

Кстати, о голодовках. Я прибегаю к ним крайне редко, с большой осмотрительностью и лишь тогда, когда задеты не столько и не только мои личные, сколько общеарестантские интересы и, следовательно, можно рассчитывать, проведя соответствующую работу, на массовую поддержку. Настоящая голодовка (а иных я не признаю) — штука чрезвычайно мучительная, ибо (в отличие от лечебного голодания, при котором совсем иной настрой) муки физические неизбежно сопряжены с иными — следствием разностороннего психического давления тюремщиков. Подвигнуть голодных к голодовке очень не просто, отчаяние должно быть помножено на надежду, а если таковая не оправдывается — надолго воцаряется дух уныния и распада. Ибо большинство не верит в сопротивление, предпочитая увиливать от ударов или урывать свой кусок нищенских благ рабским лукавством и терпеливостью, считая бóльшим достоинством тренированную мозолистую спину, которой не страшны палки, — нежели умение орудовать мечом.

Всякий групповой протест здесь эквивалентен сотне на Западе, так как здесь полностью утрачены и без того достаточно слабые традиции сопротивления властям. Заключенные — более истинные пролы*, чем древнеримские (как и те, обладая лишь детородными органами, они лишены возможности пускать их в ход), и нет социального слоя, подымчивее их, но они способны только на индивидуальные бунтики, часто крайне уродливые. Причин тому много, но одна из очевиднейших — удесятеренная жестокость репрессий за групповые действия. Попробуй-ка, к примеру, в уголовном лагере заикнуться о забастовке или голодовке, руки до самой задницы пообрывают... как провокатору, поскольку участие в любых массовых актах протеста или неповиновения — это верная «дырка», как называют лагерники высший акт исправительного воздействия на преступника — расстрел. Лишь с нами, благо нас мало и мы все более или менее на виду, стали последние пять лет поцеремоннее обходиться, а с уголовниками по-прежнему не больно-то считаются.

Меня известили о вялой реакции на наши голодовки тех, на чью помощь мы рассчитываем. Меня удивляют уговоры «бе-

* Пролы — социальная прослойка в древнеримском обществе. Они не платили налогов, т.к. не обладали никаким имуществом, кроме детородных органов. Слово «пролетариат» этимологически восходит к слову «прол».

речься». Словно мы голодаем с жиру или ради сенсации. С такой же убедительностью можно уговаривать самоубийцу не бросаться с моста, поскольку это нынче не в моде. Голодовка — практически наше единственное оружие. Следует печься о его остроте и эффективности, но отнюдь не складывать его.

Людам с развитым правосознанием особенно тяжело дается пребывание в лагерной юдоли скорбей, унижений и издевательств. То один, то другой, махнув рукой на жалкие блага, даруемые начальством за смиренное рабство, пускаются в тяжкие странствия по карцерам, прижимая к груди не икону личных обид, ущемлений и претензий, но древко высоко поднятой хоругви требований очеловечить тюремную жизнь всех политзаключенных. При этом, обосновывая свои требования, страстотерпцы смущенно ссылаются на полумифический «статус политических заключенных», якобы выработанный некогда в светлом закордонье, на основании некоей международной конвенции о содержании политических узников. Ох, уж этот свободный доступ к информации! Короче говоря, нам нужен авторитетно признанный «Статус», на недвусмысленные параграфы которого можно было бы сослаться. Вообрази, Стефа Шабатура почти два года маялась по карцерам (а надо знать, что такое карцер, чтобы за голову схватиться: два года? женщина?!), отстаивая «Статус», а его как такового никто в глаза не видал. Привезли тут ребята из тюрьмы пару проектов «Статуса», но они вопиюще дилетантские: основной их дефект — отсутствие правовых формулировок. Предлагаю Комитету защиты прав человека в СССР проект «Статуса политических заключенных», написанный Черноволом в содружестве со мной*. С этим проектом я ознакомил моих солагерников. «Ах, — говорят, имея в виду правовые и бытовые претензии к государству. — если бы!.. Тогда и на свободу не надо!»

Кстати, в «трюм я чуть не угодил из-за (вообрази себе) Картера, точнее, из-за его фотографии. Никогда в жизни не вешал я на стену чьи-либо изображения — ни Господа Бога, ни голых див, ни обмундированных вождей, а тут что-то взбрело в

* Смотри «Приложение».

голову... При всем скепсисе я истосковался по высоким словам и справедливости и восторженно разеваю рот, если чуткое ухо не улавливает в этих словах фальши. Картеровское «Обращение к иностранной аудитории» проняло меня. Захотелось поверить, что оно написано им своей рукой. И я этому поверил, вникнув в выражение его лица на снимке, где он поднял руку для присяги на Библии.

Я написал ему письмо, но потом быстро усомнился в его достоинствах и главное — в тональности: не слишком ли вольно оно написано? Навыка обращаться к президентам у меня как-то не выработалось, а писать наново душа не лежит: одно дело махом излиться, другое — осторожно подбирать выражения, не столько заботясь об их искренности, сколько о приличиях. Так, честно говоря, опасаясь интерпретационных перекосов: жанровое чутье подсказывает мне, что письмо-обращение нельзя загромождать детализированным обоснованием своих позиций, они по преимуществу лишь декларируются, но если эти позиции не совсем тривиальны, то трудно нащупать необходимую и достаточную меру демонстрации их обоснованности не в ущерб удобочитаемости такого письма. Учитывая все это, плюс неверие в возможность таким (да и любым) письмом способствовать улучшению арестантской жизни (а оно именно об этом, если вчитаться), а равно плюс сомнения, дойдет ли оно до Картера, и уверенность, что уж до тех-то, кто может мне крепко насолить, оно несомненно дойдет, — учитывая все это, я отказался от намерения просить тебя изыскать возможность отправить мое письмо Картеру. Но поскольку я с ним ознакомил ряд заключенных и оно, получив полное одобрение, может считаться в некотором роде выражением арестантских настроений и чаяний, я посылаю его А.Д.Сахарову — в частности, и в надежде услышать с воли корректировку моего подхода к решению глобальных проблем.

АКТ

Сего шестого числа февраля месяца 1977 года мы, прапорщик Курмаев и прапорщик Столяров, во время очередного обыска в пятой камере из запрещенных предметов обнаружили: красный карандаш и над головой осужденного Кузнецова приклеенный к стене портрет американского прези-

дента из газеты. На требование снять Кузнецов отказался. Во время срывания издевался над советской властью, говоря, что Картер — великий человек, и другие словесные оскорбления. Требуем водворения осужденного Кузнецова в ШИЗО. С актом Кузнецов ознакомлен. От подписи отказался.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ США ДЖ. КАРТЕРУ

Из глубины воззвал к тебе я...

Псалом 129

Господин Президент!

Ваше «Обращение к иностранной аудитории» придало мне смелости взяться за это письмо. Вы нашли поразительно сильные, мудрые и человечные слова, способные заронить надежду и в самых скептических сердцах.

Позвольте представиться, г. Президент, дабы Вам было ясно, кто осмеливается отнимать у Вас время. Прежде всего следует сказать, что я не принадлежу к безоговорочно благоговейным поклонникам нынешних США, но великие американские идеалы являются достаточно весомой частью моего мировоззрения и сыграли не последнюю роль в том, что жизнь моя повернулась так, а не иначе. Я один из тех, кто пытается вычитать Америку из книг Фолкнера, Вулфа, Фицджеральда и кого мало волнует дешевизна ваших автомобилей и величина прибылей ваших бизнесменов. Я один из тех, кто давно смотрит с надеждой на Вашу страну, никогда не уставая верить в ее великое будущее и полагая чуть ли не пределом личных мечтаний одну лишь возможность побывать в ней.

Отсидев к 1968 году семь лет за так называемую антисоветскую деятельность, не «перевоспитавшись», но в то же время не желая вновь оказаться за решеткой, я пытался добиться легального выезда в Израиль. Однако сам процесс оформления выездных документов в то время был загроможен таким количеством циничных препон, что надо было обладать поистине нечеловеческой гибкостью, чтобы преодолеть их. Я такой гибкостью никогда не обладал и потому, потеряв всякую надежду на законное осуществление моего права на эмиграцию, глубочайше возмущенный этим, отлично понимая, что в качестве экс-зэка, не умеющего и не желающего

скрывать своих взглядов, очередное водворение в «казенный дом» для меня лишь вопрос времени, я предпринял отчаянную попытку бежать из тюрьмы.

Да послужит мне и моим единомышленникам хотя бы некоторым оправданием тот неопровержимый факт, что жизнь в СССР была для нас невозможной и что планируемый нами захват самолета исключал человеческие жертвы. Мы рвались в Израиль, к свободе, но не любой ценой, не ценой людской крови. Будучи объектами неусыпной слежки, мы были с самого начала нашей затеи обречены на провал, сознавали это и все же не могли отказаться от самого иллюзорного шансика на свободу.

Лишь одно нам удалось несомненно: привлечь внимание мировой общественности к эмиграционной проблеме в СССР. Если до этого Москва беззастенчиво отрицала наличие такой проблемы, то после судебной расправы над нами частичной либерализацией эмиграционной политики она признала не только существование самой проблемы, но и то, что циничным попранием нашего права на эмиграцию она толкнула нас на шаг, умышленно и ложно квалифицированный судом как измена родине.

Г-н Президент, я полагаю, Вы согласитесь с тем, что идейно-политический облик нормального человека не обязан фатально определяться страной его рождения и резолюциями правящей партии. Я не принадлежу к той опасной и чрезвычайно многомиллионной категории людей, которые в СССР — коммунисты, в нацистской Германии — фашисты, в Китае — маоисты... И здесь, и всюду я норовлю остаться самим собой, а значит, живи я в нацистской Германии — быть мне «блотным солдатом», окажись я в нынешнем Китае — сидеть мне в концлагере, как сижу я уже 14 лет в СССР. К счастью, я могу назвать значительно большее число стран, в которых я не сидел бы за свои убеждения и не был бы вынужден ради эмиграции в Израиль посягать на захват самолета. А впрочем, что с того, что я могу их назвать!.. Родившись, по невезению, не в той стране, заклинаниями делу не помочь!

Г-н Президент, вообразите на минуту невозможное — представьте себе, что Вам адски не повезло и Вы родились в СССР. Вписались бы Вы в его социально-политическую систему? Я уж не спрашиваю: стали бы Вы здесь главой прави-

тельства? Не исключено, что еще в юности Вам удалось бы очнуться от идеологического дурмана и Вы могли бы оказаться неосторожным, например, в выражении симпатии к США, положив тем начало цепи мрачных злоключений, подстерегающих всякого, ступившего на тропу инакомыслия, опасную тропу, с которой можно лишь сползти, тогда как прямоходящего она почти неизбежно приводит к тюремным вратам. Потом, поняв, что в качестве политически неблагонадежного Вы обречены на слом, на бессловесное смиренное прозябание или — не желая хамелеонничать — на все новые и новые лагеря, Вы приложили бы все мыслимые и немыслимые усилия для легального выезда в США, страну вашей мечты, но, столкнувшись с наглым отказом, зная, что само ваше намерение покинуть СССР зловеще приравнивается к «измене родине», отчаянно понимая всю жуткую реальность угрозы в любой момент оказаться за решеткой, Вы, возможно, попытались бы бежать за границу и получили бы 15 лет, отсидев 7 из которых, однажды прочитали бы «Обращение к иностранной аудитории» Президента США:

«...Мы нуждаемся в вашей помощи и предлагаем вам свою. Мы нуждаемся в вашем опыте... Мы нуждаемся в том, чтобы вы приняли активное участие в совместных усилиях, направленных на то, чтобы приблизить реальные условия в мире к идеалам человеческой свободы и достоинства... Вы можете быть уверены, что США будут по-прежнему выступать за свободу людей. Вы можете также быть уверены, что США будут чутко откликаться на ваши собственные заботы и чаяния...»

Ваше сердце зажглось бы надеждой, и Вы тайком взялись бы за письмо Президенту США, чтобы рассказать о своем отчаянии, бедах и упованиях узника.

Сказав, что США — одна из тех стран, в которой я не был бы профессиональным арестантом, я имею в виду, что меня не посадили бы там за тот образ мыслей, за который я был осужден здесь в 1961 году, что я не был бы вынужден, желая эмигрировать, помышлять о захвате самолета и, следовательно, не стал бы «изменником родины». Но ни одна страна не является Царством Небесным, и для человека с обостренным чувством справедливости в любой стране могут найтись причины для возмущения, которое при известной горячности темперамента и несчастливом стечении обстоятельств порой может перейти



границы законности. Таким образом, допускаю, что при некоторых, смею надеяться, маловероятных обстоятельствах, случись мне быть уроженцем США, я мог бы оказаться и там в числе американских политзаключенных (если таковые у Вас есть, как утверждает советская пресса).

Следовательно, я в некотором смысле претендую на то, чтобы выступить от имени и в интересах всех тех заключенных, в основе деяний которых лежали демократические свободлюбивые идеалы, чьи побуждения бескорыстны, чьи руки не обогреты кровью, чьей целью не была узурпация власти и установление террористического однопартийного режима.

Г-н Президент, ни один здравомыслящий человек не может не согласиться с тем, что современная война, даже будучи справедливой, то есть освободительной, может оказаться катастрофической для всех сторон — правых и виноватых, что в ней победителем будет тот, кто истлеет минутой позже. Ну а если завтра перед Вашей страной, вообразим, встанет грозная альтернатива: подчиниться иноземному господству или ответить ядерным ударом на удар — с огромным риском превратить всю планету в пылающую звезду? Прислушаетесь ли Вы к умоляюще-корящим воплям всех прочих народов: «Не будьте такими эгоистами! Ни в коем случае война—лучше капитулируйте!» Изберете ли Вы рабство для своей страны ценой спасения всего человечества от войны, человечества, которое умоляет Вас не рисковать планетой и клянется, что будет всячески поносить по радио Вашего работодателя, разоблачать его и даже не торговать с ним... пока к этому не вынудит экономическая конъюнктура? Я угадываю Ваш ответ, но, не правда ли, Вы задумались, прежде чем выговорить его? Поистине, «никто из нас не остров» или, точнее, — не такой уж остров... Но не слишком ли легко материк жертвует своими островами, усыпляя совесть утилитаристской логикой?

Нет, уверен, такого узника, который, заживо гния десятки лет (именно за то, что он «излишне» свободлюбив), в иные отчаянные минуты, с ужасом постигая всю безысходность своих мук, не вопрошал бы небеса: «За что?» — и не обращал бы гневно-умоляющего взора на все человечество — сытое и не очень, дворцовое и трущобное, праздное и мозолистое, счастливое и несчастное... всякое, но, в первую очередь, свободное. Голодный, больной, задавленный политическим гнетом, порой

из глубины отчаяния своего, в безумии бед своих может он вопить, призывая «чуму на ваши дома», саму войну как единственное средство — пусть страшное, пусть иллюзорное, но иного-то не дано! — избавления от кошмара несвободы. Ничто не может быть страшнее тюрьмы (особенно советской варварской тюрьмы) за образ мыслей или за намерение эмигрировать. Ничто!

Знаете ли Вы, г-н Президент, что миллионы советских капиталистов в 1941 году со вздохом облегчения восприняли весть о войне, потому что страшнее всякой войны безликая, зловеще немотствующая, злобно глухая к людским стонам государственная машина, безжалостно затискивающая недовольных в камеры и опутанные колючей проволокой лагеря.

Г-н Президент, это ужасно, что велеречиво разглагольствующие о мире правительства в то же время создают такие условия, в которых люди, отнюдь не являющиеся уголовными преступниками, не мечтающие ни о власти, ни о богатстве, ни о захвате чужих земель, порой призывают — ужасаясь себе! — войну! Не менее ужасно и то, что «молчаливое большинство» спокойно обделяет свои делишки, живя рядом с концлагерями, что демократические правительства все более искушаемы демоном деячества и не гнушаются партнерства с завзятыми принципиальными тюремщиками.

Г-н Президент, поставив в один ряд заботу о всеобщем мире и борьбу за избавление людей от нужды, голода, болезней и политического гнета, Вы дальновидно парируете нечистые усилия тех, кто демагогически отрывает одного от другого. Проблемы войны и мира неразрывно связаны с проблемами качества жизни граждан различных государств и степенью их демократических свобод. Поистине демократическое государство — это одновременно и миролюбивое государство, миролюбивое не из тактических соображений, а по самой сути своей. Политическое свободомыслие, право на оппозицию есть мощный антивоенный гарант: в ответ на объявление правительством неправой войны народ страны с прочными демократическими традициями может отказать такому правительству в поддержке. У меня нет доказательных оснований сомневаться в сегодняшней искренней заинтересованности советских руководителей в мире, но одно я знаю несомненно: объяви они завтра войну кому угодно и почему угодно — безро-

потные миллионы послушно пойдут вперед умирать и завоевывать. И потому беспокойство о демократизации всех государств — это вид беспокойства о предотвращении угрозы войны.

Вполне доверять можно только лишь демократическому государству, и потому забота о разрядке благоразумна только в контексте энергичных усилий в направлении реальной демократизации внутренней жизни всех стран, находящихся в состоянии политического диалога. Мир не имеет морального права служить охранной грамотой для тех правительств, которые узаконили практику политического террора. Но поскольку угроза войной — слишком сильное средство для понуждения тоталитарных режимов к отказу от политического людоедства, очевидно, следует добиваться реального права для международного сообщества инициативнее вмешиваться — на правовой основе — в так называемые внутренние дела любых государств, если таковые попирают основные права человека.

Я полагаю, что наиболее перспективным направлением для установления эффективного контроля над ликвидацией всеми государствами внутривнутриполитического гнета являются усилия по учреждению поста Комиссара по правам человека при ООН и Международного суда, который был бы правомочен рассматривать ходатайства частных лиц, чьи политические и гражданские права ущемлены тем или иным государством. Доверенные лица этого суда должны иметь беспрепятственный доступ в любой уголок любой страны.

Я сознаю, г-н Президент, что Ваши возможности не беспредельны, но если не Вы — то кто же?

Однако поскольку создание такого суда — дело чрезвычайно трудоемкое, осуществимое (если осуществимое вообще) лишь в далекой перспективе, политические узники всех стран были бы безмерно благодарны Вам, когда бы Вы приложили усилия для учреждения некоего международного органа по наблюдению за условиями содержания политических заключенных, для того чтобы правительства всех стран узаконили правовое отличие положения полит-узников от положения уголовных преступников. Инакомыслящий да имеет право, если уж не на свободу, то, во всяком случае, на сносную тюрьму! Таков

печально-реалистический предел моих упований в качестве узника.

И все же что-то подсказывает мне, что Ваше президентство нечто сдвинет в мире, чуть-чуть да подтолкнет его к лучшему.

Удачи Вам, господин Президент!

Эдуард Кузнецов
6 февраля 1977 года

Я уже целый месяц в больнице, что не мешает мне быть вполне здоровым: одни годами добиваются отправки сюда, а других волокут силой. О боги-боги-кэзэбоги!.. Пока я еще не знаю, почему меня увезли из зоны, известно лишь, что «по оперативным соображениям», но что это за соображения?.. Ведь наша лечебница — это не только тройка баракоразвалюх, важно именуемых больничными корпусами, но это еще и резервная зона для обеспечения многодумному начальству маневренного простора.

Сегодня прошел обследование — сдал кровь на анализ. Обнаружился у меня лейкоцитоз. Не обращаю внимания — что толку беспокоиться, если все равно не вылечишься тут. Тем более что вообще-то чувствую я себя прилично. Больница уже тем хороша, что мелькают какие-то новые лица. А то мы в своем болотце до того друг друга изучили, что прыщ на носу соседа — событие. Из года в год все одни и те же физиономии... обалдеть можно! Правда, два раза наезжали со стороны. Вот и тут на днях посетил меня щеголеватый мужчина средних лет, видать, свежеиспеченный профессор — он то и дело, как бы ненароком, упоминал свою кафедру. Но в наше заколдованное царство он прибыл в качестве работника НИИ по изучению причин совершения государственных преступлений. Профессор сей обнаружился мужем ученым, даже чересчур — сплошь юрист. Его мировосприятие так искажено злокачественным флюсом специализации, что, сидя напротив него, невольно чувствуешь себя всего лишь параграфом свода законов или в лучшем случае иллюстрацией к какой-нибудь статье кодекса. Нашупали мы с ним парочку общих знакомых — они, говорит, плохие юристы. «Архипелаг ГУЛаг» — это, сообщает пренебрежительно, юридически неграмотная книга. Ну, пообщались мы малость... Да, какое это, к чертовой бабушке, обще-

ние? Он приехал искать подтверждение своим схемам, а мне они до лампочки. Я себе сижу, отбываю срок, в меру сил искупаю вину перед народом, который вот уже четырнадцатый год бьется над моим перевоспитанием, вдруг — здрасте-пожалуйста, Эдуард Кузнецов, никак мы без твоей помощи не можем разобраться, за что мы тебя посадили... а ну-ка срочно выложи душу на стол заезжему дяде: как, что да почему? Это с какой, извините, стати? Ну, чтобы не показаться слишком невежливым, пулеметно проплел я ему хрестоматийную банальщину, ядовито усмехнулся дежурности его сокрушения о «таких способностях, не нашедших законно-сообразного применения в нашем государстве», да и был таков.

Но и от ученых бывает польза. От ученых и от кошек. Жизненный ритм нашей больничной камеры в значительной степени определяется черно-белой Муркой — капризной принцессой в кругу умиленно сюсюкающей полосатой прислуги. У нас в зоне одно время завелся было ученый кот, стрелой вылетающий в окно, едва надзиратель — в дверь, но в конце концов его изловили и казнили. А тут как-то прилетел голубь с ниткой на ноге, а на нитке-то бумажечка (!) подозрительная трепещет... Что тут началось! Голубя-таки зашибли кирпичом (что за славная была виктория!), а «письмо», оказавшееся грязным клочком газеты, начальство тщательно изучило и выбросило... Пугливые голуби на крыше да скалящие зубы овчарки на поводках у конвоиров — вот и вся наша живность, не считая полчищ мышей и крыс. А в больнице кошек не преследуют — без них крысы всех больных съели бы... Эта ночь у Мурки была удачной — мышь и две крысы, которых она — одну за другой — хвастливо притащила мне на койку. Мышь она сжевала с хрустом, а крыс пришлось в форточку выбросить. Сон как рукой сняло. Темно, тихо, лежу, курю... И вспомнился мне этот недавний ученый, его отработанное прощание: «спасибо за содержательную беседу. В чем-то вы меня укрепили, а в чем-то и поколебали...» Врет, конечно. К тому же я не собирался его колебать, меня больше интересовала кружка с чефиром — остынет ведь, пока я тут чеканю: «основная причина рецидивного привлечения к суду — препятствия для социальной адаптации: трудности с жильем, пропиской, работой, учебой, гласный надзор, паспортный режим и т.д. Все это способно довести недавнего узника, как правило, болезненно жаждущего поскорее на-

верстать отнятые у него заключением годы, до белого каления и спровоцировать его на шаги, квалифицируемые судом в качестве злобно враждебных существующей системе». Ну, говорит, вы же должны и государство понять — оно вам не доверяет. А поняв это, надо было подчинить все свои способности адаптационным целям и в этом обрести удовлетворение. Ведь свобода, говорит,—это осознанная необходимость. Иной раз, и вправду, от кошек и юристов бывает неожиданная польза: Мурка растолкала меня в три часа ночи, а юрист побудил еще раз задуматься над определением свободы. Хотелось мне наметить решение этой проблемы именно в рамках традиционной пары категорий: «свобода — необходимость», ибо мое былое определение свободы — как добровольного выбора господина с правом смены его на другого — в силу умышленной метафоричности затушевывает взаимообусловленное противостояние этой пары. К тому же оно мне показалось слишком безнадежным признанием обреченности человека метаться от несвободы к рабству, так как право смены барина, (хотя бы и добра на справедливость, истины на творчество и т.д.) — это всего лишь момент, просвет, жалкий Юрьев день, призрак независимости... Мне помнилось, что истина о свободе может оказаться не столь безысходной — хотя бы в потенции. Но в конце концов я пришел почти к столь же грустному результату. Но это потом, не будем спешить, соблюдаем естественный порядок.

Вот что я надумал, лежа в ночи, и чем хочу с тобой поделиться—не потому, что это шибко оригинально (вероятнее всего, это —велосипед), а потому, что, во-первых, давно собирался ответить на твое, годичной давности письмо с высоколобыми рассуждениями о смысле жизни (я их, извини, запомятовал, осталось лишь общее впечатление несомненной толковости и известной глубины), во-вторых, не о лагерных же буднях писать — они и без того известны тебе досконально, а в-третьих, это мой принцип: не выдумывать тему, а писать о том, что волнует в данный момент — пусть он пройдет и позже покажется смехотворным, зато это несомненная правда момента... На большее я и не заховаюсь, рассказывая о себе, — я же не литературный герой, личная правда которого должна совпадать с общелюдской.

Перебирая в хронологическом порядке все запомнившиеся

мне определения свободы, я не мог не заметить нарастающей тенденции к правомерному вытеснению зауженного понимания свободы лишь как избавления от препятствий (каузальности, фатума, принуждения) понятием творческой свободы. Мне пришло в голову, что это вытеснение в пределе должно бы отлиться в формулу, жизненным стержнем которой является понятие цели. Но если древних и не очень древних философов я более или менее знаю, то новейших — лишь понаслышке, и мне такая формулировка неизвестна... Так почему бы и не попробовать самому к ней подобраться? Издавна сопрягаемой паре «свобода — необходимость», скульптурно застывшей в вечном напряжении безнадежного противоборства, недостает третьей фигуры — «цели». Стоит ей появиться, как мраморно-мертвые бицепсы-трицепсы титанов начинают жизнеподобно играть, на их несоразмерно торсу маленьких личиках появляются осмысленные гримасы, глаза загораются некоей догадкой... Понятие свободы без понятия цели бессодержательно. Реально можно говорить лишь о свободе ради достижения какой-то цели. Самая главная человеческая несвобода — это неизбежность смерти. Осознаешь ты это или нет, ты смертен, причем, по слову мессира Воланда, внезапно смертен. Разумеется, осознавший эту неизбежность и с ней примирившийся (!) частично развязывает себе руки для устройства своих делишек в тот отрезок времени, который отпущен ему судьбой или генами. Таким образом, осознание необходимости иногда частично освобождает, но не через преодоление данной необходимости, а благодаря примирению с ней, освобождает не *от нее*, а всего лишь *для* каких-то других делишек. Это укоренилось в сознании и однозначно закреплено в языке — само понятие необходимости имплицитно подразумевает обязательность подчинения *ей*. Итак, рассматривать свободу и необходимость замкнутыми друг на друге лишь через посредство познания — блуждать в заколдованном кругу рабства, где речь может идти только о степенях разумности раба и его хитрящей покорности диктату неумолимых неизбежностей. В качестве печальной констатации сегодняшней данности это почти верно, но это мертвая истина, ибо нет в ней перспективы, нет в ней для человека исхода, ни даже обещания его — хотя бы в форме неverified трубно-архангельского призыва. Именно это меня не устраивает, над этим я и бьюсь — над исходом...

Стоит произнести слово «цель», как надо говорить и «средство». Итак, пожалуй, это могло бы звучать следующим образом: свобода — это познание необходимости и доступ к средствам преодоления ее ради достижения своей цели.

Вообразим себе некоего Адама, голого, цельного и в меру наивного, избавим его, дабы нам не запутаться вконец, от всех социальных связей и наделим здоровым любопытством и тягой к обобщению личного опыта. Адам наконец вышел к широченной реке, грозно и равнодушно стремящей свои воды на север. Сомнений быть не может — это она, на другом берегу которой вожделенные райские кущи. Разбежавшись, он бросился с обрыва в воду и бешено заработал руками... но как он ни бился, его все сильнее и неудержимее сносило вниз и вот завертело водоворотом, ударило о корягу, и он, наглотавшись воды, обессилев, покорно отдался наконец мощному течению: поток тащит барахтающегося и несет смиренного.... но несет всегда в полуночный хлад и смрад.

Понемногу Адам освоился, приноровился к игре струй, разобравшись в тайне подводных течений, научился избегать водоворотов и почувствовал себя вольготно, словно рыба... Забыв о первоначальной цели, он возомнил себя свободным от грозной стихии воды благо, вот уже он держится на поверхности, не тонет, как другие, не постигшие речных тайн. Но однажды, с сожалением разглядывая свои ноги и размышляя, как бы их превратить (по Ламарку) в русалочий хвост, он вдруг вспомнил чудесную андерсеновскую сказку о страдальце-русалочке, которой не дано было ходить посуху, и еще он вспомнил, что не для того же он бросился в реку, чтобы только не утонуть. И что ему власть над водной стихией, если стоит лишь устремиться наперекор течению, как тебя завертит бешено, ударит о дно и... прощай, жизнь! Он начал озираться: крутой берег, с которого он так опрометчиво плюхнулся в воду, — вот он, рукой подать, а того, вожделенного, и вовсе не видать, как ни прыгай. Вьюном закрутился он от тоски...

Кое-как прибившись к берегу, Адам выбрался на сушу и, усевшись на камне, надолго застыл в позе роденовского мыслителя. Эврика! Мост! Мостостроительство тоже имеет свои законы, но наконец-то это те законы, овладение которыми ведет к цели — райским кушам!

Что же следует из этой неуклюжей аллегории, которую я на-

спех соорудил единственно для того, чтобы ты не заснул над моими рассуждениями? Свобода как преодоление необходимости возможна лишь при наличии целеполагающих мозгов и средств, бесцельной свободы нет, это всего лишь воля мирно пасущегося в сочной траве вола. Людская история — это превращение дикаря в человека посредством целеполаганий, и чем человечнее цель, тем более человек — человек. Без мозгов невозможно осмысление средств, но если средств в принципе не существует, то дело швах. К примеру, через реку смерти нельзя построить мост. Впрочем, мне видится возможный паллиативный выход, который, не одаря человека невозможным бессмертием, снимает извечный гнет страха смерти. Для этого надо совсем немного: научиться значительно продлевать жизнь человека, пока он не упьется ею вдрызг и каждое утро станет для него похмельем, и, когда, устав, он сам возжелает смерти, он должен иметь доступ к средствам, ведущим к последней цели — свободе от жизни, свободе от всех непреложностей, свободе от всех свобод.

Давай-ка заодно попробуем дать правовое определение свободы: свобода — это право каждого стремиться к законной цели и достигать ее законными средствами. Вроде бы ничего, а? Надо бы, конечно, втиснуть сюда и гарантию реального участия каждого в выработке законов, но тогда пропадает лаконизм формулировки, а звучание — штука важная.

Но вернемся к нашему Адаму в тот счастливый миг, когда он, приплясывая, устремился по мосту к тому берегу: «Я свободен, я свободен, гип-гип-ура!» — вопит он неистово, и грозит реке, и плюет в нее. Как вдруг парящий в бездонной синеве поднебесья орел, приняв посверкивающую на солнце лысину Адама за обкатанный речными волнами голыш, выронил из когтей черепаху. Хорошо еще, что лысина вспотела от счастья обладания моментом свободы, и черепаха, скользя по ней, не убила свободного Адама, а лишь оглушила его. Очнувшись, ощупав здоровенную гулю, он ойкнул и призадумался: «Построив мост, я избавился от необходимости барахтаться в реке, но я не свободен от орла и черепахи, от бури, которая вдруг сокрушит мост и сбросит меня в воду, от гнева олимпийцев, которые могут лишить меня разума... да и в райских куцах разве не ждут меня свои, пусть и райские запреты?» Что же выходит? Возможна лишь относительная свобода. Свободным

можно быть лишь по отношению к ограниченному ряду непреложностей, но не ко всей сфере обусловленностей, давящих на человека. Печально. Не так безысходно, как у Спинозы (люди считают себя свободными, поскольку они не осознают своей обусловленности), но тоже достаточно грустно. Человек погружен в царство безжалостных непреложностей, и отвоеванная им твердь достижимых свобод — всего лишь жалкий островок, затерянный среди неистовствующих стихий познанных, непознанных и в принципе непознаваемых сил. Но он должен расширить свой остров. Это его главная человеческая цель и, может, предназначение.

Надо как-то помочь Людасу Симутису. На днях я получил от него письмо — его освободили наконец-то. В двадцать лет его втолкнули в зону черноволосым парнем, а вышел он в сорок два года седым инвалидом. Как-то ему удастся свободная жизнь?

Я в шестьдесят восьмом с куда более радужным настроением расплевался с узилищем, и то меня ненадолго хватило. А он, вижу, настроен для начала излишне мрачно. Да вот письмо:

«Слава Господу! Дорогой Эдик, пишу тебе с Белорусского вокзала. Вчера, 3 февраля, в полпятого вечера, я вырвался из ада. Не знаю, обрету ли рай. Меня помиловали по просьбе матери, поданной в июне этого года. Не досидел всего три года и четыре месяца. Не пойму: то ли рад, то ли жаль — милостыню не люблю. Сажу на вокзале: до поезда на Клайпеду еще два часа. Чувствую себя очень неуютно — кругом все такие сытые, честные граждане, а я... Мой наряд привлекает всеобщее внимание. То и дело подходят милицейские — требуют справку об освобождении. Чувствую, что начинаю их ненавидеть, так и не успев полюбить. Ни к кому заезжать в Москве не стал. Скорей домой — обрадовать маму. Держитесь, Эдик, Алик, Юра, Петро, Михаил. Да защитит вас Господь! Вы в сердце моем. Я плачу. Людас. 4 февраля 1977».

Тяжело ему будет, даже если замрет серой мышкой под метлой. Кто же поверит его смирению: шкура не дрожит и в глазах покорности ни на йоту...

Ты же помнишь, какой старорежимный оптимизм я имел

наглость излучать в первые послетюремные деньки? Это надо же до такой степени быть наивным, чтобы вообразить, будто они меня оставили в покое! А всего и крамолы-то — «нехорошие знакомства» да пристрастие к рукописной литературе. И что всего противней — они затягивают тебя в свою игру: начинаешь от них бегать, прятаться, пока и впрямь не почувствуешь себя ужасным преступником, вздрагивающим на каждом шагу, прозревающим во всяком собутыльнике Лоуренса Аравийского, а в сопостельнице — Мату Хари. Частенько припоминаю не без нервного смешка, как однажды я часа два бегал от «хвоста». Сперва он держался поодаль, скромно, но, поняв, что разгадан, бесцеремонно пристроился сзади чуть ли не дыша мне в затылок. Очень обидно мне стало. Вот возьму, мелькнуло мстительно, и напишу жалобу самому Андропову: так, мол, и так, неделикатно работаете, требую повысить общехвостовой квалификационный уровень.

Выскочил я из-под земли на Электрозаводской, тут-то, я думаю, от тебя отвяжусь — район известен мне досконально. Пристроил портфель на фанерный прилавок ларька «Пиво-Воды», цежу пиво и прикидываю, как мне его половчее обдурить. А он стоит рядом и тоже свою кружку смакует, на меня поглядывает — с усиками и в голубом берете. Слегка моросило, смеркалось, на гастрономе зажглись неоновые буквы, подзеленив и без того по-осеннему насморочные лица прохожих... И до того тоскливо сделалось мне от этой сырости, зеленой пасмурности и наглой усмешечки пухлых губ под стрелкой усиков, что я готов был убить его на месте. Аж в пот бросило. Закурил и думаю: нет, так дело не пойдёт — начнет он вслед за мной петлять по глухим дворам, не выдержу — и огрею его по голове... Как же быть? Разве что... В самом деле!

А вот и телефон.

— Спасай, дружище! — шепчу, елозя губами по трубке. — Ровно в восемь жди с такси у метро «Измайловский парк».

В восемь, минута в минуту, я вышмыгнул из метро и нырнул в такси.

— Скорей! — кричу шоферу. — Опоздаваем на поезд!

Усатый «хвост» растерянно заметался по площади — ни одной машины! Я высунул ему в окно злорадный кукиш и, облегченно вздохнув, откинулся на мягкую спинку сиденья.

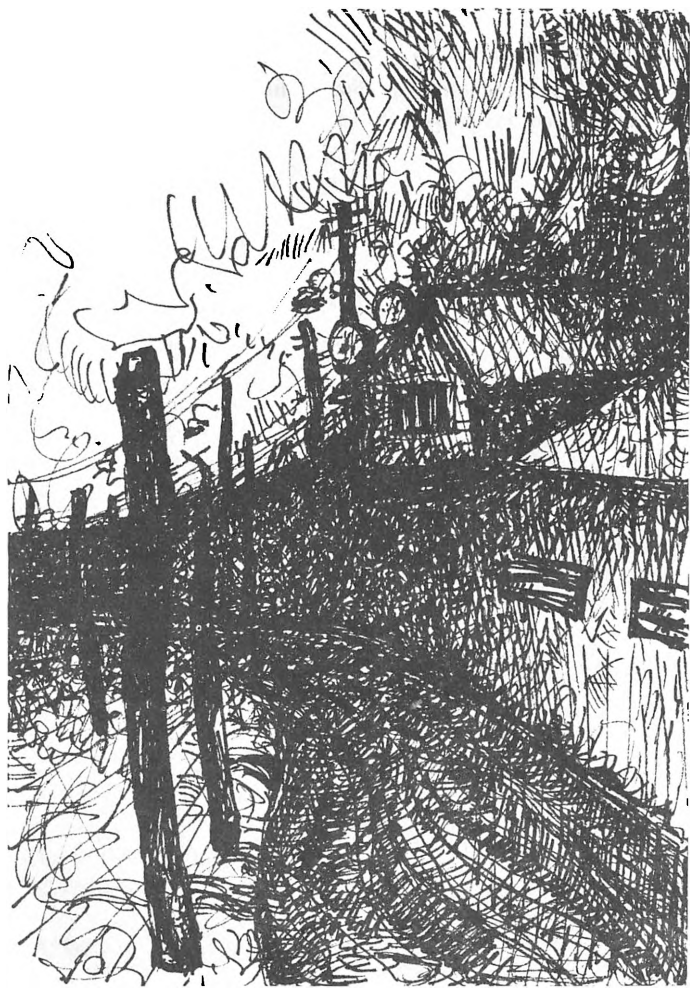
— Ну, спасибо, — говорю, — дружище, выручил!

— А что у тебя? — любопытствует он, косясь на таксиста.
— Литература?

Я оторопел: ведь у меня ровным счетом ничего криминального с собой не было и ехал-то я домой, к матери, а не на какую-нибудь там конспиративную квартиру...

Вот в какие очень небезобидные игры в «кошки-мышки» вовлекаешься порой помимо воли.

Мораль сей истории такова: киске хочется кушать, и все, что хоть чуть-чуть шевелится, она принимает за мышь и норовит придушить ее зубками...



КАНДАЛАМША

Полосатую колонну
Первоклашка конопатый
В драной курточке зеленой
Расстрелял из автомата.

Глазки яростью пылают —
Дед его при Николае,
Папочка при Сталине
К лагерям приставлены.

«Вы уж, пожалуйста, присмотрите за ним...».

Толстая тетка в ядовито-зеленой кофте осуждающе поджала губы: «Не украдут, чай».

«Да нет, я чтобы он Потьму свою не проехал, — виновато зачастила мама. — Я и проводнице сказала... но все-таки».

С верхней полки свесилась лохматая голова с красными спросонья глазами и тут же исчезла.

«Давай, казак, двигай к свету, — дядька с усами, как у Чапаева, потянул Олега за рукав. — Глазей». От него густо, как от папы, пахло табаком и вином. «А вы бы, дамочка, составили нам компанию. Что там до Потьмы-то!.. И нам бы весельше».

«Ой! — вспыхнула мама. — Я бы с дорогой душой, да ведь за день не обернуться, а мне завтра в Москву вылетать — на врачебную конференцию».

«Врет! И чего она все врет!» — Олег сердито вжался носом в окно.

«Олежка, сумку вот я тебе за спину ставлю, там бутерброды

с сыром-маслом — поешь. На остановках не выходи, а там тебя дядя Витя или дядя Коля встретит — я им телеграммой вагон отбила. Да ты и сам смотри: дядя-то Витя — старший лейтенант, у него на погонах три звездочки треугольником таким, знаешь?»

«Да знаю я, мам, — буркнул он не оборачиваясь. — Ты иди, а то поезд тронется».

«Иду, иду, родной. Да скажи им там в Сосновке, что через месяц я тебя заберу, сама приеду. Через месяц, слышишь? Тебе как раз в пионерлагерь очередь подойдет».

«Ты же им все в письме написала».

«Ну да, ну да... — она нагнулась и чмокнула его в затылок. — Ты там побольше гуляй — тебе кислород-озон нужен».

«Ну же, тронулись!» — крикнул Олег про себя. Лязгнули буфера, и вагон чуть дрогнул.

«Ой! Ну я побежала, Олежек. Привет там всем и не болей. Слышишь?»

«Пока». Он прилип к окну, словно увидел что-то такое интересное, от чего нельзя отвести глаза и на миг.

«Вот она молодежь-то нынешняя, — ядовито колыхнулась зеленая тетка. — От горшка два вершка, а туда же — матерью родной брезгует».

Чапаев хмыкнул что-то неопределенное и зашуршал газетой.

Посреди подернутого ряской пруда сонно покачивается гнилое бревно. На нем раскорячилась жирная, зеленая жаба — глупо тараща глаза, противно тряся дряблым подбородком, она квакает: «Фулиган на фулигане!» Но вот сзади, смешно взъерошив красный хохолок, весь дергаясь, как в мультяшке, появился аист. Раз — и жаба у него в клюве, только ножки дрыгаются, раз — и нет ее...

Снова зачастил дождь, исчиркав косыми кляксами стекло.

«Охо-хо! — протяжно вздохнул Чапаев. — Опять. И без того грязизи по самое некуда... Видно, и в этом году погнет все».

«У вас все не слава Богу, — вскинулась жаба. — То жарой вас иссушит, то дождем проймет. Небось, как в пивнушку,

водки этой проклятушей нажраться, вам и грязь, и метель ни-почем, а как в поле...».

«Гм, — хохотнул Чапаев. — Это верно, без водочки-то мы никуда. Да ведь старые еще люди сказывали: «В кабак далеко да ходить легко, в церковь близко, да ходить склизко».

«Хозяина на вас нет — с палкой вот и...».

«Вот бы ты, мамаша, и шла в колхоз, поучила бы нас, что к чему».

«А что? И поучила бы! Перво бы наперво все пивнушки за-колотила... Поменьше бы пили да раздавали разным Вьетнамам—Африкам...».

«Только бы и беды... Ну, ладно, маманя, мне тебя все равно не переговорить. Дреману-ка я лучше минуток двести, а ты мальчика, если что, толкни».

Олег задумался, почему по радио все за Вьетнам и негров, а между собой их ругают, потом ему вдруг пришло в голову, что в Потье его могут не встретить или он не узнает дядю Витю и дядю Колю — он видел их всего раза два-три, еще когда в школу не ходил. Папа их почему-то не любит и ругает паразитами, кровососами и еще как-то.

Мимо окна мельтешили хилые деревца скучного осинника, неспешно проплывали пышные кусты боярышника, с механической обязательностью выныривали и пропадали телеграфные столбы, связанные друг с другом провисшей паутиной проводов...

«И зачем мне эта Сосновка? — вяло думал Олег. — Лучше бы в Кандалакшу...».

* * *

Олег сразу узнал дядю Колю по военному плащу и резиновым сапогам — точь-в-точь как на прошлогодней фотографии, где хоронили бабушку. И еще — по круглым мясистым ушам, смешно торчащим из-под фуражки.

«Ну, герой, сам приехал?»

«Ага».

«Молодцом! Давай лапу... В каком классе?»

«В третий перешел».

«Двойки есть?»

«Не-ет, двоек нет. Тройка есть, по арифметике».

«Молоток! Мой Васька тоже кое-как в четвертый переполз. А что у тебя в сумке-то? Ну-ка...».

«Там письмо для вас», — вспомнил Олег.

«Ну, письмо можно и потом, в поезде, а то размокнет еще, — дядя Коля джвкнул молнией. — Ну-ка, ну-ка... Ага, мука блинная — хорошо! Ну, консервы рыбные — этого и у нас полно, сыр тоже водится, а это что? Ух ты — рис! Молодец Настька!.. А дрожжей обещала, чтой-то не видать».

«Дрожжей, она сказала, нет нигде, ей обещали, но не достали».

«Жалко, — дядя Коля разочарованно причмокнул, и толстое лицо его озабоченно поскучнело. — В самый бы раз теперь надо».

Местный поезд еле тащился, и, когда они сошли в Сосновке — дождь уже перестал.

Грузный, как шкаф, дядя Коля вроде бы не спешил, но Олег едва поспевал за ним, то и дело спотыкаясь о шпалы. С обеих сторон узкоколейки то бесконечно тянулись какие-то потемневшие от дождя склады, то опутанные ржавой проволокой деревянные заборы, над которыми торчали сторожевые вышки.

«А где же лес, дядь Коля?»

«Лес-то? — чуть притормозил тот. — Есть. Как не быть. Воон там, за поселком», — махнул он куда-то рукой.

«И речка?»

«И речка. Вот погоди, пойдем и на рыбалку, и в лес. Из ружья постреляем. Стрелял когда из ружья-то?»

«Нет».

«Ну вот и постреляешь. И Ваську с собой возьмем».

«А овчарка у вас есть?»

«Овчарка не овчарка, а был Казбек, да и тот копыта откинул, едри его под хвост... Обожрался чего-то. А что отец-то твой, бывает?»

«Ага. В январе приезжал...».

«Ну и где он сейчас?»

«В Кандалакше».

«Это в Мурманске, что ли?»

«Не-ет, до Мурманска еще поездом. Он у своего друга дяди Леши. Добывает апатиты», — с удовольствием выговорил Олег — он любил всякие непростые и не очень понятные слова.

«А как же Настя, мать то есть твоя, пишет, он на путину завербовался?»

«Так то весной было, а сейчас третье июня. Уже вернулся, — сказал Олег и для точности прибавил: — Наверное».

«А Василий-то Иваныч, дядя Вася, что ли, он как — идрвится тебе?»

«А он мне что? — Олег прикинулся равнодушным и побегал, балансируя руками, по рельсе. Револьвер железный купил, — остановился он. — У меня его Витька Зарайкин из 4-го «Б» взял поиграть и врет, что потерял».

Недавно этот дядя Вася выпроводил его в киношку — картина, говорит, мировецкая, еле билет достал. А там мура какая-то про стройку и про любовь, и в зале почти никого, он ушел с середины, а дома дверь на крючке — еле достучался...

«А знаете, дядь Коль, почему Кандалакша называется?»

«Нет. Ну-ка расскажи».

«Там были каторжники, а когда пришла революция, они кандалы сбросили и сказали: все, кандалам ша! — конец, значит».

«Гм. Вот оно что. Молодец! Мой тоже в четвертый перешел, а не бельмеса...».

«Я в третий только, дядь Коль».

«Тем более».

«И это я не в школе, это мне папка рассказал, вот как зимой-то приезжал».

Олег еще тогда спросил: «Они что, пап, были на каторге за народ?» Отец как-то чудно хмыкнул и сказал: «За народ, не за народ... В общем, царя хотели скovyрнуть».

Тут вмешалась мама: «Они были герои-революционеры и боролись за счастливую жизнь для народа».

«Ну конечно, — ответил отец. — Они все позвякивали цепями да приговаривали: «Вот сейчас мы сидим за народ, а потом народ будет за нас сидеть». Да как расхохочется, чуть со стула не свалился — он уже выпимши был».

Тут мать на него накинулась: «Ты что буровишь-то, пьянь несчастная! Мальчишке-то!.. Я вот на тебя заявлю куда следует! И пусть тебе категорически запретят портить ребенка!»

А он ей: «Плевать я хотел на твое «куда следует». А приезжать все равно буду, ты мне никто, одно роковое заблуждение молодости, а он — сын!»

Из-за этого крика Олег так и забыл спросить, почему Канда-лакша, а не Кандаламша? Правильно должно быть Кандаламша.

* * *

Дом ему не понравился. Он почему-то рисовался ему высоким теремом с винтовой лестницей и, может, даже с башенками, а оказался обычным деревенским домом. В палисаднике торчала черная рогатка раздвоенной посредине березы — то ли болезни и старость, то ли безжалостные руки хозяев ободрали с нее почти всю кору, — по двору разгуливали куры, с тыльной стороны к дому лепились какие-то сараюшки, посреди огорода гордо торчала, похожая на большой скворечник, уборная — в дощатой дверце ее зияло кособокое сердце...

В горницу он успел заглянуть только мельком, пока топтался у двери, пристраивая свою куртку на вешалке — утыканной гвоздями доске с грудой старых шинелей, пиджаков и солдатских бушлатов, — ничего, кроме большого телика на допотопно пузатом комодe да края широкой кровати с горкой подушек, он не разглядел. Четверть примыкавшей к горнице кухни занимала огромная, почти под потолок печь, перед черным зевом ее вызывающе белела газовая плита, вдоль другой стены тянулся большой стол, застеленный цветастой клеенкой, под его тяжелым, из толстых досок брюхом пристроился выводок табуреток. В красном углу висел портрет Ленина, простенок украшали какие-то грамоты и семейные фотографии под стеклом.

«А ну-ка, ну-ка, где он, мой внучек-то?» — задрезжал из угла дед.

«Да тута, тута он. Сейчас вот куртку-то повесит... Ты, пахан, пока Нинка-то не нарисовалась, покорми его чем-нито, яшенку, что ли, сваргань, а я в магазин смотаюсь — все-таки, едри его под хвост, происшествие сегодня, да и Витька грозился заглянуть. Иди, иди к деду-то», — подтолкнул он Олега.

«А ну-ка, ну-ка, давай к свету... Орел! И пиджак вроде как военный».

Дед был в валенках, под линялым кителем бугрился большой живот, кое-как выбритое лицо в сине-красных прожилках, края лысины окаймляли неопрятные кустики серых волос, одно ухо торчало, как у дяди Коли, а другого почти не было.

«Уроки учишь? Папку-мамку слушаешь?»

«Учу».

«То-то. Много ли их там, уроков-то! Из школы пришел, уроки-задачки сделал, что надо по дому помог и гуляй себе на здоровье... Ты не болен, часом? Бледный вроде...».

«Я всегда такой. Малокровие».

«Вот оно что. Город он и есть город... Обличьем ты вроде как в отца пошел — нос не нашенский и брови сурьзные».

«Это вам на войне, дедушка, ухо оторвало?»

«Ухо-то? Считай, на войне — стервец один оттяпал, враг народа, значит».

«Как оттяпал?» — не понял Олег.

«Зубами. А ты как думал? У нас тут хуже, чем на фронте — там-то война отвоевала и все, а у нас ей ни конца, ни краю не видать. Но ничего, мы ему за это все бока оттоптали, а потом его и вовсе шлепнули — к стенке, значит, поставили. А как ты думал! Посягнул на жизнь при исполнении служебных обязанностей!..»

«А зачем он вас куснул?»

«Эка что спросил. Озверел, значит. Не буду, кричит, на вас работать! Ах так? Майор говорит: «К лошади его!» В производственную зону, значит, волоком. Тогда еще порядок был ого-го! Которые не хотели социализм строить, их к стенке — саботаж называется, но сперва-то и по карцерам, вражина, насидится, и за лошадью поволочится. Вот так. Ну, я давай-ка глазуньей займусь, а ты поди пока погуляй, осмотришь — я в окошко кликну».

«Дедушка, я не хочу — я в поезде два бутерброда, мамка дала, съел».

«Ну смотри. Когда надумаешь, скажешь... А себе я все-таки сварганю штучки три».

«А он на вас прямо бросился?»

«Этот-то? Ну да. Вот как мы его к лошади-то цепляли, повалили на снег, я и давай ему вязы выворачивать, а он тяп — и нету уха!.. Мне потом грамоту и премию дали деньгами».

Олег задумчиво направился к двери, но та распахнулась, и через порог шагнула квадратная тетка в зеленом брезентовом плаще.

«Ой, — запела она умильно, — вот он, племянничек-то... — Она сочно чмокнула его в щеку и, отступив на шаг, окинула

взглядом с ног до головы, весело шуря глаза и одобрительно прицокивая языком. — Чистый какой да белый, не то что мой охламон... Не прибежал еще?» — обернулась она к деду.

«В магазин попер», — отозвался тот.

«Ты про мужика, что ль? Так я его на дороге встрела... Я про Ваську спрашиваю».

«А-а... Придет, куда он денется».

«Я пойду погуляю, тетя Нин?» — спросил Олег.

«Иди, родненький, иди, — разрешила она. — Да сапожки резиновые, вон под вешалкой, надень — заляпаешься весь».

В чулане стояли какие-то бидоны и кадки, густо пахло прошлогодними щами, в курятнике тоже ничего интересного не обнаружилось, а взобраться на чердак Олег не решился — лестница была так кучно обляпана куриным пометом, что ступить нскуда.

Где-то за облаками солидно пророкотал самолет. В развилке черной березы сидела, нахохлясь, ворона, Олег пульнул в нее камнем — она даже не шелохнулась. Корявые стволы, почти без ветвей, как руки нищего, молитвенно воздетые к небу, — на рукавах его грязного зипуна тут и там белели латки.

«Та-та-та-та-та!» — послышалось где-то. Олег вышел за калитку и замер: в дальнем конце улицы уныло плелась, увязая в грязи, толпа пленных немцев. Солдаты с автоматами на груди и с овчарками на поводках не спускали с них глаз. «Та-та-та-та-та!» — строчил по немцам чумазый карапуз — палка так и дергалась у него в руках.

Из-за угла вывернулся мальчишка. «Что за гусь?» — презрительно прищурился он.

«Сам гусь», — не растерялся Олег и на всякий случай попятился к калитке — конопатый был на полголовы выше его.

«Чего у моего дома тасуешься? А ну вали отсюда!»

«Я к дяде Коле», — ответил Олег, уже поняв, что это и есть Васька.

«А-а! — сообразил и тот. Ты тетя Настин, из Саранска? Ну да, я и забыл... Держи пять, — протянул он руку. — Васька. А ты — как ныне собирает вещички Олег, да?»

Олег кивнул.

«В каком классе?»

«В третий перешел».

«Сопляк еще. Я — в четвертый».

«А зачем у вас немцев водят?»

«Каких немцев?»

«Ну вот с собаками-то».

«Сам ты немец. Балда! Это же зэки».

«Как зэки?»

«Ну жулье там разное, бандиты... А то еще есть лагерь — вон, где труба, видишь? — так там враги народа — шпионы и предатели. Дядя Витя у них начальником отряда работает, ему скоро капитана дадут».

«Дядя Витя — летчик, мамка говорила».

«Фиготчик, а не летчик. Летчик шмякнется — и в лепешку... А ты кем будешь?»

«Путешественником». Олег хотел сказать «и пиратом», но сдержался — с тех пор, как Раиса Сергеевна подняла его на смех на уроке «Кем я хочу быть», он про пирата помалкивал.

«Это туда-сюда мотаться? Без кола без двора?»

«Зато разные страны!»

«Больно надо! Вон я в кино смотрел: один на велике вокруг света ехал — вся морда грязная, и дождь по нему лупит... Сразу видать, что лопух!»

Олег насупился. «А я в машине!» — наконец нашелся он.

«А где у тебя машина-то? Она, знаешь, сколько стоит?»

«Мне папка купит «Запорожец».

«Жопорожец» он тебе купит. А мы вот уже накопили — очереди ждем. Только долго. Я лучше достану денег и куплю себе мопед».

«Ври!»

«Запросто! Вот зэк убежит, я его поймаю — все! Знаешь, сколько за него дадут?»

«Сколько?»

«Тыщу рублей! Раньше, дед говорит, мешок муки давали, ну это когда еще было, а теперь — деньгами. Тут как по радио сказали, что два опасных удрали, так все как кинулись ловить! Кто с чем! Я с ружьем хотел, да у пахана патроны запертые, так я с напильником...».

«Поймали?»

«Еще бы. Только уже не здесь — за Молочницей. Одного застрелили — он на дереве прятался, а другому солдаты руки-ноги поломали, чтоб не бегал больше».

«А Том Сойер и Гек Финн помогли убежать Джиму — он в цепях сидел...».

«Ну и дураки!.. А кто такие?»

«Они в Америке разбойники были».

«Ну, ясно. Их самих за проволоку надо... Как у тебя с деньгами — мать дала?»

«Два рубля», — вырвалось у Олега. Вообще-то у него была целая пятерка: два рубля мама дала «на мороженое и кино», а новенькую трешку прислал в письме отец. За три рубля Олег надеялся купить старую, пожелтевшую от соленой океанской воды «Лоцию», в которой все моря, проливы и течения — без нее моряку гибель, — а два рубля ему нужны были на бинокль. Если бы он знал, что Васька спросит про деньги, он бы приготовился и соврал что-нибудь, но тот спросил так неожиданно...

«Слушай, — схватил его Васька за локоть. — За рублевку мы такое с тобой увидим! Куда там кино?»

«А что?» — машинально спросил Олег, лихорадочно соображая, как бы ему отказаться от всего, что бы ни предложил Васька, отказаться и не заработать «жадину-говядину».

Васька воровски стрельнул глазами по окнам: «На Молочнице... Ну где вот моя мать-то работает — два километра отсюда. Так там у Кольки-Жмота в пристройке две бесконвойницы живут — зэчки, которые без охраны, а наверху дырка, так он лестницу приставит, и все видно...»

Васькина таинственная скороговорка сулила какую-то ужасную тайну, на зов которой нельзя было не откликнуться. «А что там?» — невольно понизив голос, спросил Олег.

«Так к ним же солдаты ходят...».

«И что они?»

«Как что?! Не знаешь, что ли, что папка с мамкой ночью делают? А они при свете... Покраснел-то! Как девка!»

Олег отвернулся.

Расправив белоснежные паруса, поскрипывая мачтами, стрелительная «Эспаньола» лихо пенит изумрудные воды Карибского моря. Скрестив руки на груди, мужественные бородачи с ятаганам и широкоствольными пистолетами за красными кушаками не спускают с него преданных глаз. «На рею подле-

ца!» — сурово бросает он. «Пощади!» — валяется в ногах у него Васька. «Нет тебе пощады-прощенья во веки веков! Аминь!»

«Ты не обижайся, — тронул его за рукав Васька. — Это я так просто. Ты бы глянул только: обалдеешь, какие они там номера откалывают. А одна, Танька-Дешевка звать, толстая такая и сиськи, как у коровы. Так она и без солдат, выпьет когда, вся голая ходит, в одних чулках, или возьмет и на голову станет: «Я акробаткой работала!» — кричит, а чулки все в дырах. Колька, гад, по полтине с носа дерет, ему и кличка Жмот. Ну? Идем?»

«Не-а», — мотнул головой Олег.

«Сдрейфил? — прищурился Васька. — Очко играет?»

«И не сдрейфил вовсе. Просто мне неинтересно и все».

«Эх ты, сопля!» — Васька презрительно сплюнул и, шагнул на дорогу, смаху пнул консервную банку.

«Вась, — заискивающе позвал Олег. — А ты кем будешь после школы?»

Васька поджал толстые губы и снова сплюнул.

«Офицером, конечно, — снизошел он все-таки. — Как дядя Витя. Он деньгу зашибает что надо, и работенка не пыльная... Слушай! — вдруг загорелся он и шагнул к Олегу. — Займи мне полтину. До субботы верну, сухой быть! Возьму у пахана на кино, он обещал, и верну».

«У меня нет... только рублями», — снова заскучал Олег.

«Так давай рубль. Какая разница? Сдачу я тебе сегодня же верну».

«Я не могу», — смущенно промямлил Олег.

«Ну ты и жмот, ох и жмот! Сразу видать, что городской...».

«Сам ты жмот... Мне бинокль надо купить».

«На кой он тебе хрен? Бинокль!.. Да у нас в магазине за полтора рубля такие бинокли — отсюда Потьму видать».

«Врешь?!»

«Больно надо».

«А где это?»

«В Молочнице. Только тебе все равно не продадут, они для взрослых, у кого паспорт. Но я могу, по блату: мы с продавщи-

цыным сыном во какие кореша, на одной парте сидим. Для тебя так и быть — слетаю».

Олег, нырнув рукой в брючный карман, на ощупь отделил хрусткую трешку... Васька, скользнув глазами по окнам, выхватил деньги и сунул их за пазуху.

«А полтину я тебе в субботу верну. В крайности — в воскресенье», — заверил он.

«А они с ремешком?»

«А как же! С желтым есть и с черным. Тебе с каким?»

«С желтым».

«С желтым так с желтым. Ну, пока — я полетел. Да смотри, матери не проболтайся. Если спросит, скажи: в клуб пошел на бильярде играть. Понял?»

Береза, словно ставшая на голову баба, растопырила толстые, в венозных буграх ноги, сквозь дыры в черных чулках тут и там зияла белая кожа... Олег отвернулся.

«С биноклем все в порядке, но где разыскать старинную «Лодию»? — задумался он. — Может, написать отцу? Пусть поищет у старых моряков — их там полно, ведь до моря рукой подать до Кандаламши».

* * *

Засучив рукава цветастого платья, тетя Нина топталась у плиты. Пахло жареной картошкой.

«Нагулялся? — обернулась она к двери. — А где же Васька? У калитки ведь ошивался...».

«Он в клуб пошел, играть в бильярд».

«Что же он не пожрамши-то? А ты садись-ка щец похлебай да картошка вот доходит уже, и марш на печь — полы буду мыть. Да и поспи малость — тоже, небось, с утра на ногах-то...».

«Мы в шесть встали, по радио».

«А ты чего же не пошел на бильярде-то?» — дед отложил газету и снял очки.

«Я не умею, дедушка».

«Это ты зря: Бильярд — первейшая штука, кто умеет. В доме офицеров или, скажем, на курорте шушера всякая футболы гоняет, а кто посолідней, тот на бильярде. И знакомство можно свести, и вообще».

«Я в шахматы могу, — похвастался Олег. — Первое место в нашем классе».

«Шахматы — тоже хорошо, но все же не то. Шахматы — игра умственная, увлекся и, глядишь, обыграл ненароком какое ни то начальство — ему и обидно. А в бильярд — ничего, в бильярд не обидно».

Есть ему не хотелось, но из вежливости он кое-как дохлебал миску шей и, поковырявшись в сковороде с картошкой, вскарабкался на печь.

«И куда эта кобелина провалилась? — услышал он уже засыпая. — Опять нажрется до блевотины».

«К Витьке, небось, заскочил, — успокаивающе пробубнил дед. — Вместе и придут».

«Завтра с утра, — успел подумать Олег, — напишу отцу в Кандаламшу».

* * *

Что-то грохнуло, и он проснулся.

«Он же как есть бродяга!» — выкрикнул дядя Коля.

«И нами вроде как брезгует», — поддержал его дед.

Олег догадался, что сидевший спиной к печи остроплечий мужчина в зеленой рубаше — дядя Витя. На вешалке топорщился его китель с тремя звездочками на погонах.

«Значит, за хозяйственника выходит? — дядя Витя бросил письмо на стол. — Рационально».

«Проворуется — к нам на семерку попадет или на первый*», — рассмеялась тетя Нина.

«Не проворуется, — осадил ее дед. — До полста дожил, под судом-следствием не состоял — значит, умный человек».

«А что это она, Настька-то, в конце самом пишет рэ и пятерку? Пять рублей, что ли? А какие пять рублей, не пойму».

«Ну ты даешь, прапорщик! — развеселился дядя Витя. — Какие же это пять рублей! Это по-немецки пэ и эс — значит «после следует». Всегда в конце письма ставится».

«Ты смотри, — обиделся дядя Коля, — какие нынче грамотные все. Нет чтобы по-русски, давай им по-фрицевски... Шибко-то грамотные полосатую вон шкуру носят! А мне, — громыхнул он кулаком по столу, — плевать с высокой колокольни! Вот хоть бы и Настька — училась, училась на врача этого, а всего сто десять получает, а я неученый, а две сотни вынь да положи, и Нинка — сто шестьдесят!»

«Грамота делу не помеха, — веско сказал дед. — Хотя при

* Номера лагерных зон.

нашей специальности и без нее не велика беда! Я вот с 32-го по самый 70-й при лагерях, а скажи мне: иди министром — ни за какие коврижки! Сколько их за мой век, министров этих, сковырнули — был и сплыл, а я, к примеру, как ходил в почете, так и на пенсию с музыкой проводили. Когда б не нога, я бы и еще послужил».

«Белую-то всю скушали, — тетя Нина поднялась из-за стола, вышла в сени и тут же вернулась с графином какой-то мутной, как кисель, жидкости. — Ну-ка домашненькой...»

«У меня тут, — дядя Коля пьяно икнул, — один штукарь, едри его под хвост, ручку, понимаешь, вертану́л, — он подцепил из голубой миски кусок студня. — Да... Так обидно... За пачку индейского* один, уже освободился, смастырил — наборная и с красной звездочкой на конце. Ну, мне показалось на одного, я его завел за баню да по боку, да по шеем, а тут узнаю — не он. Вишь, как оно бывает... Да, не он, а зверек один, армян, в больничке сейчас лежит. Ну, черножопый, приедешь — я тебе пропишу! Я тебе... В общем, жить будешь, а на бабу не потянет!»

«У нас бы за такое «по боку» крику не обобраться», — сказал дядя Витя.

«Я потому и ушел от вас к жулью — с ними не в пример легче. Больно вы цацкаетесь со своими «политиками».

«Скажешь тоже — цацкаемся! А посади-ка к нам любого блатного-разблатного — белугой взвоят... Можно и без «по боку» такой регламент учредить, что только держись! Впрочем, мы и физическими, так сказать, мерами не пренебрегаем, но чтобы без свидетелей».

«Без физических нельзя, это так», — подтвердил дед.

«Мо-ожно! — вдруг не согласился дядя Витя. — Еще как можно!.. Конечно, если пара тысяч контингенту — тяжело, а как у нас все наперечет, так если с него глаз не спускать, то всегда нащупаешь, где у него болит. Я вот его свидания лишу или на голодный паек посажу, а то, например, книги да тетради заберу на проверку вроде, да обложки пообрываю, да тетрадь-другую вроде как потерю, да письма все перекрою, он и взвоят, а взвыл да обругал — пожалте, в карцер, на хлеб-на воду. Я сегодня как раз, хоть не курю, задымил «Беломорину» и захожу в одиночку к Зибельману — у него и слюнки потекли, ду-

* Имеется в виду индийский чай.

мал — попросит, но нет — вытерпел... Как, спрашиваю, жалобы имеются? Ночью холодно, говорит, нельзя ли бушлат? Да вы что, я ему... у нас это строго — только на вы... да вы что — июнь на дворе! А там и в самом деле не так холодно, как сыро — под окнами-то болото, да и погода вон какая. Ну-ка попробуй на фунте да на воде, да в одной курточке тряпичной целый день ни присесть, ни прилечь... Июнь, говорю, на дворе уже. Он глазами так и сверлит — съел бы! Ах вы, кричит, такие-сякие, книги мои порвали, людоеды! Ах, ты так? Я сейчас сажусь — и рапорт: «За оскорбление и так далее» — пятнадцать суток ему еще обеспечено как пить дать».

«Эка невидаль — пятнадцать суток! — дядя Коля заметно опьянел, лицо его взялось ярко-красными пятнами, глаза сделались неподвижные и мутные, как запотевшее стекло. — Мы бы за лайку эту сперва требуху ему оттоптали, а уж потом и пятнадцать».

«Разве теперь карцер, — сказал дед. — Вот раньше был карцер».

«Ничего, — утешил их дядя Витя. — Вон тот же острослов уже чирьями весь оброс. Я из этого Зибельмана сделаю Гибельмана, язычок-то я ему укорочу».

Дед возмущенно крикнул: «Эх вы! Ра-апорт написал! Так разве укорачивают-то! Тьфу-ты, глаза бы на вас не глядели!»

«Ты, отец, устарел, — рассмеялся дядя Витя. — За новой стратегией следить надо!»

«Учи, учи, яйцо курицу. Укащику-то за щеку, говорят».

«Ну, отец, это ты, если на то пошло, органам скажи — их установка: пусть, говорят, лают власть, зато будем знать, кто что думает. Вот и терпим. Другой этой власти сует во все дыхательные и пихательные — терпим. То есть как терпим? До поры до времени... А этого Гибельмана я проучу, чтоб не острил. Вызываю я его, в январе еще, — с характеристикой годовой ознакомить. Ну там нарушения перечислил и все прочее, как предписано, и в конце: «Взгляды свои не осудил, к советской власти относится отрицательно». А он: это ложь, я к советской власти отношусь очень положительно. То есть, я ему, как так положительно? А так, говорит, — я на нее с прибором положил!»

«Ха-ха-ха! — закатился дядя Коля. — Во, дает, падаль! Так и ляпнул?»

«Ну да! А то еще...».

«Вот ты говоришь, — вклинился дед, — ручку сперли. А что же эти ученые-мудреные? Уже и в космос летают, и тому прочее, а нет чтобы, значит, такую пилюлю изобрести, чтобы как кто напаскудничал, утром встал и сам на себя донес в доско-нальности»

«Ну ты, отец, и удумал, — рассмеялась тетя Нина. — Эдак всех пересажать придется — сторожить будет некому. Вот хоть бы и Виктор, не в осужденье будь сказано, где доски-то для сарая добыл?»

«Ну это ты...» — рассердился дядя Витя.

«Дак я в похвалу. Молодец! Это я вот бате — насчет его пилюли. Мы ведь тоже не лопухи, не из дому стремимся, а в дом».

«А ты, не дослушавши, не таракти, — оборвал ее дед. — Нас эта пилюля не касается, а скармливать ее, которые на подозрениии или замешаны, непутевые всякие, а пуще всего которые против партии и народа идут».

«Во! — воскликнул дядя Витя. — Мудро! Вот ты, отец, и сочини этим ученым: так, мол, и так...».

«Сочинил уже», — дед гордо выпрямился.

«Ну и?»

«Покамест молчат. А вот я предложение в ЦК написал — «Об улучшении в области лагеря» называется. Счас я вас ознакомлю». Дед приподнялся и, запустив руку за портрет Ленина, извлек оттуда зеленую школьную тетрадь.

«А ну тебя, пахан, — сказал дядя Коля. — Люди повеселиться собрались, а ты тут...».

«Ну и дурак, коли так», — обиделся дед.

«Вот ты в том году Конституцию писал. Послушали, что ли, тебя?»

«А как ты думал?» — строго взглянул дед. — Что мне ответили-то, аль не читал? «Ваши предложения будут приняты во внимание!»

«Ну и где же их приняли? Нам эту Конституцию читали на политзанятиях, я уж слушал, слушал, а чтой-то насчет того, чтобы стрелять врагов народа не уловил...»

«Ничего, еще уловишь», — сухо отрезал дед.

«Это ты, отец, и в самом деле перегнул малость, — сказал дядя Витя. — Сейчас другая линия — гуманизм».

Дед с трудом выдрался из-за стола, тетрадку, свернув ее

трубкой, кое-как запихнул в карман галифе, накинул на плечи шинель и отворил дверь. «Гума-ани-зм! — передразнил он уже с порога. — Новая ли-ния! Понимала бы вошь в голове! Вы в партии-то без году неделя, чтобы меня линиям учить. У нас всегда гуманизм!» — отпечатал он и вышел.

«Во расходился!» — хохотнул дядя Коля.

«С ума стал съезжать, тяжело с ним, — пожаловалась тетя Нина. — Тут как-то Васька очки ему ненароком кокнул, так он нам всю плешь проел: в карцер его и все! Сам, кричит, буду де-журить! Да чтобы я родную кровь в карцер,—чуть не задохну-лась она от возмущения, — как зэка какого-нибудь проклято-го!.. Пет-тух старый!»

«В сарае он, что ли, задумал карцер учредить? Или в чула-не?» — спросил дядя Витя.

«В сарае. Окно, говорит, заколочу досками...».

«Это он не со зла — без работы скучает... Вот и проекты от-того же пишет».

«А ну его к хренам собачьим, — дядя Коля потянулся к гра-фину. — Давай-ка еще саданем... Ты мне вот что разобъясни, — продолжал он, опорожнив стакан. — Ну вот ты кончишь свой институт на юриста этого, и что же?»

«Как что же?»

«Ну денег-то тебе, едри его под хвост, накинут или как?»

«Денег-то особенно не накинут, но...».

«Так на кой хрен, — перебил его дядя Коля, — мозги тогда сушить?»

«Ну, брат, сейчас в нашей системе без ромбика-то выше май-ора не прыгнешь».

«Тяжело, небось, и учиться, и работать-то?» — спросила тетя Нина.

«Да не сказать, чтоб очень. Профессора к нашему брату эм-вэдэшнику с пониманием относятся — очень-то не жмут».

«А в Горький ты чего из Саранска перевелся? Езды ведь больше... Лучше учат там, что ли, или, может, кралю там себе завел?» — тетя Нина весело подмигнула.

«Стал бы я из-за крали в такую даль переться!.. А вот я как на сессию-то поеду, так в Горьком-то хоть колбаски вволю на-емся да пивка попью. А в Саранске голяк!»

«У нас один, — дядя Коля икнул и уронил на пол вилку. — Что, стервец, удумал. Москвич называется! Со свиданья шел,

мать у него была, так передача-то ему не положена, а он взял и колбасу эту к хрену привязал.

«Ну?» — спросил дядя Витя.

«А как же! Под ту колбаску мы в дежурке два пузыря раздавили. А стервеца в изолятор, потому как колбаса им законом запрещена».

«Это что! — как-то подвизгивая, захохотала тетя Нина. — Я вот вчера... Или когда? Да, кажись, вчера... Ну да, вчера... Ох, смеху-то!.. Верка у нас Шилова в изоляторе сидит. Оторва — я тебе дам! В том году за растрату пришл^а, тихоня такая, все плакала сперва да краснела, как матом кто пульнет, а теперь... Да, только сидит она всю неделю, и, как ни загляну к ней в камеру, все дым столбом. Ах ты, думаю, паскуда, где ж ты табак-то прячешь? А днем на работу их гоняют, с изолятора-то. Ну, с работы идут, я ее наголо раздела, все то перещупала — нет ничего, хоть убейся! Да... глядь, а у ей вроде как нитка свисает прямо с того места. Я ка-ак дерну! Ну вот словно сапог из болота выдернешь — чвак! — так оттудова пачка махры и выскочила!»

Чтобы не слышать их хохота, Олег зажал уши руками и заиался, больше всего боясь, как бы они не догадались, что он не спит.

«А ну, играй песню, Нинка!» — крикнул дядя Коля.

«Эх! — взвизгнула тетя Нина, и пол затрясся от ее топота:

Нас четыре, нас четыре,
Нас четыре на подбор:
Аферистка, чиферистка,
Ковырялка и кобел!*

«Мимо тещинова дома, — заревел дядя Коля, —
никогда так не пройду —
Либо свистну, либо дерну,
Либо жопу покажу!»

«Ай ту-ту-ту-ту-ту-ту, — топала тетя Нина, —
Приходи в субботу ту,
Буду париться нагая,
Покажу она какая!..

* «Ковырялка» и «кобел» — лесбиянки (лагерный сленг).

И-эх! Ну же, Витька, давай, твой черед!»

«Да я новых-то не знаю».

«Эх, ты, уче-еный! Ах ты, Витя-Витя-Витя, — снова задрожал пол, —

На тебя не угодишь —
То велика, то мала,
То лохмата, то гола!»

Олег тихонько соскользнул с печи, сунул ноги в сапоги и юркнул за дверь.

На крыльце, упершись палкой в землю, сидел дед. «А-а, — обернулся он к Олегу. — Черти полосатые, разбудили мальчика. Топают, как лошади... А ты погуляй, погуляй — вроде распоживается».

«Васька не приходил, дедушка?»

«Придет еще, куда он денется. Тоже неслух растет. Народ теперь все никудышный какой-то. Вот хоть бы и Зинка-почтарка. Сижу сейчас, а она мимо забора юбкой метет, я ей культурно: так, мол, и так, что же ты, милая, газеты-то через день на третий носишь? А она — фырк: «Надо, так сам сходи на почту!..» Страху никакого не стало, вот и расползается все по швам. Раньше-то они, по-нонешнему сказать, 45 рублей получали и как за почту-то свою держались — лишь бы не в колхоз! А теперь ей 75 платят, и она же недовольна. Или возьми хоть моих. Вон огород-то, глянь — сорняку по пояс. И хоть бы что! Уродит — хорошо, а нет, так и в магазине купим. Хозя-яева!.. Бывало, пойдешь к майору, поставишь ему бутылку, так он тебе этих зэков пригонит — они и огород вскопают, и дров на всю зиму напилют-наколуют...».

Дед вытащил из кармана тетрадь и аккуратно расправил ее на колене.

«Ты вот, — взглянул он на Олега холодными, как осенняя лужа, глазами, — послушай-ка, что я написал. Тебе полезно от старых людей умному поучиться».

Васьки все не было, какое-то смутное беспокойство смущало Олега. Ему не терпелось выскочить за калитку, чтобы поскорее начать ждать...

«Об улучшении в области лагеря» называется. В Москву, в Центральный Комитет коммунистической партии Советского Союза.

Я, Бакайкин Кондрат Семенович, как верный большевик-ленинец с одна тысяча девятьсот тридцать четвертого года, — начал он размеренно и веско, — считаю своим партийным долгом сообщить. Я, как состоявший на воспитательной работе при лагерях 38 лет ветеран, имею драгоценный опыт. Награжден грамотами, медалью «25 лет победы над фашистской Германией», значком «За отличную службу», воинское звание — старшина в отставке.

Со всей беспощадной прямоотой, как нас учит товарищ Леонид Ильич Брежнев на 25-м съезде нашей родной коммунистической партии, сообщаю. Сердце кровью обливается, смотря, как народ распустился. Анекдоды рассказывают, болтают, непочтение властям оказывают. Народ должен любить порядок и иметь страх к начальству. Раньше хотя были временные заблуждения насчет культа личности, но вражеский элемент, который угодил в лагерь, не знал, выйдет ли отсюда живой. Теперь кормят их от пуза, как в народе говорят, а работают они легче, вот и не боятся. Бить, конечно, превышение, но и не бить нельзя, если он тебе в глаза всю родную партию, весь Центральный Комитет и Политбюро лает похабно. Это в лагере. А которые поставлены пресекать, сами радио капиталистическое слушают. Это, значит, глубоко зараза корни пустила, и надо ее вырвать ежовой рукавицей, выместь железной метлой, чтобы земля под ногами горела. Надо объявить по всей нашей обширной бескрайней стране, чтобы добровольно ехать Сибирь покорять. А которые сибиряки, тех — в пустыне каналы строить добровольно. Это так просто, для бдительной проверки, как навроде учебная тревога в армии. Всех верных большевиков-ленинцев предупредить загодя, чтобы следили, которые уклоняются и высказываются. Бдительно следить и хватать. Так мы махом выpoleм все вредные сорняки.

И про лагерь. Чтобы только кому, как бывало, шепнуть «лагерь», он бы бледнел и дрожал. Жулики всякие и бандиты-хулиганы — это все временный элемент, достоин снисхождения, потому по несознательности, а с контрой никакой пощады. По первому разу кто болтает — 10 лет и работать без воскресенья по 12 часов. Потом, если переисправился, пусть выступит по радио или в газете и покается, что он служил вражеской разведке и расскажет все про своих дружков-приятелей. А нет — еще 15 лет, по отбытии которых, если снова не пере-

исправился, значит, подлежит к высшей мере социальной защиты через расстрел как в корне гнилой.

Прошу принять мое предложение для спасения любимой родины. С партийным приветом. Бакайкин.*

Ну?» — поднял он глаза на Олега.

Тот молчал, не зная, что сказать.

«Иль не понял ничего?»

«Понял... А их теперь хорошо кормят?»

«Моя б воля — я их вообще не кормил бы. А так, как бы тебе не соврать... баланду ихнюю раздают, так от вони с души воротит. И ведь какие закоренелые — ему говорят: пиши на помилование — домой пойдешь, а он — нет! Да от одной этой баланды, кажись, не то что помилование, сапоги бы лизал».

«Дедушка, а магазин, где бинокли продают, до скольких работает?»

«Бинокли? У нас отродясь такого не было. Не знаю, и в Саранске-то вашем есть ли».

Олег похолодел. «А в Молочнице?»

«Тем более... Кыс-кыс-кыс-кыс! Иди сюда, рыженький, иди сюда, иди... Кыс-кыс...».

Из огородного бурьяна выскользнул рыжий котенок и, бояливо вздрагивая, захромал к деду.

«Кыс-кыс-кыс-кыс...». С неожиданной ловкостью и силой дед подцепил его снизу палкой — котенок шмякнулся об забор и, жалобно мяукнув, свалился в лопухи.

«Гад!.. Гады!» Олег выскочил из калитки и полоснул из автомата сперва по деду, потом по окнам, и строчил, пока не расстрелял всю обойму. Сначала взялась крыша, но вот лопнули стекла — из окон выпрыгнули красные языки пламени, и тут же весь дом скрылся в клубах огня и дыма.

Слезы мешали ему, и он то и дело спотыкался на бегу о шпалы. Смеркалось. Опять зачастил дождик. Где-то исходила истошным визгом свинья. Над заборами всех трех лагерей враз вспыхнули лампочки и прожектора.

Он остановился, смахнул кулаком слезы и пошел, стараясь ступать как можно тверже: «Кан-да-лам-ша!»

* Примечание автора: Сии глубокие мысли — не плод досужей фантазии, но скромно заимствованы у прапорщика Глинова В.Р., с которым автор свел знакомство еще в 1962 году и до сих пор никак не может раззнакомиться.



ИЩИТЕ ШАПКУ-НЕСИДИМКУ

Сегодня последняя темная ночь. Когда-то большой кровью было отвоевано право гасить в камере свет на ночь. И вот оно вновь утрачено. Перечисляя тюремные издевательства, Корвалан назвал в числе таковых и ночное освещение. И надо было ему об этом вспомнить! Все прочее, названное им, у нас в избытке, и еще много такого, что этому Корвалану в кошмаре не привидится, а вот с ночным освещением в самом деле неуязвочка... Но завтра она будет ликвидирована, чтобы Пиночету не помнилось, что он хоть в чем-то может перещеголять нас.

Передовое человечество, увлеченно скандировавшее требование освободить Корвалана, было бы неприятно поражено, узнав, что нашло себе ревностного сторонника в лице такого отпетого преступника, каковым является Люцифер. Что ни вечер, едва погасят в камерах свет и чуть-чуть уляжется коридорная суэта, по всему лагерю разносится скрипучий голос Люцифера: «Отдайте свободу Люсе Курвалану!» И так целых три года. Но вот наконец-то Корвалан в Москве. Как же теперь быть Люциферу? Впрочем, он сидит с сорок шестого года, и будем надеяться, что за оставшиеся ему одиннадцать лет подвернется еще не один Корвалан, чтобы требовать ему свободы.

В тот день, когда радио принесло радостную весть об избавлении Корвалана, наша зона страдала повальным разлитием желчи. А таковое, как ведомо, сопровождается не очень остроумными, но зато чрезвычайно ядовитыми репликами типа: «Три года промучился — и уже в Москве икру жрет!», «Эдак и всякий бы непрочь — три-то года вместо пятнадцати...», «Пусть бы и палками били», «Продешевил Пиночет! Хотя бы выговорил нам какое ни то смягчение: забирайте, мол, Корвалана, а своих кормите по-человечески...», «Читал? Люся-то Курвалан приемник имел! Жалуется, что посылки из СССР отдавали без этикеток, чтобы сбить с толку... Есть ли у них совесть вообще? Уж молчали бы о посылках-то! Какие посылки? Какие этикетки? Скорее бы лето — хоть одуванчиков нажраться, а то зубы шатаются и кровь из десен...», «Меняю здешнюю гуманность на чилийскую жестокость», «Ты смотри, Корвалан в концлагере с волосами и в вольных тряпках! А как же его сфотографировали? Разве там можно? Моя старуха уже лет десять просит, чтобы я ей свою карточку выслал... да где ее взять?» Ну и т.п.

Ехидство логики этих реплик и порочность их тональности столь же очевидны, сколь и простительны. С одной стороны, это реакция судорожного омерзения на трехлетний демагогический визг о спасении Корвалана, которого вот-вот скушает Пиночет, с другой — опустошающая душу горечь при мысли о всесии отечественных держиморд, наловчившихся отпирать чужие узилища, при этом свято охраняя свои. Отчасти это можно рассматривать и в качестве типовой гримасы жителя страны, в которой, по преданию, за одного битого двух небитых дают. Таковой битый склонен презрительно хмыкать в ответ на истощные вопли откормленной немчуры, которая раз в год получает затрещину от полисмена. Вместо того чтобы нормально опечалиться: дескать, полицейская затрещина и раз в год — дрянное дело, битый кричит, язвительно кривя лиловые губы: «Ты смотри! Они еще плачут! Да у нас дня нет, чтоб нам руки не выкручивали да ребра не считали — и то не хнычем! Их бы к нам — они бы на другой день загнулись!»

Любопытно еще и то, что не слышать зависти к самому факту освобождения массы политзаключенных во многих странах — вот, дескать, и нас бы освободили... Это почитается за вещь совершенно невозможную (хоть тайно всяким и леле-

емую), о которой солидному арестанту — в отличие от карателей — и заикаться-то неуместно. Вот кабы вожжи чуть поотпустили, да кнут укоротили, да не соломы, а овсеца бы в кормушку сыпали, тогда еще куда ни шло, с овсецом-то...

Я полагаю, что освобождение Буковского можно рассматривать в качестве обнадеживающего прецедента, такой обмен — по существу, нормальной вещь (разумеется, в той степени, в какой вообще нормально держать оппозиционеров за решеткой), это вроде обмена пленными после боя — перед началом следующего... Будем уповать. Раз уж жеманница позволила, чтобы ей запустили руку под подол, есть надежда, что она сбросит маску недотроги и нагишом сбачает цыганочку... Впрочем, не исключено, что, разок согрешив, она убоится пересудов и панически ринется назад — за толстые монастырские стены и на все крики извне: «Выходи! Все равно мы знаем, что ты шлюха! — будет лишь упрямо выставлять принципиальный кукиш.

Но будем надеяться. По многим признакам этот год обещает быть определяющим. Идет выбор пути для страны. Пока мольбы о свободах опирались только на зыбкую почву духовных потребностей человека, их можно было легко игнорировать посредством исконной логики, затрещин, кляпов и зычных рекомендаций всякому сверчку знать свой шесток. Теперь носителями вольнолюбивых претензий соделалась технократическая верхушка, что является выражением непреложной потребности экономики государства в вольном воздухе: она выпросталась из замаранных пеленок ручного и полуавтоматизированного труда, примеривает взрослый костюм электроники и тревожно заглядывает в будущее, заранее ломая голову над тем, как бы ей избавиться от жестокой опеки примитивных предков и где раздобыть деньжишек на фрачную пару, дабы не прослыть провинциалом в глазах европейцев, таких тонных насмешников. Что и говорить, времена государств, чья мощь определялась в первую очередь умением всех их граждан бравомаршировать в ногу, окончательно уходят в прошлое. Теперь, сколько ни потребляй чугуна и стали, технотронных мышц на них не накачать, таковые требуют более деликатного продукта

— творческих мозгов, а последние возможны, если уже в школе не возбраняется спрашивать обо всем, сомневаться в чем угодно, на все иметь свою точку зрения. Таким образом, наши попечители стоят перед грозной альтернативой: приоткрыть окно и впустить некий минимум вольного воздуха с риском самим подхватить простуду или держать окна закупоренными, и пусть чахнет держава, лишь бы самим не кашлять. Я согласен, трудно отрешиться от традиционного понимания патриотизма, путающего понятие «благо отечества» с мерой личной власти и величиной казенного жалованья, но куда же денешься — жизнь подпирает: держава-то не хочет чахнуть и все настойчивее пишит голосишками своих академиков и промышленников: «Воздуха, воздуха...»

За низовых-то патриотов, всякой директиве рывкающих «ура», переживать не стоит. Им прикажи понимать под благом отечества умение расторопно вязать и сажать — отца родного увяжут и упрячут, а объяви, что таперича воля вольная, они хоть и сморщатся, а все же «ура» прокричат, потому как начальству завсегда виднее... За них можно не переживать, они в случае чего приспособятся, они на вверенном их попечению участке и на самую свободную свободу (ежели таковая приключится) такой хомут соорудят, да такие оглобли ей пристроят, да так вальяжно рассядутся в мягких розвальнях, что только диву дашься. А вот тем, что повыше, — тем, конечно, боязно: уж ежели случится им сверзиться — то в лепешку! А кому охота в лепешку-то!

...Пуганая нить моих рассуждений была счастливо прервана визгом одного из тех, кто все свое время проводит, висая на оконной решетке: «Кино принесли!» Редчайшая удача: вместо типовой политико-воспитательной дребедени — документальная лента о студенческом движении на Западе. Какие лица, Боже мой, какие свободные лица сияли мне с экрана, махали кулаками, гримасничали от боли, ненависти, отчаяния и счастья! Из нашего смиренного райского далека порой кажется, что не столь уж важно, правы они на самом деле или нет, важна нездешняя осиянность их лиц поиском правоты, важны те чувства, которые вытолкнули их на улицу. Я вспомнил Москву и попытался представить себе ее улицы затопленными волнами

взъерошенной молодежи... Что-то такое вроде бы было... Не очень, правда, молодежное, да и в лицах как-то нет того, если и веселость, то упорядоченная бодрыми маршевыми ритмами, если и буйное неистовство, то с запахом самогонного перегара...

Ба! Да это и не волны вовсе, а стройные колонны демонстрантов, это и не лица вовсе, а ритуальные маски «праздника трудящихся», это и не люди совсем, а веселящиеся — в установленный начальством день — производственники!

Глядя на экран, я вспомнил надутую серьезность физиономий моих былых сокурсников — все свободолюбие самых строптивых из них сводилось к поискам возможности поскорей пережевать обязательную идеологическую жвачку, чтобы после экзаменов выплюнуть ее и забыть навсегда. Шестидесятые годы. Кампусы западных университетов бурлят, на Востоке — тишь, да гладь, да Божья благодать. Неужели вам все ясно, неужели нет у вас вопросов, от которых побледнели бы профессора, неужели вам хватает стипендии, неужто вы от всего в восторге? Так чего же вы так скучно молчите или невразумительно бубните затверженные мудрости? Гляньте на своих сзертников! Лучше юношеский инфантилизм мятежных метаний со всеми их крайностями, чем маразматически смиренное приятие декретированных учебной программой истин. Ищущий да обрящет, чтобы искать снова — дальше и глубже! О, как сияет твое лицо, падающий и встающий! Покорный миру сему, мнящий себя обретшим и имущим, отчего так сер лик твой, почему зловонно дыхание твое? Будь ты проклят, довольный и тихий, буйствующий только в подпитии.

Стоп — кричат: «Приготовиться к отбою!» Извини мне этот всплеск эмоций, вряд ли мне сегодня уснуть. До свидания, милая. До завтрашнего вечера.

А из Саранска ты мое письмо получила? Я его отправил, кажется, 4 июля, а на другой день ко мне в камеру перевели Юру и Бориса. Почти двое суток мы молили языками без передыху. А какой, если бы ты знала, чудесный ужин мы закатали на прощанье! Мы пронюхали, что в четверг нас с Юрой увезут, и накануне развили бешеную энергию, чтобы именно в этот день реализовать положенные нам милосердным законом ежемесяч-

ные четыре рубля. Мы не виделись с Борисом с самого суда (то есть почти шесть лет) и, побыв вместе пару дней, опять расставались на... сколько лет?

До арестантской расчетливости ли нам, расчетливости, которая вынуждает иных вместо сала получать в ежегодной посылке черные сухари... чтобы подольше их жевать. Мы заказали помидоров и огурцов, луку, сто граммов сметаны и две булки белого хлеба, угробив все свои трудовые двенадцать рублей. Но зато!.. Я ведь в последний-то раз ел помидоры да огурцы в 1974 году. А тут еще и свет погас, и нам внесли в камеру свечу. От винегрета мы размякли и во всей подлунной не было в тот вечер людей остроумней, добрей и счастливей нас троих. Борис, как истый художник, все порывался запечатлеть нашу с Юрой полосатость, особо, по его словам, колоритную при свете свечи. Но карандаш и колорит не очень-то сопрягаются, к тому же всякий портрет заключенного — крамола, подлежащая изъятию и уничтожению. У каждого свой основной символ свободы. Для меня — возможность читать любые книги, для Бориса — наконец-то иметь краски.

В общем, эту поездку, в отличие от предыдущих, можно считать везением. Месяц безделья, относительно приличного питания и смакования Салтыкова-Щедрина (из разрозненных томов которого и состоит практически вся читабельная часть тамошней библиотеки). Да еще чайком удалось запастись, да третье, да десятое... Кабы не изнурительная нервотрепка так называемых «профилактических бесед», подтекст которых не всегда поддается расшифровке и потому гнетет. Были времена, когда зэка мог отсидеть свои законные 10-20 лет, так и не встретившись нос к носу с голубыми Песталоцци, и все его перевоспитание сводилось к каторжному труду, голоду, холоду, побоям. Нынче мы наперечет и всяк на виду. Нас просвечивают насквозь, полковники и генералы не брезгают знать все наши свычаи-обычаи, всех наших друзей-недрузгов, все наши планы-мечты, радости и страхи... А я не хочу быть прозрачным глазу власть имущих. Не потому, что напичкан какими-то там особыми тайнами (от криминальных до сексопатологических), обнаружение которых опасно и позорно, а прежде всего потому, что этому судорожно противится мое человеческое естество. Когда в душу пытаются заглянуть, как в стеклянный аква-

риум (с абсолютным правом подкормить ли рыбок... для за-втрашнего ужина, отравить ли или просто наплевать в воду), я чувствую себя испоганенным, как чувствуешь себя испоганенным, когда на втором месяце голодовки "кормят" рег апшт — кабы не наручники, скинул бы с себя обоих "кормильцев" и глотку им перегрыз...

Впрочем, месяц канту в оомен на 3-4 кабинетных раунда — еще куда ни шло. Да плюс этап. Но более всего я, конечно, рад встрече с Борисом...

Неужели мои письма столь безудержно бодры, что им легко не верить? Какая такая особая в них бодрость? Откуда бы ей завестись? Очевидно, это впечатление — следствие разницы отношений, установок, восприятий, несовпадения систем отсчета: что одному норма, то другому — сплошь патология, что одному удача, другому кажется еще одним свидетельством повседневного кошмара. Помнишь, какой удачливый день выдался у Ивана Денисовича — и миску-то с баландой он закосил, и в карцер не попал?.. А со стороны это разве не сплошь кошмар? Но чтобы выжить, надо отучаться смотреть на себя со стороны. Сегодня здоров? — Более или менее. Письма доходят? — Так-сяк. Как с чтивом? — Гм... бывало и хуже. Ну и т.д. А уж если чуть-чуть за себя постоять удастся, какую-то мелочишку отвоевать, не совсем бесплодно соппротивляться враждебным обстоятельствам (тем, что в погонах), то и вовсе, бывает, приободрисься, заважаешь себя. Ведь даже когда какой-нибудь доходяга-уголовник, беззубый и истрепанный жизнью до безобразия, хрипит, жалуясь: «Эх, жизнь наша каторжная — носим ношеное, едим брошенное!» (на воле, пока его еще не поймали в очередной раз в чужой квартире или просто на чердаке, он выкрикивает другой вариант этой жалобы: «Носим ношеное, е...ем брошенное»), в этом стоне легко слышать нотки гордости и вызова: все равно, несмотря ни на что, и мы люди-человеки, да еще почище некоторых, которые сплошь рабы или надсмотрщики.

Ну и т.д. — на бесконечный мотив ярошенковской картины «Всюду жизнь». Мы так втянулись в запроволочное (не-)бытие, что давно притупилась боль, мы научились не думать о женщинах, чтобы не свихнуться, не думать о «вкусной и здоровой пище», чтобы подавить отвращение к баланде («не едим, а да-

вимся»), какой бы «изм» мы ни исповедовали на словах, в повседневной жизни мы поневоле стоики, мы разучились слишком пристально смотреть на себя со стороны, чтобы не отчаяться. Разве что порой обожжет словно кислотой. Вот ехали мы с Юрой из Саранска, веселые и довольные, — да вдруг скуксистись враз... И случай-то вроде бы пустяковый, а поди ж ты!..

И езды-то до Саранска каких-нибудь 180 км, а добираться туда дней пять.

Когда годами сидишь в такой немислимо крохотной клетке, даже этап длиной в 180 км — настоящее приключение. То на пересылке кого-нибудь встретишь, то с уголовничками поболтаешь «за жизнь» да слушаешься их любовных дуэтов с «крудуньями» или с конвоем, бывает, такую дискуссию разведешь — аж самому стыдно своей горячности и красноречия. Сенсорный голод!

А окно-то в «столыпине»! Это ничего, что оно далековато от тебя и непрозрачно — летом в вагоне духота, смрад (особенно, если «мамки» с грудными едут), махорочный дым глаза ест поедом, так что хочешь-не хочешь, а надо его время от времени приспускать, хоть на ладошку. А преступничку и того довольно: арестантский глаз он ухватистый, ему и шелки, бывает, достаточно, взгромоздишься на верхнюю полку, да так и вопьешься в оконную щель со всеми ее чудесами: березки да сосенки, поля, лужайка, речка, а вон-вон-вон домишки замелькали и — гляди-ка! — баба огород полет, да то-о-лста-я какая!.. ишь нагибается!.. Вольный ветерок в щелку-то залетает и в горле першит...

Все это с лихвой окупает бесчисленные этапные мытарства...

В Рузаевке наш спецконвой что-то там ошибся в расчетах, и пришлось нам с Федоровым ожидать поезда прямо на платформе. Трое прижали нас к вокзальной стене, руки на ремне — поближе к расстегнутой кобуре, а двое толпу распугивают. Так минут 20 мы простояли под обстрелом равнодушно-любопытных гляделок. И возмись откуда-то толстая бабка в кирзовых сапогах и солдатском зеленом бушлате в рыжих мазутных пятнах, усталилась на нас, сморщилась вся и заплакала, громко причитая: «Батюшки! В полосах-то все! Да молодые ишо... и в очках оба-два». Начальник конвоя прикрикнул на нее, она куда-то быстро-быстро зашаркала, а через минуту опять тут как тут — с двумя пачками «Беломора» в руке и ну

умолять «солдати́ков»... Куда там! Прошли крыловские времена, когда милосердие поощрялось, ныне оно вроде преступление.

А тут уж и поезд наш подкрался... Разлеглись мы на полке и уж пригорюнились. Даже и про окно забыли. А коли уж арестант в окно не тарашится — дело, значит, совсем дрянь.

Вот оно как бывает, когда иной раз глянешь на себя глазами другого.

Салют! Вчера денек выдался на редкость суетливый, хотя в некотором роде и незаурядный — но об этом когда-нибудь позже. К письму никак не мог пробиться: днем-то я на работе, а вечером не всегда теперь удается и детективчик-то почитать, не то что письмо сочинить.

Вернулся Алик после трех дней счастливой супружеской жизни. Завидую, конечно. Хотя и не поддерживаю твои ахи: «Если бы я осталась!..» Трепотня это, милая, безответственная. В конце-то концов, вопрос ведь стоял не: остаться или уехать, а уехать спокойно или со скандалом. Ведь все равно тебя бы вы-проводили, раз уж выдали закордонный паспорт.

Натурально два года исполнилось, как ты «откинулась от хозяина» — в связи с чем я разорился на пачку чая, напоив добрую часть зоны. Ты, конечно, помнишь, что нам с тобой нашептывали о двух годах, как максимум, разлуки. Тогда это казалось нам слишком долгим — два года! Теперь остается только посмеяться над собой, горько посмеяться. Я не хочу сказать, что нас сознательно дурили: ведь несомненно, что эта цифра была привязана к определенному внешнеполитическому контексту, к некоей тенденции, которая тогда мощно о себе заявила. Но так, увы, и не реализовалась. Что ж, будем ждать Белграда. Какое-то подозрительное шевеление в недрах нашей системы несомненно ощущается, но что из этого выйдет, никто не знает. Вероятней всего — ничего.

До нас дошло, что некоторые сенаторы взялись за труд личной опеки нашей группы. Кто именно имеет счастье печься обо мне? А то меня тут ларька лишили — хочу пожаловаться.

Равным образом я узнал и о недавнем заявлении Кнессета о нас. Моя ему благодарность.

...возглавлявший охрану краснолицый здоровяк-прапорщик похвастался, что в августе 1974 года конвоировал тебя — это был твой последний этап.

Пока в комендатуре больницы двое надзирателей потрошили мое барахло, ко мне привязалась бочкообразная золотозубая надзирательница из жензоны:

— Так вы муж Сильвы? А говорят, она подала прошение о возвращении в СССР.

Я не стал этого отрицать.

— Не только, — говорю, — слезно просится назад, но и требует, чтобы освободили...

— Тебя и братьев? — вклинилась она.

— Нет, ее угловую койку в бараке. Кто там ее занял?

Еще осенью того года меня убеждали все, кому не лень, что ты рвешься вернуться, так как тебе не дают квартиру и не берут на работу, в связи с чем ты учинила голодовку... Ну, ты даешь! Жду сообщений о твоём вступлении в вильнеровскую компартию.

Единственный, с кем мне тут, в больнице, интересно общаться, — Черновол, но он, как и я, человек занятой, а потому и появляется у моего окна только по делу. Такие визиты не раздражают. Ну и, конечно, чайком меня балует, так и пьем, стоя у форточки — он на улице, дрожа от холода и поглядывая по сторонам (чтобы не застучали надзиратели), а я в камере... Человек он живой, энергичный, очень толковый, его не зря называют в тройке лидеров украинских интеллигентно-оппозиционеров. Но, на мой взгляд, он слишком увяз в войне с лагерным начальством по всяким пустякам. В той или иной степени это общий грех многих малосрочников — эффектная пальба из всех орудий по всем целям — и большим, и ничтожно малым... Они знают, что канонада будет недолгой и у них хватит пороха. Не то мы, нам приходится экономить боеприпасы.

Вот, например, некто ученый В. (доктор каких-то наук, кажется, физико-математических), хороший мужик, эрудит и стойкий боец... Ни один надзиратель не мог смотреть на него без скрежета зубовного, и несколько раз они исподтишка поколачивали его. Значительную часть своих четырех лет он просидел в карцере. Но всегда ли за дело? Вот он вручает цензору

адресованное жене Л-ского письмо: «Дорогая Галя, сообщи международной демократической общественности, что кэзэбня концлагеря 358/19 незаконно обогащается, расхищая продукцию лагерного деревообрабатывающего комбината...» Пятнадцать суток ШИЗО. Или посылает домой копии нескольких писем Ленина Крупской (опустив лишь подпись «Володя»), их, конечно, конфискуют «как подозрительные», и он, размахивая соответствующим ленинским томом, строчит жалобы во все концы. Это, согласись, непроизводительная трата сил. Иной раз кажется, что такие энергичные поиски поводов для войны — способ снова и снова доказывать себе, что твои враги и впрямь твои враги. Иногда это компенсация трусости во время следствия и суда. Порой впечатление такое, что, прибыв в лагерь с двумя-тремя годами срока, иной спешит лично испытать все муки, которые он обещал себе, зная о лагере понаслышке, муки как плату за повседневный героизм... А повседневного героизма нет в природе. Тогда из страха унижительного разочарования он затыкает рот сомнениям и пытается искусственно героизировать повседневность. А на что-то серьезное таких подчас не хватает, ибо серьезное не терпит эффектных поз и жестов.

Впрочем, не соотноси эти слова с кем-то персонально, это ни о ком конкретно, но о целой группе. Я потому вспомнил о В., что как раз сегодня получил письмо от него. Да, порой ссылка хуже тюрьмы. Надо Люсе сказать, чтобы как-то организовать ему помощь. Да вот оно, это письмо, — убедись сама.

«Дорогой Эдик! Наконец-то я прибыл в п. Багдарин, Бурятской АССР. Это 600 км на северо-восток от Улан-Удэ (Забайкалье). Везли под конвоем более месяца. Остановки были в следующих пересылках: Потьма, Челябинск, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ. Дорога была ужасной. Единственный участок, где доехал по-человечески, — это от Улан-Удэ до Богдарина, ибо здесь один вид транспорта — самолёт.

Поселок имеет около тысячи жителей, кругом на сотни километров тайга. Зимой температура доходит до -50° . Говорят, есть участки вечной мерзлоты. Дома только деревянные и переполнены до отказа. Жилья и работы нет. Выставили меня на улицу (ночью: -25°) без гроша в кармане: Видите ли, начальник отряда лагеря Пикулин «забыл» переслать деньги с моего лицевого счета. Предложили жить и питаться с теми, кто отбывает

в милиции пятнадцать суток. Хорошо, что один человек сжалился, дал рубль взаймы, я его истратил на телеграмму Ирине Корсунской, и она выслала мне шестьдесят пять рублей. Кое-как устроился в гостинице. После недели раздумий мне предложили место чернорабочего (восемьдесят руб.) при геологической партии и койку в общежитии. Буду воевать!

Со снабжением плохо. О колбасе и молоке здесь не слышали. Гнилые яблоки (падалка) стоят рубль семьдесят. Есть «северная надбавка к зарплате» (30%), но она не компенсирует дороговизны. В магазине нет промтоваров, в библиотеке — литературы. Комнату снять очень трудно. Единственное предприятие — прииск по добыче золота в соседнем поселке Маловск, но работы и там нет.

Но духом бодр. Я всех вас помню и люблю. Свободы!»

Малосрочники порой упрекают нас, жителей «спеца», в скептицизме, с которым мы относимся к ряду их воинственных акций. Они не могут понять, что нам едва хватает сил отстаивать поистине жизненные интересы, а ловить «кэзбню», крадущую стулья из цеха, — для нас невозможная роскошь. Они — спринтеры, мы — марафонцы, нам иной раз не до побед, не сойти бы с дистанции — и то хорошо.

Впрочем, я склонен считать, что тот же В. (не говоря уже о Черноволе), когда получит больший срок (а это с его неумным темпераментом и пренебрежением осторожностью почти неизбежно, если он, отбив ссылку, тут же не эмигрирует), научится соизмерять количество предстоящих ему заповолочных лет с числом врагов и отделять главное от второстепенного, — пригнув голову, набычившись для устойчивости, он впряжется в марафонскую лямку и будет мозолисто тянуть ее до конца. А иначе... иначе надолго его не хватит. Тому много примеров. Ведь, в конце концов, величина срока не является чем-то фатально определяющим поведение, да и целесообразность того или иного типа действий каждый понимает слишком по-своему. Один «мухач» с лихой отчаянностью насккивает на могучего тяжеловеса, зная, что будет нокаутирован, но, прежде чем его за ноги уволочут с ринга, ему бы хоть раз «доставать» ненавистную квадратную челюсть; другой старается

«держат удар», маневрирует, финтит, уклоняется, выжидая момента для коронного хука... да так, бывает, и не ударит ни разу. Но зато он уходит с ринга на собственных ногах, борюча себе под нос: «Ничего, это еще не последний бой...»

...Я стараюсь не давать повода для преувеличенного представления о своих возможностях. Я не беру кредитов, ибо не желаю оказаться несостоятельным. Может быть, самое большое, на что я способен в жизни, — это честно сидеть. Решетка, конечно, здорово мешает жить, но при всем том я не склонен воображать, что только дайте мне свободу («О, дайте, дайте мне свободу!..») — это ведь оперный вопль, равным образом и «дайте мне точку опоры...» — тоже из сферы декламации. За стенами же оперного театра и библиотечного кабинета дают только срок). Я не склонен воображать, что только дайте мне свободу, и все ахнут. Нет, нет и еще раз нет! Всего лишь о нормальной человеческой жизни я тоскую. Хотя и мечтается порой (не без того — особенно на сытое брюхо, а значит, редко) о чем-то не совсем заурядном. Но это уж как случится.

И вот, поскольку жизнь в большой Колыме для меня более немыслима, поскольку сердцем я давно прикипел к маленькому Ташкенту, я готов заплатить самую большую цену за право поселиться в нем и сражаться за него. Вот и все мои претензии. Хотя мне, похоже, еще долго придется потеть, чтобы оплатить въездной билет в Израиль, я не поменялся бы судьбой ни с каким благополучным здешним патриотом, ни тем более с бегемотоподобным надзирателем (а кто может быть счастливее надзирателя?), ни даже с самим собой десятилетней давности (хотя тогда мой срок был вдвое меньше теперешнего, но сидел-то я черт знает за что, границы тогда были на замке, а моя отсидка отнюдь не сулила — в отличие от нынешней — надежду сделать дядям ручкой).

А так чего ж, жить можно, бывало и хуже. И никто не застрахован от худшего. А пока удается дышать между вчерашним «хуже» и туманно-мрачным завтра, оно и слава Богу! Выбора-то нам не дано, сделать-то ничего нельзя, ну, и тешишься тем, что сегодня, по крайней мере, еще жив-здоров, одет-обут, да еще и книжицу-другую удается осилить. Так ведь

и у тебя, милая, далеко не все гладко идет: то с квартирой бе-готня, то на работе не ладится, то болеешь, то третье, то деся-тое — и хамсины-то, и жара одурающая, и страна-то беспокой-ная, да маленькая... Но, как поют арестанты, «лучше малень-кий Ташкент, чем большая Колыма, лучше летом у костра, чем зимой на солнце» — не говоря уж о прочем...

Я вот в последнее время все пытаюсь решить для себя такую задачу: как поступить, если обнаружишь, что рядом с тобой завелся маленький Гитлер? Впрочем, Гитлер — он всегда маленький, лишь стечение разного рода обстоятельств выносит его на высокую скалу власти, и тогда он кажется страшным ги-гантом. Ну, а пока он еще не на скале, пока он еще под волной, как быть?

Ах, жаль, нет у меня возможности перечитать Экзюпери! Как у него там о нерожденных или убитых тяжелой жизнью Мо-цартах? Исковеркать головку акушерскими щипцами или из-мять душу беспросветным бытом — это и есть убить возмож-ного Моцарта. Но это ведь еще не все — смерть Моцарта мож-ет обернуться рождением Гитлера. Моцарт умер! Да здравст-вует Шикльгрубер!

Впрочем, меня сейчас интересуют не истоки — не акушер-ские щипцы, дефекты воспитания и житейские обстоятельства, а то, как сегодня быть, если вот он, живой и вредный, дышит возле тебя, массирует грудь, поджидая волну, и репетирует по-зы, речи и лозунги, которыми осчастливит ликующие толпы.

И если уж плакать над мертвым Моцартом, то что делать с живым гитлеренком? Конечно, без специфических об-стоятельств, без волны, он не очень страшен... Но конкрет-ного человека не столько то беспокоит, перед лицом чего он бессилен (что он против волны, если уж она набежит?), сколько то, где он что-то может сделать сам.

И если бы он прямо говорил, что он Гитлер, а то ведь это только для тех, кто долго рядом с ним, не секрет, а перед боль-шой аудиторией он пока рядится в демократические одежды. Тот Гитлер был по-немецки деревянно откровенен, его или принимали, или ненавидели, ему бы вместо примитивной «нор-дической хитрости» толику византийского коварства, и он бы

тоже, как его московский антагонист, сумел навербовать в 5-ю колонну миллион простодушных.

Он мнит себя харизматическим вождем, претензии немислимые (вплоть до создания новой религии — язычески-нордического толка), неразборчивость в средствах поразительная. Истинная же цель неизменно эгоистическая. Нравственность пещерная, а умишко кабинетный, оперирующий лишь вычитанными схемами. Ну и т.д. — много всякой всячины, колоритнейшей порой, да не хочется особенно-то живописать, ибо момент недвусмысленной идентификации еще не приспел.

Вот и ломаю голову: как быть? В принципе и практически. Публично сорвать с него маску — значит, ударить по престижу славословящих этого страдальца и борца; промолчать — значит, подложить им изрядную свинью: ведь он когда-нибудь явится поклонникам своим, и они обалдеют от горестного изумления. Но не сразу обалдеют, не сразу... Пока они его раскусят, он успеет изрядно напакостить. Не надо путать лагерь с волей, здесь мы друг у друга на виду с утра до ночи, здесь каждый словно нагишом на лежащей годами очной ставке с коллективным пристальным оком испытанных прозорливцев, а там маску труднее разглядеть.

Иной раз я думаю: «И поделом вам! Вам так позарез нужен идол, что вы лепите его из любого подручного материала, даже из дерьма (стоит только присмотреться!), а потом ваш кумир засмердит, треснет и рухнет на ваши молитвенно склоненные головы — убить, может, и не убьет, а измарать измарает».

О! Лагерь — великий разоблачитель, суровый демистификатор! А он к тому же и актеришка-то неважнецкий. Порой он пытается напевать популярные мелодии, но в фальшивых устах красивая мелодия оскорбительней для слуха меломана, чем неприличное урчание унитаза. Претензии, замыслы и аппетиты у него наполеоновские, неразборчивость в средствах нечаевская, а умишком он средний интеллигент кабинетного пошиба, из тех, кто в золотом пенсне на носу бредет задумчиво по улице, никого и ничего не видя, на ходу решая какой-нибудь книжный ребус, — и попадает под трамвай... Впрочем, успевая в последний миг аккуратно упрятать в нагрудный карман золотое пенсне, присланное ему из-за кордона... Ибо его отрешенность — всего лишь поза, на самом деле он так и стри-

жет ушами, так и зыркает глазом, все вокруг видя... кроме трамвая. В нашей зоне его пересекла трамвай жизни. Но он живуч, выполз из-под колес, покалеченный, но отнюдь не мертвый, вновь нацепил на нос золотое пенсне и мечтает о бестрамвайных площадях.

Так как же быть? Казалось бы, какое мне дело до грядущих (в достаточной мере проблематичных) бед, которыми беременен сей супермен? Разве так уж тесен мир? Разве не достаточно того, что тут, в нашей тесноте, против его ядовитости уже выработано коллективное противоядие, а что будет там и когда еще — так ли это важно? Но я не умею быть непричастным, все меня так или иначе касается, я не могу представить себя в роли человека, которому кто-то правомерно может бросить упрек: ты был рядом с Гитлером и даже перста предостерегающего не поднял! Я его поднимаю. И дай Бог, чтобы я всего лишь ошибся.

...Мне не удалось прочитать те четыре листка, в которых ты рассказываешь об Энтеббе — их изъяли из обоих твоих писем. Очевидно, ты изложила это славное событие как-то не так — ничем иным я не умею объяснить эту конфискацию. Ну зачем, дорогая, ты пишешь черт знает что. Надо же как-то с оглядкой на «Правду», а то и вовсе взяла бы и прислала мне соответствующий номер «Правды».

Так или иначе, а самую суть мы все равно вычитали. Мы как раз были тогда в Саранске и, узнав о захвате палестинцами самолета, начали гадать: неужели снова кровь невинных, пойдут им на уступки или нет, надо ли в таких случаях уступать, чем это чревато и как быть?.. Еще более уныло иронизировали по поводу предыдущих известных нам случаев воздушного пиратства, когда сперва ООП отрекалась от принадлежности пиратов к ее рядам, а потом заполучала их для «сурового» суда, о котором позже ни слуху ни духу.

Тебе не случалось сидеть в Саранском следственном КГБ? Прогулочный дворик там миниатюрный — 12 квадратных метров, — чувствуешь себя как в глубокой цементной могиле, а над головой, загораживая полнеба, маячит внимательный страж, ему не только виден любой твой жест и слышен всякий вздох, но и вздумай он плюнуть — точно в макушку угодит.

Порядочный кролик в таком дворике сдох бы от тоски на другой день. Я пока сидел один, даже отказывался от прогулки — как ни туго летом в камере, но там хоть не чувствуешь на себе неотрывного взгляда надзирателя (если он и подсматривает в волчок, то не всегда это замечаешь)...

На другой день во время прогулки топчемся мы, значит, плечом к плечу, толкуем о том о сем, а попка наверху газеткой шелестит да на нас поглядывает.

— Эй, командир! — кричу. — Ну-ка, глянь, есть там что о вчерашнем?

А надзиратели там, надо сказать, ничего ребята (по сравнению с типовым ключником — явным охламоном, хамом и садистом) — преимущественно студенты-заочники, будущие кадровые чекисты. Но не потому они, конечно, «ничего», а потому что им велено быть помягче (одна система — а равно и всякое отдельно взятое учреждение — от другой еще и тем отличается, что она в среднем человеке в данный момент «поощряет» — добро или зло, жандарма грубого или вежливого) — ведь в этот невеселый особняк привозят главным образом для так называемого перевоспитания.

— А как же, — говорит и ухмыляется весело. — Есть для вас кое-что. Дали ваши прикурить! Держите! — приподнял краешек проволочной сетки — и газета спланировала в наш сумрак.

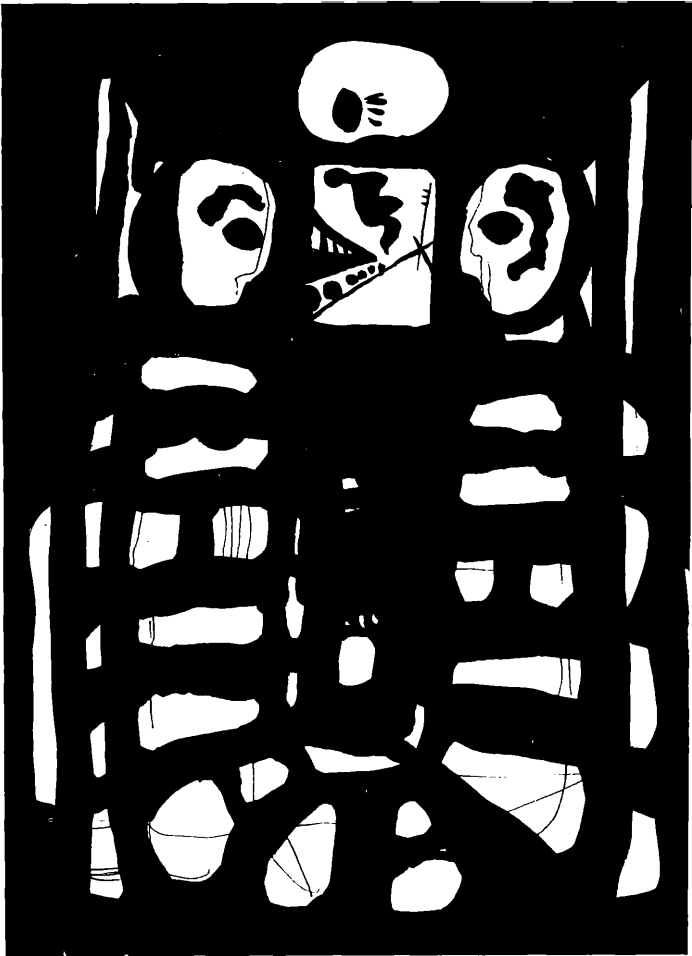
Да будь там сказано, что всех нас освобождают, мы не были бы счастливей в те минуты. Дворик стал еще тесней — мы то и дело натыкались на плечи друг друга, не замечая этого, хохоча как дети, как сумасшедшие, на все лады повторяя новость (вот он где, выход-то! А мы то да се: уступать — не уступать?..) и то и дело заглядывая в газету, надеясь еще какую-то деталь вычитать. Я знаю, что весь Израиль праздновал освобождение заложников, и многие на Западе восторженно приветствовали дерзость этой операции... и мы, мы тоже истосковались по героизму. Неделю спустя я вернулся в зону и, словно официальный представитель Эреца, благосклонно-небрежно выслушивал многочисленные охи... даже из уст тихих антисемитов. (Явные у нас перевелись с декабря 1972 года, когда я, публично поколотив одну мразь, прокомментировал этот жест громким заявлением, что отныне всякое антисемитское действие или высказывание буду рассматривать как направленную лично против меня провокацию — реагировать буду мгновенно.)

венно и безжалостно.) Да, моя линия фронта проходит в Мордовии.

Корни антисемитизма слишком глубоки, чтобы мнить, будто можно их выкопать, учинив бесклассовое равенство. На данном этапе межэтнических контактов только сила — в разных ее модификациях — может оградить евреев от наиболее безобразных форм проявления предрассудочной ненависти. Только сила же и способна пока внушить уважение. Но именно пока, с акцентом на *пока*, а также подразумевая, что эта сила будет, во всяком случае, не более несправедлива, чем любая физическая мощь. Я вот уже четырнадцатый год варюсь в таком котле, где национальные пристрастия — почти самая соль всей похлебки и, выбирая основу и стиль наиболее эффективного каждодневного поведения, я в конце концов нашел в качестве самых практичных два отправных принципа: справедливость и сила — именно в такой последовательности.

Ты скажешь, что не Бог вещь как нова эта находка, но одно дело вычитать ее в книге и другое — дойти до нее лично, под давлением жизни, и, главное, пытаться осуществлять в столь сложном социуме, каковым является «лагерь особо строгого режима для особо опасных рецидивистов, совершивших особо опасные государственные преступления», как официально величается этот единственный на весь Союз зоопарк. Когда-нибудь я постараюсь более или менее подробно обрисовать тебе расклад здешних сил, и ты поймешь, как это не просто тут написать на своем гербе: «Справедливость и сила». Конечно, этика монады не указ Левиафанам, опыт Робинзона в качестве образца для сложных и больших социальных организмов пригоден лишь в некоем изрядно модифицированном виде. Все это так, но я ведь ни на что и не замахиваюсь, я всего лишь пишу о себе, хотя порой мне кажется, что остров Робинзона отделяет от материка не столь уж неодолимое пространство и всякий Робинзон не такой уж и Робинзон.

В восхищении арестантов угандийской операцией я усмотрел преимущественно восхищение дерзкой силой. Ведь справедливость — понятие относительное, легко поддающееся всяческому перетолкованию, сила же — нечто близкое к абсолюту... во всяком случае, в момент ее торжества. Человек так устроен, что, сколь бы глубоко он ни сочувствовал несправедливо обиженному, побежденному и униженному, это сочувствие подпорчено таящимся в недрах душевных презрением к



слабости, неспособности ответить на удар двойным ударом. И потому я целиком приемлю Энтеббе: когда наглый насильник получает по морде, мы в восторге, несмотря на всю формальную противозаконность самосуда. Конечно, почтенный обыватель не унижится до боксирования в темном переулке, а победит, быстро-быстро семеня ножками, в суд. Ах этот суд! Ну зачем он такой Шемякин?... И ведь почти сразу после дня Ионатана — преступление в Стамбуле. ООН — ни слова осуждения. Вот и семеня в этот суд — самому еще срок наматывают: зачем, дескать, вечером по улицам ходишь, вводишь в искушение бедных бандитов. И еще потому всякий арестант обязательно будет в восторге от такого чудесного десанта, что наш типовой заключенный, отсидев лет пятнадцать, и имея впереди чуть ли не столько же, может уповать только на чудо, а не на закон, может грезить только о чуде, ибо закон для него — синоним неправой и беспощадной жестокости.

И сколь бы ни были фантастичны такие грезы (мечтания о чуде десанта еще не из самых причудливых), вряд ли кто из нас не предается им тайком. При всей заземленности облика, изборужденного ранними морщинками прозаических забот, нет больших мечтателей, чем эзки, мечтателей необузданных, фантастичнейших. И мечты эти далеко не безобидны. Нет, может, такого дня, а особенно ночи, чтобы и самый кроткий, тот, что «тростинки надломленной не ломает», не становился в мечтах своих убийцей тех, кто так или иначе властвует над ним — порой даже самых близких людей, которых большую часть дня он искренне любит. Что же говорить о тех, чей день — год за годом — наполнен до предела неволей, унижениями, принудительным трудом и прочими исправительными прелестями, которые не могут не исказить лучшее в природе человека. И, сопротивляясь этому искушению, он бежит в грезы — компенсатор дневных унижений. Всякий нормальный человек по ночам стреляет врагов своих и устраивает рай для остальной части человечества. Но чем дольше я сижу, тем больше ночного времени уходит у меня на врагов... не пугайся, я не стал кровожадной — может, даже наоборот. Скорей уж в реальной жизни убивают именно те, кто кроток ночью. Даже наверняка это именно так.

Боже мой, говорю я себе, если уж не везет, то не везет: раз в жизни родишься — и то не там, где нужно. Думая о трудных дорогах Эреца, я говорю: я не прочь стать солдатом, несмотря

на закоренелое предубеждение против всякой военщины. Каждому мужчине естественно быть солдатом, но не каждому дано обрести свой флаг. И блажен муж, иже сам восхотел тягот солдатской лямки — значит, ему есть что защищать. А это уже очень немало в наш циничный век. Будь я в Израиле, я бы посоветился говорить об этом вслух: где можно действовать, — громкие слова смешны. Знаю все, что ты хочешь мне возразить... Совершенно верно, я говорю не о повседневном солдатском поте в пустыне, и не о мучительной смерти от ран, и тем более не о нелепой гибели из-за начальственной глупости, не о муштре, и не о тысяче прочих теневых сторон солдатской жизни и идиотизме самого понятия солдатчины... Но — я обо всем этом говорю здесь спокойно, там, надев солдатскую форму, заговорил бы громко — все это я приемлю ради надежды в конце на Энтеббе. Оцени, милая, это признание, памятуя, сколь насмешливый я враг всякой патетики. Называется, довели человека. Вместо того чтобы (как и подобает существу рефлекслирующему, миролюбивому, приверженцу всяческой справедливости) изрядно помусолить эту угандийскую историю (просчеты в решении палестинской проблемы, вторжение на чужую территорию, стрельба вместо переговоров и т.п.), прежде чем робко, с множеством оговорок намекнуть, что я все же скорее одобряю ее, нежели порицаю... вдруг такой недвусмысленный восторг! Из чьих уст? Того, кто сам покушался на захват самолета! Ну, не парадокс ли? Т.е. не то чтобы парадокс, а в смысле: где же логика? Логика же, как мне представляется, вот где. Всякое сравнение нашего случая с теми, что ныне вызывают всеобщее справедливое возмущение, откровенно ложно — что наиболее очевидно в тех книжках (как популярных, так и специально-юридических), где склоняются наши имена и ни слова о наших обстоятельствах и мотивах. Сравнить наш случай с иным по признаку внешнего подобия — все равно что ставить на одну доску укравшего кусок хлеба, дабы не околеть с голоду, с профессиональным медвежатником, который, подкладывая динамит под очередной сейф, думает о норковой шубе для своей зазнобы или о личной яхте. Ты помнишь, сколько мы бились над проблемой, как обойтись без крови? Ибо зачем нам свобода на крови постороннего? Я не отношусь к числу слишком холодно рассуждающих: посторонних нет. Это правильно лишь в сугубо умозрительном пла-

не, но не в жизни с ее живыми людьми. Это нечеловеческая логика: всякий, кто не борется с тюремной системой, сам в той или иной степени тюремщик, и потому, коли он встал на пути беглого каторжника, убей его, ибо его руками — знает он об этом или нет — душат твою свободу. Конечно, никто не может, вынырнув из подкопа, пробираясь тайгой, голодный и задранный, застраховать себя от крови, но горе тому, кто эту кровь заранее планирует и оправдывает. Я, может, лучше других знаю, сколь наша щепетильность повредила нам, усложнив наши пути... но как не променяю я полосатую робу на мундир надзирателя, так не сменяю и судьбу заключенного на свободу тех же Бразинскасов.

БРОДЯТ СНЫ ПО КОРИДОРУ...

Я не находил себе места.

Неужели она сегодня не придет?

То лягу на койку, то бесшумным призраком маячу от двери к стене, от стены к двери, туда и обратно, туда и обратно, мучительно постанывая, словно от зубной боли...

Неужели!.. Нужели?.. Мало ли что: заболела или не сумела достать... А вдруг они раскусили, что пропуск фальшивый? Я похолодел.

В коридоре что-то железнобрякнуло, и грубые мужские голоса взорвались хохотом. Я прикинул ухом к двери... Нет, это они так, что-то свое обхохотывают. В животе громко заурчало — не надо было налегать на пшенку, утром опять изжога замучит. Да как удержаться — не каждый же день наливают целую миску.

Ноги окончательно заледенели, и я залез под одеяло. А может, она обиделась? То: «Дорогая, единственная, плевать мне на все, лишь бы ты была рядом хоть изредка, ах как нежна твоя плоть...» То: «Да обожди ты со своими поцелуями — успеем еще. Что там у тебя в сумке? Нет ли чего вкусного пожевать?» А то и вовсе...

Дверь бесшумно приотворилась, и она, гибко скользнув в щель, замерла, босая, на желтой дорожке коридорного света.

— Ты где, — прошептала она.

— Здесь... Дверь прикрой.

Теперь и я ее не видел.

— Ну?

— Сейчас, — выдохнула она рядом, зашелестело платье, и обозначился белесый контур. Я в нетерпенье откинулся на подушку, и она, юркнув под одеяло, такая неожиданно горячая, гладкая и тяжелая, навалилась на меня, обняв за шею.

— Ты чего босиком? Зима ведь...

— А нынче жарко.

— Заждался я. Думал, случилось что...

— Да нет... Пока магазины обегала, то да се, а тут еще рейс отменили из-за пурги.

— Ну как?

— Раздобыла твоей любимой говяжьей тушенки и, вообрази, банку соленых грибов!

— Да перестань ты! — почти вскрикнул я в досаде. — До того ли! Я же о другом, не юли. Ну?

— Достала кое-что, — голос ее был робок и печален. — Только, дорогой... может, все же не надо? Разве мало, что я прихожу к тебе каждую ночь? А тогда... — уткнувшись мне под мышку, она тихонько заплакала, всхлипывая и подрагивая плечами. Я гладил ее густые волосы, досадливо пережидая приступ, и, слепо уставясь в непроглядную темь, искал нужные слова.

Что говорить? Разве не все уже сказано? И вчера опять эта облезлая крыса в мундире, этот гунявый капитанишка, жирно слюнявя пальцы, рылся в моих письмах и презрительно хмыкал, елозя лиловыми червячками губ... Нет, поднося листочки к близоруким глазам, он их не читал, он лишь обдавал их смрадом своей начальственной душонки, упиваясь собственной властью и бессилием, заливавшим мое лицо бледностью.

Нет, именно сегодня, сейчас, только сейчас, когда они все в сборе, на своем празднике, упившиеся и веселые...

— Ну, успокоилась? — спросил я как можно теплее. — Ты же знаешь, я больше не могу.

— А как же раньше? Ведь столько лет терпел...

Действительно, столько лет!.. Это звучало упреком.

— Терпел... потому что не было исхода, даже намек на исход. Мы терпим нестерпимое, выжидая, высматривая свой исход, возможность враз заплатить по всем счетам. Терпел, но

теперь... с тобой... я больше не вправе гнутья. Не вправе, и... и это выше моих сил, выше всего...

— И меня? Нас с тобой? Выше всего... но ради нас с тобой. Выше и ради...

Некоторое время мы лежали молча. Наконец она вздохнула и обреченно деловито спросила:

— Сейчас?

— Да, дорогая.

Нагнувшись, она пошарила рукой под койкой и, напрягши спину, положила мне на колени тяжелый чемодан. Я, шумно выдохнув волнение, осторожно щелкнул обоими замками, откинул крышку, и в лицо мне пахнуло железом и смертью.

— Автомат и три гранаты, — шепнула она.

— А винтовка?

— Не смогла...

— Вот черт возьми!..

Она сжалась пружинкой.

— Ну ладно, — примиряюще бормотнул я и клюнул ее губами в щеку. — Спасибо, умница... Гранаты, правда, ни к чему, они ведь не разбирают правых от виноватых. Мне бы винта с оптикой!.. Ну ладно, ладно, и автомат сойдет.

Внезапно с лязгом распахнулась дверь — на пороге, пьяно привалившись мощным бедром к косяку, стояла здоровенная баба, совершенно нагишом, правой рукой она придерживала разъезжавшиеся в стороны тяжелые груди, а опущенной вниз левой сжимала горлышки трех бутылок.

— Эй ты! — крикнул я. — Прочь! Ты ошиблась камерой. Ты из чужого сна!..

Поразительно все-таки, сколь большой сдвиг в сознании произошел за эти шесть лет — стоило лишь появиться щелям в китайском заборе, и вот мы уже осмеливаемся роптать, что наши роботы сшиты не по европейским меркам. Сдвиг очевиден. И не у меня одного, у меня-то, может, как раз менее других, ибо я давно уже был «со сдвигом». Или возьми то же унылое сомнение: «не чрезмерно ли жестоко с нами обошлись?» Словно я не знал, как со мной обойдутся, — ведь на этот раз (в отличие от шестидесят первого года) правила игры мне были известны досконально. Не лицемерие ли теперь плакаться: ах,

сколь вы оказались жестоки?.. Дай-ка подумать минутку. Ага, вот, кажется, в чем дело: я ведь в установлении этих правил участия не принимал, хотя вроде бы раз вступил в игру, значит, и правила признал, но это всего лишь «вроде бы». Я ведь отчасти потому и вступил в эту игру, что мне не по душе ее правила, как и невозможность изменить их, а потому и сейчас, проиграв, я имею моральное право требовать их пересмотра. В этом, быть может, основной смысл нашего проигрыша — быть жертвами жестокости... Печальный смысл...

Живу так себе, серединка на половинку. Вроде бы, отсидев черт знает сколько, пора научиться без особых усилий воспринимать лагерь в качестве нормы бытия: успокоиться, привыкнуть и... просто жить (ведь не мучаемся же мы оттого, что, пленники земли, не можем вкусить прелестей и риска инопланетного существования), ан нет, воротит с души, да и только. Может, первейшая причина всяческого дискомфорта в тюрьме (как в специальном, так и в расширенном смысле) в неотвязном чувстве: коль скоро ты узник, то, что бы ты ни делал, ты делаешь решительно не то. А когда человек слишком долго «делает не то», что же удивляться его расчеловеченью, и, наверное, все мы отличаемся друг от друга еще и способностью перебороть, обмануть это чувство, творя — каждый на свой лад — иллюзии нужности своего образа жизни. Способностью жить иллюзиями, я думаю, можно отчасти объяснить и большую стойкость в разных передрягах — от драки до мытарств в следственных кабинетах — интеллигентов по сравнению с люмпенами...

Отнюдь не анахорет, типовой арестант обречен на уродливый и уродующий аскетизм: внешние оковы оправдывают и подстегивают разнузданность всеядной, жесткой, безлюбой похоти воображения, коей нет границ. Дабы не пристраститься к гинеколбгическому остроумию, которым повально больны все арестанты, дабы сублимировать вздохи приапического томления в поиски эффективных средств ведения своей войны, на эротические порхания фантазии нужно наложить добровольные и очень жесткие вериги. Я пугливо обхожу табуированные

темы, чтобы не сорваться в пропасть безумных воздыханий о невозможном. Я не всегда так трезв, каким кажусь со стороны... Но мне позарез нужна эта трезвость. Неплохо бы системой какой-нибудь обзавестись... Но я всегда был изрядный путаник и потому ничего определенного (во всяком случае — однозначного) о философском фундаменте моих трепыханий сказать не могу. Как-то все не до того. До философствования ли, когда вот уже 14-й год, чтобы и чихнуть-то в свое удовольствие, укромного уголка не отыщешь... А главное, нет шибко большой потребности в систематизации и однозначной, окончательной определенности ради определенности. Была бы таковая — давно примкнул бы к какой-нибудь школе и — нос вверх. Вряд ли я одинок в своей растерянности перед необъятным многообразием философски упакованных истин. Уверен, что большинство из тех, кому не повезло обрести окончательную истину еще в детских яслях и кто пустился искать ее в дебрях школ и школок, наконец умучавшись, машут рукой на былую юношески высокую требовательность и прислоняются не к единственно истинному дереву, а всего лишь к наиболее близкому в данный момент: хоть какая-то опора — это все же лучше, чем ничего.

Разве не о том свидетельствуют и переходы профессиональных философов из одной школы в другую, часто диаметрально противоположную? Не заблуждаясь относительно уровня своих философских способностей, я поставил себе скромную цель: в меру сил следить за течениями философской мысли (по возможности, всех ее ручейков), чтобы сохранить форму и готовность к тому вожделенному моменту, когда вдруг обнаружится несомненная истина. Я хочу быть готовым и способным постичь и принять ее, сколь бы она ни была сложна.

Меня не должна отпугнуть холодная логика ее метафизики (вообще-то мало меня интересующей), лишь бы она в конце концов поддавалась переводу на язык повседневности. Это важно для меня — я все перевожу на косноязычный лепет обыденной жизни... Что-то вроде Сантаяновского: «Я стою в философии точно там, где я стою в повседневной жизни». Человек! Человеку позарез нужна истинная философия, и не только для удовлетворения базальнейшей потребности к постижению, но и для того, чтобы философский плащ хоть отчасти смягчал грубые пинки нефилософствующей жизни. Человек — вот что,

меня всегда интересовало. Как ему быть среди людей, с людьми, с собой?..

Еще почти ничего толком не зная об экзистенциализме, но прослышав о его роли во французском сопротивлении, я понял, что это чудо, о котором только может мечтать основатель любого философского течения: философия как руководство к действию! Не политическая доктрина, а именно философия. (Кстати, почему ничего не слышать о японском резистансе? Был ли он вообще?) Но, похоже, французский экзистенциализм эпохи Резистанса был вершиной развития и жизни этого учения.

Увы, Гегель прав, говоря, что всякая философия — это философия своего времени. Однако круг проблем, тип подхода к их решению остаются для меня близкими. Может, потому, что экзистенциализм генетически связан с древнеиудейским типом мышления, которое в противоположность эллинистическому я бы назвал иррациональным (куда более чисто иррациональным, чем иррационализм китайско-индийских философий, которые в глубинной сути своей удручающе рационалистичны). Но, может, потому, что я полукровка, я не глух и к иным головам, мне хотелось бы обрести нечто, снимающее антагонизм веры и разума, религии и науки, иррационального и рационального, конкретного и абстрактного, единичного и всеобщего. Однако это снятие все же должно быть с уклоном к иудейскому типу мышления, ибо мне не по душе эллинистический человек (разумное животное, обладающее речью и способностью к пониманию... Этакое эпистемологическое существо), мне ближе библейский иронический прищур: интеллект и логика — гордость глупцов, они не имеют отношения к изначальным истокам жизни. Вот в самом общем (и весьма неполном) виде та печка, от которой (и возле которой) я танцую.

...Я всегда слишком доверчиво относился к книгам и потому лишь в последние годы начал понемногу избавляться от иллюзий, внушенных восприятием жизни через призму литературы, которая упорядочивает сложную реальность в соответствии со своими канонами. Болезненнее всего мне расставаться с мифом о благотворном влиянии трагедии на человека: дескать, трагичный молот судьбы кует личность.

Увы, такой взгляд — всего лишь один из литературных способов упорядочить жизненный хаос путем сотворения некоей внесоциальной космодицеи*, где и зло — благо. Мне очень долго помогала жить вера в то, что только душевно слабый пугается повседневности ужасов, сникает и опускается, замороженный мыслью об абсурдном трагизме, безысходной никчемности и нелепости человеческого существования; характерной же особенностью того, кто призван и обязан выстоять, является умение осмыслить все нелепости, случайности, ненужности и неспровоцированные кошмары, осмыслить и обратить себе на потребу, узрев в них нечто вроде питательного бульона для духовного роста личности.

Увы, я пришел к печальному выводу, что универсальной истинностью этот подход не обладает, но я еще цепляюсь (наверное, чтобы выстоять) за утешение, что он не вполне ложен в каких-то частных случаях. Иначе, как же мне тут выжить?

Ты маешься тоже уже немало и знаешь, как выматывает человека лагерь, но если бы ты только мог себе представить, до чего я устал. Когда-то я говорил Сильве, что верю в приход времен, когда мы расплываемся со всем мрачным и нам придется лезть в словарь, чтобы выяснить, как правильно пишется слово «тюрьма»: турьма или тюрма? Я еще не утратил надежду дожить до свободы, но как горбуна вечно гнетет к земле горб, так и мне никуда не деться от тюрьмы — ее можно взорвать, от нее можно убежать, но как сделать, чтобы ее не было в прошлом? Этот горб слишком уродлив и тяжел — ни один самый искусный портной его не замаскирует. Научусь ли я когда-нибудь ходить прямо?

Сильва пишет, что кое-кто, претендующий на знание меня, высказывает сомнения, что Эрец придется мне по душе и я навсегда поселюсь в нем. Странные люди! Что они обо мне знают?!

Отчизна — это не сумма благ, которые ты там обретаешь, а те унижения, страдания, тот пот и кровь, которыми ты оплатил право жить на ее земле и которые готов претерпеть и про-

* Космодицея — «оправдание космоса» (по аналогии с теодицеей — оправданием Бога, т.е. учением, примиряющим существование Зла с идеей справедливости Бога).

лить, отстаивая и улучшая ее. Только так удобренный и политый патриотизм — поистине патриотизм. Отчизна — это не пиршественный стол, но прежде всего жертвенный алтарь. Особенно еврейская Отчизна. Я с горечью думаю о тех, кто уезжает. Я не сужу их. Мне их жаль: значит, они еще не поняли самого главного... А разве мне оно сразу далось?

В письмах из Израиля часто мелькает: арабы, арабы!.. А что арабы? Когда все уразумеют, что приемами силовой борьбы евреи владеют искусно, когда минет время пушек, мы найдем с ними общий язык и растолкуем, что нельзя бесцеремонно вселиться в чужой дом и пытаться не впустить в него наконец-то вернувшегося хозяина. Это не их дом! И не вина хозяина, что пришельцы уже привыкли к нему и забыли о началах... Зато хозяин-то всегда помнил о своем доме. Тем более, что иного ему не дано. Разве — вообразим невозможное — победи Гитлер Россию и вытесни русских за Уральский хребет, они лишились бы права хоть и через тысячу лет вернуться на землю своих предков и святынь... даже и с оружием в руках, оружием, обращенным уже не против тех, кто их когда-то изгнал, а против тех, кто всего лишь имел глупость и несчастье поселиться в их доме? Нет, право на возвращение всегда сохраняется за изгнанником, оно — сущностная характеристика самого понятия «изгнания»: «Ужо, злодей!..» И почему ему должно быть дело до горя пришельцев, если им наплевать на его двухтысячелетнюю трагедию? И все-таки должно быть так всегда: кто-то должен брать на себя ношу, тяжелее других, — тем он от иных и отличается.

Я признаю своеобразную правоту арабов, и, хотя она менее, права, чем еврейская правота, не видеть ее невозможно. Где же выход? Как примирить эти две правды? Боюсь, что это невозможно, разве что удастся задним числом объяснить им нашу победу: мы более правы, чем вы и — главное! — пришел наш час. При всем том я хотел бы тебе напомнить, что именно мусульмане (в первую очередь арабы) были поразительно терпимы к иудеям в те мрачные времена, когда христианнейшая Европа казнила евреев всеми казнями.

Великодушные! Великодушные! Вот что нам надо! Но великодушным может быть лишь тот, кто знает, что дело, которому он отдает себя, с некоторой точки зрения, не более истинно, чем дело его врага. Просто это *мое* дело, без которого мне не

жить, которое делает меня человеком, дает мне душевную полноту и т.д. И победить я должен не потому, что я абсолютно прав, а потому, что, целиком отдавшись своему делу, я должен быть сильнее врага, энергичнее, устремленнее, умнее и т.д.

Тогда, победив, я смогу быть великодушным, в отличие от борцов за дело, осиянное нечеловеческой истинностью, — эти, безжалостны.

В «Литературке» от 20 октября 1976 года статья о «биче нашего века — воздушном пиратстве». Читал, конечно? Как тебе цитаты из выступления по этому поводу американского государственного секретаря Киссинджера на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН? Нельзя не согласиться с его гневом по адресу «трусливых, жестоких, неразборчивых насильников», но мне хотелось бы более пространным истолкованием его призыва «усилить борьбу с воздушным пиратством». Неужели только пресекать, ловить и не предоставлять убежища? А как же с терапией корней?

Что сказал бы господин госсекретарь насчет того, наприклад, можно или нет бить человека золотым портсигаром по голове, душить удавкой, топтать офицерскими сапогами? Ужасное варварство!

1801 год, Павел I: политика, существенно ущемляющая интересы самого в то время жизнеспособного класса — дворянства (отмена дворянских выборов, запрещение выезда за границу, строгая регламентация ношения одежды, армейское пруссачество и т.д.), нестерпимое самодурство царя-психопата, царя-истерика, гнетущее чувство неуверенности даже у придворных фаворитов: то награды, то ссылка... Так почему же для удаления от власти безумца пошли в ход портсигар, удавка и сапоги? А потому, что российское законодательство всерьез видело во всяком царе-батюшке помазанника Божия и не предусматривало для ограничения власти свихнувшегося помазанника института регентства, как это практиковалось в западноевропейских странах. В Дании, например, при Христиане VII, с 1784 года регентом был провозглашен будущий король Фридрих VI. В Англии вместо душевнобольного короля Генриха III правил принц Уэльский. В России же выговорить слово «регентство» было все равно, что сказать «революция». и

те, кто осмеливался толковать о регентстве, не столько толковали, сколько оглядывались по сторонам. Вот и сапоги, вот и удавка... Как же их оправдать?! Но, может, и Павел не совсем невинный агнец? Не мог бы господин Киссинджер посоветовать Павлу I поразмышлять над своим законодательством, дабы не вынудить кого-то к отчаянным средствам? Вот когда есть узаконенный институт регентства (или открыты границы) тогда удавка — варварство чистой воды. А так что же выходит? Я еще раз говорю, что борьба с симптомами — дело зряшное, признак бессилия медика. Дело истинного врача — терапия корней.

Вообще я всегда неодобрительно относился к тому, что можно назвать «анкетным знакомством», когда понятие «знать человека» становится неправомерно синонимичным понятию «анкетные данные». Вот, к примеру сказать, доведись мне участвовать в конкурсе «Проект паспорта гражданина счастливого общества будущего» (хотя сомневаюсь, совместимы ли слова «паспорт» и «счастливое общество»), я бы заявил, что таковой документ должен радикальным образом отличаться от нынешних образцов. И если бы мне посчастливилось устроиться паспортистом в милицию лучезарного будущего, то, запросив там какое-нибудь ВЭЗУ (Всеземное электронно-запоминающее устройство), очень практичное вместилище всяческих сведений о любом и всех, я записал бы в паспорте некоего Эдуарда Кузнецова следующее:

§ 1. Иерархия ценностей: а) Свобода, б) Истина, в) Справедливость, г) Хлопоты по устройству всечеловеческого счастья... Хотя нет, не в таком порядке: а) Справедливость, б) Истина, в) Свобода, а потом уже заботы о всеобщем счастье.

Параграф, скажем, 6. Уровень самооценки и претензий: адекватный.

§ 8. Наиболее ценимые в других качества: а) доброта, б) искренность, в) справедливость, г) интеллект.

§ 14. Предпочитаемое место жительства: а) Израиль, б) Москва (с правом выезда в любое время в любую страну).

§ 19. Любимые занятия: а) книги, б) путешествия, в) яхт-спорт, г) ночевки в лесу у костра.

§ 20. Сексуальные предпочтения: а) темпераментные брю-

нетки с пышными формами, б) блондинки — в меру сублимные и желательно фригидные.

§ 21. Любимая еда и горячительные напитки: а) мясо во всех видах (с острыми соусами), б) фрукты, в) коньяк.

§ 38. Особые привычки, странности, чудачества: а) периодически возникающая болезненная тяга к уединению, тишине, приступы мизантропии и мизологии, б) излишне бурная реакция на несправедливость, неодолимое желание расквасить физиономию каждой сволочи, в) отвращение к порнографии как компоненту массовой культуры и тайная мечта иметь личную коллекцию всех порноизданий.

§ 52 и последний. Голубая мечта жизни: шапка-несидимка... Ищите шапку-несидимку, а остальное приложится вам.

Дабы не создавать ложного впечатления о владельце вышеописанного паспорта, следует сообщить, что обладатель его на редкость невезучий человек. Можно сказать, что не было ни единого (ни единого!) дня в его жизни, когда бы он имел доступ к любым двум из тех благ, которые эскизно представлены в его «паспорте» (за исключением разве что параграфа о еде — это случалось). К примеру сказать, хотя он и считает яхтспорт самым увлекательным, море он видел только на музейных полотнах мариинистов, книжных иллюстрациях да в кино, то же относится и к яхтам. Таким образом, если ему случалось дорываться до фруктов, то морем поблизости не пахло. Его всегда живо интересовала Истина, но, когда ему однажды показалось, что он на верном пути к ней, ему пришлось туговато со свободой, а в последнее время он вообще несколько охладел к поискам этой самой Истины, имея обыкновение говорить, что уже сполна получил свою долю синяков и зуботычин и что он не настолько честолюбив, чтобы ради славы первооткрывателя Истины превращаться в боксерскую грушу, что он достаточно скромнен и с радостью готов принять эту Истину из любых рук, уже найденной и готовенькой к употреблению. С книгами у него тоже всю жизнь неудачно складывалось: не что хочется и надо, а что есть. Ну и т.д.

Достаточно сказать, что из прожитых им 37 лет 13 он находится в местах не столь отдаленных, где ни мяса-фруктов, ни блондинок-брюнеток, ни уединения-тишины... И еще — он забыл, что такое цветы и дети.

Я научился заказывать свободу тому капризному кинOMEханику, что заведует ночными видениями: в тот неуловимый миг, когда сознание еще мерцает едва-едва, сладостно проваливаясь в теплую темень небытия-инобытия-снобытия, надо успеть немножко напрячься — чуть-чуть, чтобы не спугнуть обволакивающий мрак покоя, — напрячься и вспомнить что-то дорогое, запроволоочное... Порой свобода не отпускает меня всю ночь напролет, и под утро мне начинает сниться ужасный сон, будто я... в камере. Но это так невероятно, что я тут же догадываюсь, что это всего лишь кошмарный сон. Привидится же такое!..

Но этот кислый запах! И это одеяло!

Критерий истины.

Весь день он царствует не покладая рук: сам читает на заутрени часы, молится о даровании ему наследника, устройении земств, погибели вражьей и спасении от хлебного глада, то указ какой начертает, то в думе бояр за бороды теребит, то казнь какую ни на есть спроворит да заговор откроет, а то, глядишь, соколиную охоту затеет или войну с поганим басурманом али с подлым ляхом...

А вечером, улившись медовухи, вздохнет устало: «Тяжела ты, шапка Мономаха!» — и упадет замертво на свои семь пуховиков, чтобы опять увидеть все тот же сон:

Дугой сгорбившись над деревянной сохой, он тяжело ступает босыми ногами по борозде, от мошкеры спасу нет, едкий пот жжет свежие рубцы от кнута, которым его намедни лупцевали на псарне. До воскресенья, то бишь до кабака, еще черт знает сколько... Эх-ма!

Вечером, пошатываясь, он бредет к своей развалюхе, устало хлебает тюрю из кваса с луком, раскорячась вскарабкивается на печь, чтобы, едва ткнувшись носом в жаркую вонючую овчину, захрапеть и увидеть все тот же сон:

Весь день он царствует не покладая рук...

И приснится же Царю Великому будто он смерд смердящий! Экая чушь несусветная, наваждение сатанинское!.. Когда бы так не саднила спина...

Но почему мне одеялом полосатый бушлат?..

ПРИЛОЖЕНИЕ

В. Черновол, Э. Кузнецов «СТАТУС ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО»

Раздел I. Определение понятия «политический заключенный»

§ 1. Политическим заключенным является всякий, осужденный по политическим мотивам и отбывающий наказание в тюрьме, концлагере или ссылке либо помещенный в психбольницу закрытого типа.

§ 2. Политическими заключенными могут считаться:

1) лица, осужденные за убеждения (в том числе религиозные) и их распространение в устной, письменной или любой другой форме;

2) лица, осужденные за создание ассоциаций (политических партий, профессиональных и других организаций и объединений) или за участие в таковых, если целью такой организации не является совершение уголовных деяний;

3) лица, осужденные за участие в демонстрациях, митингах, собраниях и других массовых, стихийных или организованных выступлениях ненасильственного характера, по своему характеру оппозиционных к существующему строю в целом или к отдельным его проявлениям;

4) лица, осужденные за совершенные по политическим мотивам террористические акты и вооруженные выступления или за подготовку к таковым. Сюда же относятся осужденные за

участие в партизанских и подпольных национально-освободительных движениях. Не могут считаться политическими заключенными осужденные за участие в полицейских или карательных формированиях, непосредственно подчиненных только немецким оккупационным властям в годы Второй мировой войны;

5) лица, пытавшиеся бежать из СССР по политическим мотивам;

6) лица, осужденные по сфабрикованным уголовным обвинениям, если действительные политические мотивы осуждения несомненны и если подсудимый заявил о них в ходе суда.

В пределах действующего в СССР законодательства политзаключенными могут считаться все лица, осужденные по статьям 70 и 190 I или по соответствующим статьям Кодексов Союзных республик, а также часть лиц, осужденных по статьям 64, 72, 190 2, в случае же, предусмотренном п.6 этого параграфа, политзаключенным является лицо, осужденное по любым статьям уголовного кодекса.

§ 3. Основными критериями для отнесения того или иного лица к числу политзаключенных служат мотивы деятельности, за которую он был осужден, и его самоопределение. Лицо считается политическим заключенным до момента истечения срока осуждения за любое из деяний, предусмотренных § 2 пп. 1-5 данного раздела, или до момента, когда само это лицо, будучи ознакомлено с данным «Статусом», отказывается считать себя политзаключенным.

§ 4. Политзаключенный, недостойно — с точки зрения этики политзаключенного — ведущий себя во время следствия, суда или в местах лишения свободы, может быть подвергнут тем или иным формам бойкота, в том числе и исключению из самоуправленческих организаций там, где таковые существуют. Неопровержимо обоснованные данные о недостойном поведении политзаключенного могут в случае необходимости быть переданы в «Комитет защиты прав человека в СССР» или в иную заинтересованную организацию.

Раздел II. Правовое положение политических заключенных

§ 5. Положение, при котором наличие политических заключенных в СССР официально не признается и в правовом отношении они приравниваются к уголовным преступникам, противоречит международным документам по правам человека и

международной практике. Каждый политзаключенный может поэтому считать неправомерным применение к себе действующего исправительно-трудового законодательства Союза ССР и добиваться правовой реализации положений нижеследующих разделов этого «Статуса», выработанных в соответствии с международным правом и правосознанием самих политических заключенных.

§ 6. Особо противоправными и попирающими даже Конституцию СССР следует считать регулирующие режим содержания политзаключенных внутриведомственные (непубличные) приказы, инструкции, распоряжения, не доведенные до сведения граждан СССР и международной общественности посредством открытой печати. Каждый политзаключенный может считать это «тайное» законодательство неправомерным, а применение его к себе — насилием.

§ 7. Настоящий «Статус», требуя установить режим содержания для политзаключенных, значительно отличающийся от режима содержания уголовных преступников, исходит из того, что политзаключенные фактически не являются преступниками, а в основном лицами, изолированными существующим строем из боязни распространения инакомыслия. Поэтому вполне правомерно требование для изолированных по этой причине лиц условий содержания, максимально приближенных к условиям жизни свободных людей.

Раздел III. Места содержания политзаключенных

§ 8. Каждый политзаключенный вправе расценивать как национальную дискриминацию существующую практику вывоза значительной части политзаключенных в лагеря и тюрьмы других республик и вправе требовать содержания его на территории той союзной республики, именем которой он осужден, с обеспечением неограниченной возможности пользоваться родным языком.

§ 9. С точки зрения международного права и сложившихся традиций является недопустимой практика содержания значительной части политзаключенных в лагерях для уголовников, а фашистских карателей и бериевцев в лагерях для политзаключенных. Каждое лицо, осужденное по мотивам, изложенным в § 2 п.п. 1-6 раздела I данного «Статуса», вправе требовать своего содержания совместно с другими политзаключенными в отдельных лагерях (тюрьмах).

§ 10. Каждый политический заключенный вправе требовать, чтобы его этапировали в концлагерь (тюрьму) обычными пассажирскими видами транспорта и вправе протестовать как против унижающей человеческое достоинство транспортировки вместе с уголовниками в эзкагонах, так и против содержания в уголовных пересыльных тюрьмах.

Раздел IV. Жилищно-бытовые условия и режим содержания политзаключенных в лагерях и тюрьмах

§ 11. Каждый политический заключенный вправе протестовать против травмирующей психику практики многолетнего содержания больших групп узников в общих помещениях, в закрытых тюремных камерах, с антисанитарными нормами жилой площади в 2-2,5 кв. м на человека. Каждый политзаключенный вправе требовать комнатного (камерного) содержания с числом человек, не превышающим пяти в одной комнате (камере) и при минимуме 5 кв. м площади на человека. В дневное время камеры должны быть открыты, разрешен свободный выход в коридор, культурно-бытовые помещения и в прогулочный двор. Каждый политзаключенный вправе сам подбирать себе сожителей по комнате (камере). Каждый узник обеспечивается индивидуальной койкой, столиком, тумбочкой, настольной лампой. В камерах вместо параш должны быть оборудованы изолированные от жилой части камеры санузлы. Больным и инвалидам, не нуждающимся в госпитализации, должны быть предоставлены отдельные комнаты (камеры) с улучшенными условиями содержания.

§ 12. В каждом концлагере (тюрьме) кроме жилых и обязательных санитарно-бытовых помещений должны быть кинозал, читальный зал, библиотека, учебные классы, спортплощадки, кухня для индивидуальной пищи.

§ 13. Каждый политический заключенный имеет право на достаточное и доброкачественное питание, а также на нелIMITированную возможность получать продуктовые посылки (передачи) и приобретать продукты в лагерном (тюремном) магазине. Пониженное питание как мера наказания не применяется.

§ 14. Каждый политзаключенный имеет право носить обычную обувь и одежду, приобретать ее в магазине или получать из дому. Лагерная униформа (особенно полосатая), опознавательные нагрудные нашивки, стрижка наголо, передвижение по

территории лагеря только строем под бравурные марши — подлежат отмене как унижающие человеческое достоинство и преступные согласно определению Нюрнбергского международного трибунала.

§ 15. Повальные обыски в качестве повседневной нормы недопустимы. Досмотр вещей отдельных политических заключенных производится только по мотивированному постановлению начальника лагеря (тюрьмы). Личный обыск при наличии к тому достаточных оснований производится только с санкции прокурора или, в исключительных случаях, по постановлению начальника лагеря (тюрьмы) с немедленным уведомлением прокурора.

§ 16. Каждый политический заключенный имеет право на труд с полноценной оплатой, достаточной для содержания себя и помощи семье. Вычисление из заработка политических заключенных пятидесятипроцентного налога на «инакомыслие» для оплаты содержания карательного аппарата — незаконно и аморально. Устанавливается 41-часовая рабочая неделя с ежегодным оплачиваемым отпуском. Работа политзаключенных должна засчитываться в общий трудовой стаж и учитываться при начислении пенсионного обеспечения. Политические заключенные, достигающие пенсионного возраста, а также нетрудоспособные должны в период пребывания в лагере (тюрьме) получать государственную пенсию в том же размере, какой установлен для свободных граждан их возраста, здоровья и трудового стажа.

§ 17. Согласно конвенции МОТ о запрещении всех форм принудительного или обязательного труда, объявившей такой труд рабством, каждый политический заключенный вправе вообще отказаться от принудительного труда. Принуждение его к труду под угрозой наказания (особенно — перевода на пониженную норму питания) — противоположно.

§ 18. Каждый политический заключенный имеет право на еженедельное краткосрочное свидание (4 часа) с родственниками и иными лицами. Для получения свидания с политическим заключенным достаточным является предъявление советского или иностранного паспорта или любого другого документа, удостоверяющего личность. Никому не может быть отказано в праве свидания с политическим заключенным. Разго-

вор на свидании ведется на любом языке. Вмешиваться в разговор представителям администрации не разрешается.

§ 19. Каждый политический заключенный имеет право на создание и сохранение семьи. Он имеет право на оформление брака. Каждый политический заключенный имеет право на получение ежегодно не менее трех длительных свиданий (с совместным проживанием в течение суток) с близкими родственниками в специально отведенных для этого помещениях на территории лагерей и тюрем.

§ 20. Каждый политический заключенный имеет право отправлять и получать письма, бандероли, посылки, телеграммы, денежные переводы без каких-либо ограничений. Корреспонденция политзаключенных лагерной (тюремной) цензуре не подлежит, отправляется и вручается без задержек.

§ 21. Наказания политзаключенных в виде лишения свиданий, посылок и закупок продуктов не допускаются. Водворение в карцер или обычную камеру применяется в исключительных случаях и только по мотивированному постановлению прокурора (с правом его обжалования) и письменному разрешению врача. Ни при каком виде наказания недопустим перевод на пониженную норму питания и лишение прогулок. Минимальная продолжительность прогулок наказанных — 1 час. Совмещение туалетов с прогулочным двориком не допускается. На каждого узника должно приходиться не менее 10 кв. м прогулочной площади.

§ 22. Все административные поощрения (кроме производственных премий), являющиеся мелкими подачками, унижающими и деморализующими узников, должны быть отменены.

§ 23. Каждый политический заключенный имеет право на получение квалифицированной медицинской помощи. Медперсонал лагерей и тюрем во всех вопросах медицинского обслуживания должен быть полностью независим от администрации лагерей (тюрем). Каждый политический заключенный имеет право на получение лекарств из любого источника, а также может обращаться за консультацией к приглашенным родственниками или знакомыми специалистами.

§ 24. Каждый политический заключенный имеет право в случае смерти быть погребенным не на лагерном участке под номером, а на общем кладбище с собственным именем на надгробии. Родственники имеют право на захоронение умершего по-

литического заключенного на родине. Стоимость захоронения или перевозки тела оплачивается государством.

§ 25. Голодовка является допустимой формой протеста против беззакония и попрания человеческих прав. Длительность голодовки устанавливается самим политическим заключенным, имеющим право даже на добровольную смерть от голода в качестве средства избавления от своей участи или протеста против ущемления его прав. Прерывать голодовку искусственным кормлением администрация не вправе.

§ 26. Каждый политический заключенный имеет право на реальную правовую помощь и защиту. Это право реализуется посредством: а) неограниченных числом и временем свиданий с любым адвокатом (секретная инструкция о допуске к политическому заключенному только специально отобранных адвокатов отменяется как незаконная); б) неограниченных обращений за защитой в любые организации, как советские, так и зарубежные, а также реальной возможностью встреч с их представителями.

§ 27. Политические заключенные имеют право создавать добровольные ассоциации: творческие, художественной самостоятельности, политические, а равно — организации для защиты прав узников перед лицом администрации и для самостоятельного регулирования тех или иных форм внутренней жизни лагеря или тюрьмы.

Раздел V. Право на образование и творческий труд

§ 28. Каждый политический заключенный имеет право на получение среднего, а заочно также среднего-специального и высшего образования на общих для граждан СССР основаниях. Администрация обязана обеспечить абитуриенту или студенту возможность сдавать экзамены, получать консультации и необходимую литературу в пределах лагеря (тюрьмы) или вне их.

§ 29. Политические заключенные имеют право на творческий труд, а следовательно, на приобретение орудий и пособий для такого труда (разрешается иметь пишущую машинку, чертежные принадлежности, краски и другие необходимые материалы и средства). Созданные труды, произведения и изобретения авторы имеют право отсылать родным или иным лицам в творческие союзы и научно-исследовательские организации в издательства, выставкомы и патентные бюро. Принятое к пе

чати (на выставку и т.п.) произведение (изобретение) политзаключенного при желании автора печатается (выставляется и т.п.) под его собственным именем.

§ 30. Так как в наше время лишение человека доступа к интересующей его информации является способом сознательного увечья, политические заключенные должны пользоваться такими же правами на получение информации и самообразования, как и остальные граждане. Это правило обеспечивается:

1) свободной подпиской на все распространяемые в СССР периодические издания (в том числе иностранные);

2) неограниченным получением литературы как через систему «книга почтой» и межбиблиотечный обмен, так и от родных или иных лиц, никакие ограничения количества используемых книг недопустимы;

3) использованием радиоприемниками (в том числе с индивидуальными наушниками), магнитофонами и проигрывателями в учебных комнатах, телевизорами в комнатах отдыха;

4) наличием библиотек с достаточным и постоянно пополняющимся запасом литературы на языках народов СССР и зарубежных стран. Комплектование лагерных и тюремных библиотек должно быть разрешено общественными организациями и частными лицами.

§ 31. Верующие имеют право получать допущенную к хождению в СССР религиозную литературу, отправлять религиозные обряды и иметь отведенное для этого место. Тяжелобольные и умирающие имеют право пригласить к себе священника.

§ 32. Принудительное навязывание идеологии в форме обязательных (под угрозой наказания) политзанятий недопустимо и аморально. Каждый политический заключенный, исходя из своих убеждений, вправе подобные мероприятия игнорировать.

Раздел VI. Ссылка

§ 33. Политссылный следует в место ссылки без конвоя любым избранным видом транспорта.

§ 34. Кроме ограничения места жительства, определенного административным режимом, политический ссыльный пользуется всеми правами советского гражданина без каких-либо изъятий. Он вправе требовать выдачи ему не временных справок, а паспорта и других постоянных документов.

§ 35. Принуждение политических ссыльных регулярно

являться в органы милиции для регистрации является унижением его достоинства и подлежит отмене.

§ 36. Политический ссыльный вправе требовать предоставления ему работы по специальности, или направления его в другое место ссылки, где такая работа имеется, или выдачи государственного пособия в размере официально объявленной средней зарплаты советских граждан. Политический ссыльный вправе отказаться от навязываемой ему работы не по специальности.

Политический ссыльный имеет не подлежащее никакому дальнейшему согласованию право использовать ежегодный отпуск для поездки на родину.

§ 37. К политическим заключенным, отбывшим срок заключения или ссылки, не применимы никакие ограничения в правах (гласный надзор, отметки о судимости в паспорте, ограничения выбора места жительства или работы и т.п.). В случае сохранения в СССР судебных преследований за инакомыслие отбывшему срок политзаключенному предоставляется возможность свободного выбора между повторным заключением и легальным выездом из СССР.

§ 38. В отличие от регулирующих режим содержания заключенных гласных и тайных государственных законов, обеспечиваемых карательным аппаратом, реализация положения этого «Статуса» зависит от моральной стойкости политических заключенных. Каждый политзаключенный, отстаивая свои права, может ссылаться на этот «Статус», а также реализовать те или иные положения «Статуса» явочным порядком.

§ 39. Изменения и дополнения к этому «Статусу», вызванные изменением обстановки в стране или изменением действующего законодательства и репрессивной практики, могут вноситься Комитетом защиты прав человека с учетом поступающих предложений.

«ХЭППИ-ЭНД»

(послесловие редактора)

Пришлите мне книгу со счастливым концом.

Иосиф Бродский

Книга со счастливым концом перед нами. Эпилог дописан жизнью и хорошо известен большинству читателей: "И свобода вас встретит радостно у входа..." Сюжет завершен, и можно поставить точку.

Вместе с тем завершен и другой сюжет – сюжет этой книги, параллельный авторскому, но и отдельный от него. Книга освободилась – точнее сказать, сбежала – раньше автора. Писалась она в виде писем – единственный вид литературного творчества, разрешенный узнику. Большинство из них адресовано жене, Сильве Залмансон, и тетке, Елене Боннэр. "Сильва, дорогая...", "Люся, здравствуй, дорогая..." – а затем рассказ, очерк, проект статуса политического заключенного, философический трактат.

В конце 1978 года пачка фотографий и стопка машинописных листов оказались у меня на столе. Кто-то снимал с рукописи микрофильм, кто-то выталкивал его за границу, кто-то уже здесь, с нашей стороны, за кордоном, увеличивал фотографии и отдавал на машинку. И на каждом этапе что-то терялось, погибало, обрывалось и перепутывалось. Беспорядочная груда отрывков лежала передо мной. Связь между ними иногда слабо угадывалась, а иногда не угадывалась вовсе.

Подлинник рукописи показал мне Эдуард Кузнецов в первые же дни его свободы. Это был обыкновенный непостижимый арестантский фокус, следовавший за разговором о том, как освобождали, как обыскивали, как не дали забрать ничего из бумаг... "Но полрассказа я все-таки унес", – сказал Кузнецов и положил на стол листочки, кусок рассказа "Кандаламша". Я забыла спросить, как унес: вид рукописи был поразительнее любого чуда. До этого упоминалось пару раз: "Я у нас

в лагере один умел писать на микро". Я догадывалась: мелко писать на маленьких листочках. А это были полоски из тончайшей бумаги – какой иногда прокладывают цветные репродукции в хороших изданиях – в высоту не больше сигареты, в длину – не длиннее школьной тетради. Листочки были синеватые от равномерной заполненности буквенной вязью, столь плотной и мелкой, что прочесть без увеличительного стекла вряд ли возможно. А написать возможно? Возможно ли написать это близорукому человеку, в очках, в три погибели согнувшись, на нарах усевшись, положив на колени книжку, пристроившись в ночи поближе к свету заоконного фонаря? И на увеличенных фотографиях почерк тверд и разборчив, буквы ровны... Оказывается, возможно.

Нет такой профессии – "герой". Есть такая профессия – "писатель". О том, что не каждый герой – писатель, свидетельствуют книги многих героев последнего десятилетия, выпущенные в эмиграции. Что не каждый писатель герой – говорить даже неловко, банально. Но эту банальность хотелось бы мне частично оспорить. Такой в русской литературе выдался век двадцатый, что таланта как бы и мало для писателя, и если дар не подкреплен готовностью жизнью за этот дар расплатиться, то и самый даровитый окажется... кем? – ну, хоть бы Катаевым. Иной писатель на Западе был бы Сартр. А у нас, глядишь, – всего лишь Федин. И что, разве таланта ему не хватило? Так что писатель – профессия опасная, и, если кто талантливый, но к риску и бедствиям не готовый, пусть лучше сразу обучается на затейника.

Эдуард Кузнецов – писатель. Не лагерь, не уникальный жизненный опыт сделали из него писателя. Его опыт потому уникален, что он настоящий писатель. Писатель, настоящий, не дает уроки жизни. Но жизнь дает ему урок литературы. Настоящий писатель умеет научиться литературе у той жизни, какая ему досталась. Кузнецов справедливо полагает, что "всюду жизнь" и что шестнадцать лагерных лет снабдили его хорошим знанием жизни вообще. Нравственные проблемы, которые перед Эдуардом Кузнецовым поставила зона, перед иными его современниками ставит повседневный быт научного инсти-

тута или газетной редакции, а перед другими – общественное существование в русской эмиграции.

Проза Кузнецова мало считается с формами литературного и политического этикета. Условности для него есть вид несвободы. В его прозе опадают последние остатки лагерной экзотики, развенчивается безусловная ценность страдания, а устоявшиеся репутации беспощадно сверены с истиной. На сегодняшний день лагерь – не только особая форма жизни, но и особое общество: сюда сброшены представители всех оппозиционных мнений. Лагерь нынче – не только узилище, юдоль страдания, но единственный в России дискуссионный клуб, горнило, где отковывается идеологическое оружие для будущих социальных битв. От демократов-правозащитников до откровенных русских фашистов – все здесь. Ответственность писателя заставляет Кузнецова за общей гримасой страдания увидеть разные лица. Он обнаруживает, что и на нашей стороне накопилось уже много дугих репутаций, прямого пропагандного вранья. И Кузнецов, вмешиваясь в идеологический маскарад, это вранье разоблачает, не веря, что правому делу может повредить правда.

Уже публикация отрывков из этой книги – до освобождения автора – породила жаркую дискуссию в русской эмиграции. Стало быть, книга достигает цели.

День за днем перебирая листы, я пыталась угадать, восстановит эту книгу. И, как могла, справилась к самому концу апреля. Вечером книга ушла в набор. А наутро сын покрутил ручку транзистора и закричал: "Мама, твоего Кузнецова освободили!" "Моего Кузнецова...". Он был "мой Кузнецов" еще с той поры, когда в последний день 1970 года мы укрепили у себя в ленинградской квартире, зажав между стеклами книжной полки, вырезку из газеты о смертном приговоре Кузнецову и Дымшицу и сроках для остальных "самолетчиков". Эту вырезку мы не снимали до самого отъезда.

"Кузнецова освободили...". У Андерсена есть сказка о девушке, которая должна освободить от чар своих заколдованных братьев. Она плетет им рубашки из крапивы, обжигая себе пальцы. Она едва успевает к сроку, но, когда рубашки накинута – дикие лебеди снова становятся юношами. Я долго плела рубаш-

ку из жгучего вороха лагерной крапивы. И едва кончила эту работу – спали чары и узник вышел на свободу.

Никак не отделаться от чувства, что между этими событиями есть связь.

Итак, перед нами книга со счастливым концом. Если позабыть о том, что шестнадцать лагерных лет не вытрешь ни из памяти, ни из сердца. Если позабыть о том, что порок отнюдь не наказан, а торжество добродетели отнюдь не полное: сколько еще наших узников пропадает по лагерям...

”Пришлите мне книгу со счастливым концом!..”

Н. РУБИНШТЕЙН

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие автора	6
Зарешеченное окно	9
О «странном народе», Альберте и вообще	53
О внутреннем положении	107
Велик ли лагерный пятачок	119
Приличная тюрьма	163
Кандаламша	187
Ищите шапку-несидимку	209
Приложение	
В. Черновол, Э. Кузнецов	
«Статус политического заключенного»	242
Н. Рубинштейн «Хэппи-энд» (послесловие редактора).	251

Эдуард Кузнецов. Мордовский марафон
Обложка и рисунки Бориса Пэнсона
Редактор Наталия Рубинштейн
Корректор Нина Островская
Технический редактор Наталия Рубина
Фотографии Марка Круглика

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО «Москва — Иерусалим»

Вышли в свет следующие книги:

- Александр Воронель. «Трепет забот иудейских».
Борис Хазанов. «Запах звезд».
Илья Рубин. «Оглянись в слезах».
Нина Воронель. «Прах и пепел» (пьесы).
Нина Воронель. «Папоротник» (стихи).
Менахем Бегин. «В белые ночи».
Игорь Гарик. «Еврейские дацзыбао».
Юлий Марголин. «Над Мертвым морем».
Михаил Генделев. «Въезд в Иерусалим» (стихи).
Владимир Маркман. «На краю географии».
Владимир Лазарис. «Проводы» (стихи).

Находятся в печати:

- Джозль Кармайкл. «Троцкий».
Адин Штейнзальц. «Суть Талмуда».
Игорь Гарик. «Еврейские дацзыбао» (2 книга).
Гилель Галкин. «Письма американскому другу».



МОРДОВСКИЙ
МАРАФОН